

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

5/2024



В номере:

«Теперь уже не больно...»

Повесть Елены ЕРМОЛОВИЧ «Гогорю-91» — полуоборот назад, в начало огненных девяностых, спустя годы — воспоминание пожившего человека. Оттиск прошлого, где-то бледный, где-то отчаянно яркий. «...Для кого-то те времена оказались всё равно лучшие в жизни, самые счастливые». Оно ведь разное было, то грозное и весёлое время. Для одного — кровь на асфальте, а для другого — сумасшедший ночной полёт на кукурузнике по маршруту, кое-как намеченному на бумажной карте.

«Всё останется дольше памяти»

Время — сквозная тема философских миниатюр Сухбата АФЛАТУНИ:

«...лишь время/ шумит как сад — течёт как молоко/ со скатерти — и бьёт струёю в темя».

«Что человечит человек?/ Что человечит человека?» Этими вопросами, почти детскими по форме, но с глубоким смыслом, открывается подборка стихов священника и поэта из Донецка Дмитрия ТРИБУШНОГО. «Спеша к ответу», он горько замечает: «Как будто Божии Суды/ Случились с нами раньше срока». Его земляк Иван ВОЛОСЮК в своём военном цикле пишет: «Я ждал, когда в губительные дни/ росток пробьётся новой Иггдрасили/ из пепельной и угольной земли/ на стыке не России и России».

В лирике Надежды БЕСФАМИЛЬНОЙ — память о Великой Отечественной войне: Курская земля, «где рудники и родники окрест,/ Хлебов раздолье» и «где от боя плавится июль»...

Дедушка Рахматулла — Георгиевский кавалер

В рубрике «XX век. Просто жизнь» — рассказ-воспоминание

Зайтуны АРЕТКУЛОВОЙ «Памяти моего послевоенного детства».

Трогательный и безыскусный, он вобрал в себя, однако, не просто историю одной татарской семьи, но и значительный отрезок истории нашей страны, воплотившийся в судьбе деда автора — труженика, старого большевика, ветерана трёх войн.

Венок Булату

9 мая — юбилей Булата ОКУДЖАВЫ. Наш журнал не только печатал его стихи, но и опубликовал романы, что было по тем временам поступком. Всё это — «Золотые страницы «ДН»». В рубрике «Окуджава. 100+» мы пройдем по его московским адресам, перечитаем, пожалуй, самую глубокую прижизненную рецензию на книгу его стихов, из дня сегодняшнего попытаемся распутать наполеоновский миф в романе «Свидание с Бонапартом» (который особо выделял сам писатель) и вспомним два его лучших рассказа — «Уроки музыки» и «Девушка моей мечты».

«Мы же вроде звали свободу...»

«В старости делаешься суетливым,/ Боишься быть сухою или гением...»

Юрий АРАБОВ — из стихов, напечатанных в «ДН» за пять лет до смерти.

«В моём поколении все писали стихи», — вспоминает Арабов. Публикующиеся впервые эти его воспоминания — о поэтической студии Кирилла Ковальджи: рассказ о мэтре и студийцах, о поколении «московского андеграунда», о стихах и о времени — с 80-х и до наших дней. «Участники той студии до сих пор живы и кое-как работают. Они не стали ни палачами, ни жертвами, и это хорошо.

...Ни прошлое, ни настоящее время не является для нас своим...»

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.03.2024.
Подписано в печать 22.04.2024.
Формат бумаги 70 x 108¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Денис
ГУЦКО

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ. Будет свет. <i>Стихи</i>	3
Елена ЕРМОЛОВИЧ. Гогорю-91. <i>Повесть</i>	6
Евгений ЧИЖОВ. Кровь и судьба. <i>Рассказ</i>	53
Дмитрий ТРИБУШНЫЙ. Костры, невидимые миру. <i>Стихи</i>	78
Денис КОЛЧИН. Позвоните майору Кебедову. <i>Рассказ</i>	80
Максим ГУРЕЕВ. Платформа Пионерская. <i>Повесть</i>	93
Иван ВОЛОСЮК. Губительные дни. <i>Стихи</i>	111
Сергей ПРУДНИКОВ. Искушение. <i>Рассказ</i>	114
Светлана ВОЛКОВА. Палец. <i>Рассказ</i>	126
Сергей МАЛЬЦЕВ. Маша, Медвед и воздушная тревога. <i>Рассказ</i>	136
Надежда БЕСФАМИЛЬНАЯ. Где светла небесная иордань. <i>Стихи</i>	140
Сергей ВАРАКСИН. Гогель-могель. <i>Рассказ</i>	143
Михаил КАЙДАШ. Два рассказа	146
Олеся ВАРКЕНТИН. Нурия апа. <i>Рассказ</i>	152
Евфросиния КАПУСТИНА. По большой воде. <i>Стихи</i>	160

XX ВЕК. ПРОСТО ЖИЗНЬ

Зайтуна АРЕТКУЛОВА. Памяти моего послевоенного детства. <i>Воспоминания татарской девочки</i>	163
--	-----

ВЕРНИСАЖ

Стихи, картины, QR-код	185
------------------------------	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Юрий АРАБОВ. Литклуб через призму эго. <i>Предисловие Евгения Бунимовича.</i> <i>Публикация Ольги Катаевой-Арабовой</i>	192
Юрий АРАБОВ. Звезда Ништяк. <i>Стихи</i>	199

ОКУДЖАВА. 100+

Александр ВАСЬКИН. Булат Окуджав: «И расцветёт Москва от погребов до крыш»	202
Булат ОКУДЖАВА. «Я вернулся с фронта...» <i>Рассказы</i>	217
Наталья КРЫМОВА. Свидание с Окуджавой (<i>Б.Окуджава. «Стихотворения»</i>)	234
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ. Громадная тень корсиканского гения. <i>Наполеоновский миф в романе Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом»</i> ...	242

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Мария БУШУЕВА. Эссе о Мусоргском (<i>А.Мелихов. «Испепелённый»</i>)	252
Андрей ПЕРМЯКОВ. Облачная дисциплина (<i>И.Фаликов. «Прости»</i>)	256
Елена САФРОНОВА. Чувствительный автофикшн (<i>И.Кузнецов. «Тонкие вещи»</i>)	261

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. «В эпицентре мини-экокатастрофы» (<i>В.Коркунов. «Тростник на изнанке Земли»</i>)	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Сами виноваты	268
-----------------------------------	-----

Summary	272
----------------------	-----

Сухбат Афлатуни

Будет свет

* * *

неудачник
да: неудачник
объективно — хоть смейся
хоть плачь

в голове мерцает задачник
с вариантами
неудач

да и время года такое —
осень: что с неё взять?
дождь и снег

он стоит над грязной рекою
задачки решает в уме

математик —
и математик
неплохой (репетитор и проч.)

он выходит в ночь как лунатик
и глядит на реку и дождь

ничего — всё будет иначе
будет праздник
будет свет

в серых водах тонет задачник

дождь переходит в снег

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Главный редактор литературно-исторического журнала «Восток Свыше». Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодёжной премии «Триумф» (2006) и других. Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

* * *

он постелил мне на кухне
показал где гасить свет
долго возился в ванной
я замотался в плед

пахло стиркой
старой едой
ванная пела ржавой водой

я лежал и думал
дыша в прокуренный плед
мысли текли как из крана
и сглатывались
темнотой

планеты: Марс

начальник войны
выезжает на красном коне
рот открывает
железные зубы видны
в целом держит себя так
как будто он — не
начальник войны

а скажем — отдела сбыта или ещё
чего-нибудь — мало ли где они —
начальники — водятся?
выбритость щёк
и мёртвый взгляд — ещё не знак
что это начальник войны

и всё-таки — это он
на красном коне
железные клацают зубы
протезы скрипят
трясётся нижняя челюсть
в синем огне
два мёртвых глаза —
не видят
но зорко следят

чувствуется что у него
есть дети —
продолжат дело отца или нет
неважно — скорее всего
они ещё учатся

учение — это свет

а возможно кстати
они уже взрослые
у них — свой бизнес и свой
взгляд на вопросы
превентивной дипломатии
в эпоху постиндустриальных войн

но отец пока рулит
пока
гарцует на красном коне
он — начальник войны
и значит — война близка

я спал
и плакал во сне

* * *

*меня здесь лечат
душ Шарко
прогулки по заснеженному саду
на завтрак творог молоко
и булка
что ещё для счастья надо?*

так он писал
а может — и не он
конверт пропал

лишь время
шумит как сад — течёт как молоко
со скатерти — и бьёт струёю в темя

* * *

и эту тьму
я снова как-нибудь переживу
и эту боль

на дне стакана подсыхает соль

переживу — пережую — сглотну

запью водой — прилягу
не усну

и выйду на балкончик ледяной
не умирать — но подышать весной

Елена Ермолович

Гогорю-91

Повесть

Нет, я не буду знаменита
Меня не увенчает слава
Я, как на сан архимандрита,
На это не имею права.

ЛДМ, ленинская комната

Лимонный рассвет над ломаной линией крыш.

— Кс-с!

Има ложится животом на подоконник, свешивается из окна и швыряет вниз разорванную сосиску. Из кустов выныривает глазастое ангельское личико кошки.

Во дворе живут три кошки, черепаховые — такие ещё зовутся богатками, — и все три превосходной пушистости. Сейчас из кустов глядит лишь одна, — кошка в воздухе ловит кусок сосиски, исчезает, и через пару секунд приводит с собой оставшихся двух — здесь кормят! — и уже три херувимских личика глядят из кустов, сияя глазами, ожидают. Има отдаёт им остальное.

Сумеречный утренний воздух влажен и пахнет рекой. Но Има москвич, он не знает, какая тут у них, в Ленинграде, рядом с гостиницей ЛДМ, река.

ЛДМ означает — ленинградский дворец молодёжи.

С верхних этажей — вдруг — шорох, шум, и прямо перед Иминым носом пролетает в воздухе тело, голое, но в кроссовках. Длинные волосы дыбом, звериный запах. Кошки прыскают прочь с сосисками в зубах.

Има свешивается из окна ещё дальше и глядит вниз — жив ли?

Да, жив. Парень поднимается с земли, отряхивает ладони, колени, подбирает рядом с собой ключи. И вот уже зад его лунно белеет, удаляясь. Шелест кустов, движение ветвей. И где-то там, вне поля зрения, за кадром, — стук автомобильной дверцы и чих мотора.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живёт в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму). Автор серии исторических романов, в том числе «Саломея» и «Чёрный спутник». Лауреат премии «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

— Сейчас должна заиграть музыка, — говорят из-за спины, из комнаты.

Има сползает с подоконника и оборачивается.

Искуситель сидит на его диване, мерцающий, полупрозрачный, сквозь его белый шарф и сквозь саркастическое бледное лицо просвечивает деревянная полированная диванная спинка. Искуситель говорит по-немецки. Иногда он говорит и по-французски, и тогда Има его не понимает. И когда он пытается объясняться по-русски — Има тоже понимает его с трудом.

— Чёрт бы драл... я думал, ты уже того... ой...

Има и правда верил, что после всего Искуситель, наконец, уберётся. Но абстиненция закончилась — и вот он тут.

— Забавный... Думал, что сбежал от меня, — и в мой город. — Искуситель нежно смеётся и всплёскивает руками в пенно-белых манжетах. — Здесь всё моё, в этом городе я забыл своё сердце.

— И что у них тут за река? — спрашивает Има, присаживаясь на край подоконника.

Хотя у Искусителя не следует, конечно, ничего спрашивать, да и смотреть на него не стоит. Ведь потом не отвяжешься.

— Кляйне Неффка, — опять смеясь, говорит Искуситель.

Он сегодня не очень отчётлив, может, он и не совсем. Длинные его волосы завиты над ушами и словно припудрены пеплом, Има знает, что это называется «а-ля неж». «Как снег». Халат расшит птицами и чудовищами, но какими, не разобрать. Из-под халата глядят сафьянные домашние туфли-бабуши — он же дома, вот и одет по-домашнему.

— Кыш, — без особой надежды велит ему Има, — уйди с дивана. Мне надо спать.

— Спи, — неожиданно милостиво позволяет Искуситель.

Золотисто-парчовый призрак идёт рябью, тает, растворяется в воздухе. И вот уже никого на диване нет, полированная спинка с кожаными подушками отчётливо видна.

Има садится на диван. Ему очень, очень хочется спать. По-настоящему. Неужели только лишь потому, что этот — разрешил?

Сон. Четыре часа подряд — впервые за четыре месяца. Благословенное валяние в тёмном пыльном мешке, без мыслей, без сновидений, без боли.

Има проснулся оттого, что в коридоре гудит пылесос.

Солнце уже влезло в комнату и вдохновенно золотило всю дурацкую коммунистическую фигню на стенах, все эти вымпелы и горны, и портреты генсеков, и переходящее красное знамя в углу со шнуровыми тёмными кистями, то самое, что в детских страшилках именно «переходит» из угла в угол и душит пионеров.

Има жил в гостинице не в номере, а в ленинской комнате. Так уж сложились обстоятельства. Раковина, туалет — в коридоре. Душ — этажом ниже, в цоколе. Увы.

Има сел в одеяле, огляделся — нет, этот не вернулся.

Пылесос уехал дальше по коридору, и стало слышно, что говорят за стенкой. В соседнем номере голоса повторяли монотонно, нестройно, хором:

— Рё-нинграде. Рё-нинграде. Рё-нинграде.

Има нашарил под диваном ботинки, взял со стула чайник и вышел в коридор. Одеваться не пришлось — он спал одетый. Только помотал головой, чтобы чёлка не лезла в глаза.

В соседнем номере жили японцы. И ещё в нескольких номерах на этаже. Съёмочная группа. Рассеянный Има иногда налетал на них в коридоре.

Японцы снимали фильм из русской классики и со своими актёрами, что-то вроде «Идиота» Акиры Куросавы. Портье тётя Галя, чьей милостью и очутился Има в ленинской комнате, рассказывала, что их главный японец, господин Ойя, родом из какой-то глухой японской провинции, прилетел в Ленинград в национальных сандалиях, деревянных, с перемычкой между пальцами, таких, что носят с белыми носками. *Гэта* они называются, что ли. Поклацал в них пару дней, оценил, как местные на него тарашатся, и купил в комиссионке не менее клацающие (железной подковкой) рыжие длинноносые туфли из яловой кожи, и на три размера больше. Потому что деревенской ноге непривычна закрытая обувь.

Тётя Галя утверждала, что потешные носатые туфли Ойя носит из уважения к ленинградским традициям. Здесь же все в таких. И Има ей верил. Японцы уважают традиции. Это то небольшое, почти единственное, что он знал о японцах.

И ещё — каждое утро Има слышал, как за стеной они разучивают по слогам русские имена и названия. Хором. В номере господина Ойя собиралась вся их съёмочная группа.

Короткие имена шли у них хорошо, их приходилось повторять всего-то раза по четыре. А вот длиннословные не давались. Особенно название гостеприимного города, куда приехали японцы снимать своё кино. Има каждое утро слушал их многоголосое, непокорное: «Рё-нинграде».

Има постучал, и «рё-нинграде» затихло. Зато сказали, почему-то по-английски: — Камин!

И Има осторожно вдвинулся в номер. Прошёл прихожую, позвякивая чайником. Тут был целый люкс из нескольких комнат и с зеркальной передней, на стенах полированные деревянные панели. Японцы сидели кружком в гостиной, и все одновременно на него уставились, их было человек десять: кто-то на диване, кто-то в кресле, кто-то — ноги калачиком — на полу.

— Кипятильник не одолжите? — обратился Има к господину Ойя, единственному, кого он знал в лицо, — тётя Галя их друг другу представила. (Има сразу узнал Ойю среди других почти таких же японцев — Има любил азиатское кино и оттого азиатов неплохо различал.)

В портье тётю Галю, монументальную и величественную, господин Ойя был влюблён безответно, глядел и млеял, сам ей до подмышки. Впрочем, Има не уверен был, точно ли безответно. Ойя был молодой, хорошенький, с круглым ореховым личиком и с одинаково чёрным металлом играющими глазами и чёлочкой. Одна беда — малыш, с сидящую собаку ростом. Тётя Галя решила, что Име такое знакомство будет полезно. И — да.

Ойя смотрел на Иму молча и неотрывно, вытянув шею, и ртутно-чёрные глаза его очень широко раскрылись. Как открываются фары у машины «Феррари».

— Кипятильник, — повторил Има и пальцами изобразил изгиб. И прибавил смущённо, одновременно сдувая чёлку с глаз: — Я свой спалил...

Ойя сморгнул, соскочил с дивана, цокнув подковками, — и ничуть не сделался выше. Убежал в соседнюю комнату — присные молча следили за ним, поворачивая головы. Вернулся с хорошим большим кипятильником. А Има-то боялся, что «кипятильник» — длинное, многосложное слово и Ойя его пока не выучил.

Ойя смотрел так, будто очень хотел Иму потрогать, но не решался. И пальцы дрожали у него, и длинные ресницы.

— Гогорю, — мечтательно проговорил Ойя и кипятильник отдал.

— Спасибо. — Има торжественно вложил кипяtilьник в чайник. — Я потом занесу. Спасибо.

Этот был уже в номере. Сидел на подоконнике, в раскрытом окне. Ещё не проявившийся толком, почти прозрачный, сквозь него видно было, как ветер в окне гонит одну за одной берёзовые зелёные волны. Начало осени, но листья всё ещё были зелёные. Оттого, что в дождливое лето — напились влаги.

Има набрал воды в туалете и поставил чайник на стул, воткнул кипяtilьник в розетку.

— Что такое «гогорю»? — спросил Има.

Хотя тоже, нашёл у кого. Искуситель был теперь не в домашнем, — в серебряном и бархатно-коричневом, его наряд заставлял припомнить, что «коричневый» — это именно от слова «корица». Сладкое, дразнящее, душистое. Синнабон.

— Я не знаю, — пожал плечами Искуситель. — Вдруг это уточка такая — гоголь? Сегодня он был в духе и говорил с Имой по-русски.

В чайнике поползли первые пузырьки. Има глядел на них и понимал, что не хочет он чаю. Хочет — снова спать. Отоспаться за четыре месяца рваного короткого забытья. Има вытянул кипяtilьник из розетки и сел — осел, как сугроб, — на диван.

— Поспи, — уже по-немецки разрешил и Искуситель, — наберись сил.

Воробьиная стая пронеслась за ним, прозрачным, яростно щебеча и словно прошивая Искусителя насквозь.

Има сбросил ботинки и улёгся, под одеялом по-детски подобрал колени. Разрешили, значит, можно спать.

Когда я сплю — почти всегда мне снится одно. Мне снится, как я проснулся и вызвонил такси. Как спускаюсь по лестнице в своём доме, на Кутузовском, и шаги отдаются гулким ритмичным эхом. Огни проспекта и машину у подъезда я вижу размазанными, словно сквозь слёзы.

— В Малаховку!

Машина едет, и дорога с её размытыми фонарями, белой разметкой, полосами света от фар словно наматывается внутри меня на клубок, проглатывается, влетая в... Одна и та же дорога, те же повороты, и светофоры, и дома, и сараи — я знаю, помню... Одна и та же дорога, как повторяющая себя мелодия, уроборос, рондо поэта Вийона.

И тот дом в Малаховке, белый, кирпичный. На крыльце всегда курит мулат, а я знаю, что он не мулат, а цыган, просто очень смуглый. Вася Солдат. Он дружески приобнимает меня:

— Иди, тебя там заждались.

И я иду в дом.

В прихожей свалена вся хозяйская обувь: от босоножек до обрезанных резиновых сапог. Хламно, грязно. Пахнет печкой и перьями. И жареным луком, да, всегда. Потому что.

Гостиная — хозяева в наивной гордыне зовут её «зал», — здесь сидит в кресле бабушка, Нонна Марковна, и вяжет. В телевизоре перед нею всегда один и тот же фильм, здесь, в моём сне, — польский «Мистификатор». Одна и та же сцена из фильма. Двое любовников в постели, в лесу, под снегом — и бледный снег ложится хлопьями на их мерцающую белую кожу.

— Здравствуйте, — говорю я хозяйке.

Но она не слышит, она глухая. Она кивает, и всё.

Иди же.

И я подхожу к ковру за её спиной, приподнимаю край его — там дверь. И следующий запах, уксусный, тревожный. Уксусный и уже немножко — тот самый.

И дальше там, за дверью, — счастье моё. Покой и воля. Радость, составленная кое-как из кусочков янтарно играющей смальты. Дом мой, мир мой, и тёплое млеющее чувство, что всё наконец-то у меня — теперь-то на своём месте. Хоть так.

Однажды людоед дал в газету объявление: «Приходи ко мне, я тебя съем». И какой-то тип явился по объявлению, и его, конечно же, съели. И я как никто понимаю этого съеденного, этого дурака.

В дверь постучали.

Има аж подпрыгнул в постели, и двумя руками взлохматил волосы — так зачесалась голова. Потом поплёлся открывать. Лохматый, в носках.

На пороге стояли господин Ойя и ещё одна японка, прежде Имой не виденная, высокая, с лицом — круглоскулым сердечком — и с рыцарской стрижкой.

— Ника, — девушка протянула Има руку решительно, как мужчина, — господина Ойю вы знаете.

— Знаю, — согласился Има и задорно потряс её тёплую твёрдую ладонь.

— Гогорю, — опять повторил Ойя и воззрился на Има изнизу с ликом глупым и мечтательным.

— Этот его Гогорю — это Гоголь? — тут же спросил Има у Ники, похоже, Ника была тут в роли переводчика.

— Гоголь, — кивнула Ника, и чёлка её перелилась, как ртуть. Какие же были у них у обоих волосы — как стальная воронёная вода... И Ника сказала потом: — Вы похожи на Гоголя. У вас такая же причёска. Вы свободны завтра, часов в семь утра — и до одиннадцати?

— Обидно это. Я всегда считал, что похож на Ди Ди Рамоуна, — огорчённо проговорил Има, и Ника чуть улыбнулась. Как будто знала, кто это.

— Так вы свободны? Завтра, с семи до одиннадцати?

— До пятницы я совершенно свободен. Да и в пятницу, признаться, свободен тоже. А что нужно делать?

— Сыграть Гоголя, пройти по набережной в образе, в шляпе и в гриме. Так-то это пара минут, но сами понимаете: гримёр, дубли, пока свет выставят.

— Гогорю, — повторил ещё раз Ойя смущённо, — вы. Идеал. Бриллиант.

И вдруг сдвинул свои яловые пулены носами вовнутрь, как девочка из манги.

— Ладно, — мгновенно сдался Има.

Предложение льстило ему, хоть и немного пугало.

Прежде японцы видели Има исключительно в шапке-петушке с надписью «Лыжня», Има мёрз, его терзала абстиненция. И тётя Галя представила его господину Ойе именно в этой шапке. А сейчас шапки не стало, и тайное сделалось явным. Сходство причёски с Гоголем (хотя Има и надеялся, что с Ди Ди Рамоуном).

— Тогда завтра я зайду за вами в шесть тридцать. Сюда, — строго посулила Ника. — И не забудьте паспорт — мне нужно сделать договор.

На ней тельняшка была с прорехой у ворота, и джинсы, и кеды — как будто и не японка, а солистка «Автоматических удовлетворителей». И булавка английская в ухе, да. Има только сейчас разглядел.

— Вы не японка? — возгласил он со всей возможной храбростью. И пояснил, уже тише: — Вы ведь не учите с ними эти их — Рё-нинграде? Я вас там не видел.

— Я казашка, — Ника улыбнулась, теперь пошире, показав мелкие неровные зубки, полупрозрачные, острые на вид. — Я наёмник у них. Спасибо, что не путаешь с японкой — это же разное: казашка и японка. Пока, Гогорю.

Има вернулся к дивану и к ботинкам, обулся. Вышел из номера и отправился вниз.

В лифте ехал с ним тот, голый, волосатый, что сигал с утра с верхних этажей. Теперь-то, конечно, уже в одежде, но кроссовки остались те же самые. И волосы — длинные, рыжевато-выгоревшие, пахнущие хищничьим мускусом. Има не глядел в лицо ему, застеснялся.

На этаже ноль Има вышел, а бывший голый остался в лифте. Шарил по стенам, что-то трогал, что-то бормотал.

Има подошёл к стойке размещения — портье тётя Галя сидела за стойкой и читала книгу.

— Глядите, — Има потянулся за стойку, тронул портье за плечо и указал на психа в лифте.

— Это медиум из три-два-семь, маэстро Гуменюк, — ничуть не удивилась тётя Галя. — Он с сущностями разговаривает.

«И я», — тут же подумал Има и проникся к бывшему голому почти что симпатией.

— А что вы читаете?

Тётя Галя прикрыла книгу и показала обложку: Иммануил Годоев, «Постмортем».

— Отчего-то я так и подумал, — Има сморщился, как от боли. — Можно, я позвоню?

Тётя Галя кивнула. Има придвинул телефон и набрал номер.

— Мама?

— Имка, только без гадостей! У меня тут в машину залезли, всё украли, представляешь?

— Всё-всё? И сиденья? — Има мгновенно вообразил мамину «копейку», пустую, как гроб на колёсиках.

— Ага, табуретку поставила и ежду, — на том конце провода мама тихо рассмеялась, и Има понял, что сиденья всё-таки не украли.

— А ты — как? — спросил он осторожно. Боясь ответа.

— Я же сказала — как. Как сирота, без радио теперь. Ольга Ивановна про тебя спрашивала, — и мама прибавила на случай, если Има не понял. — Аверьянова. Из «Современника».

— И — что?

Это было важно. И страшно.

— Позвонила, спросила, нет ли у тебя ещё чего-то. Нового. И говорит, почти разошёлся тираж.

— А ты?

— Сказала, что в процессе.

— Ничего не в процессе. Ничего! Ничего нет. И не будет ничего! — Има сорвался в петушиное, кинул трубку.

Потом устыдился — тётя Галя смотрела на него поверх книги, удивлённо и строго. Брови у неё были выщипаны в ноль, и в сантиметре над бывшими собственными нарисованы новые, изумлённо вздёрнутые.

— А мне нравится, зря ты так, — сказала она, приподняв над коленями книгу. «Постмортем», автор Иммануил Годоев.

— Господи! — Има схватился за голову и выбежал прочь на улицу.

И там, на крыльце, ждало его утешение. Сцена, виденная в детстве, в европейском старом кино, и теперь повторённая, вдруг заново отыгранная шутницей-жизнью.

Медиум Гуменюк, тот, что бывший голый, за рулём своего белого «Москвича» выруливал со двора. И разминулся на выезде с весёлым лысым мотоциклистом.

— Шлем надень! — крикнул ему.

И в ответ услышал наглое:

— А ты пристегнись!

Ненастоящий писатель

Беглый белый воздушный шар, вращаясь, летит по-над рекой, отражается в зеркале вод. А под зеркальной чернью — клубком переплетённые пряди водяных трав.

Има, в цилиндре и в крылатке, высоко вскидывая трость, шагает вдоль воды и думает невольно, какова же была эта набережная тогда, давно, во времена Гоголя? Ведь наверняка ничуть не такова, как сейчас, в девяносто первом: и решётки другие были, и асфальт под ногами — он же деревянным был, тот настил девятнадцатого века, разве нет?

Оператор с камерой на плече обгоняет Има — как он бежит, и с такой тяжестью? — и припадает перед ним на колени, снимает изнизу. И камера глядит на Гоголя снизу вверх, как глядел недавно господин Ойя.

Это пятый такой его проход — а Ойя всё не доволен. То волосы не так взметнулись, то рожа глупая, а надо значительную — Ника для Има переводит претензии. Има делает самую значительную, идёт в шестой раз, и тут японцы принимаются хором, как птицы, галдеть по-своему.

— Свет ушёл, — поясняет Ника. — Теперь завтра.

— А что, не всё?

— Размечтался. Иди, садись, тебя разгритмируют. И шапочку верни.

Ника сдёргивает с Има шляпу и толкает его на складной стул. И тотчас пожилой японец в куртке лётчика начинает смазывать с Има грим какой-то мазью наподобие лыжной, и так же пахнущей. Интересная бледность линяет, и возвращается истинный Имин землистый цвет лица.

— На, проверь, — Ника вкладывает Има в руки кипу листов, — это твой договор.

— Всё хорошо. — Има отдаёт договор, даже не пролистнув.

— Не читаешь? — изумляется Ника. — А если там написано, что...

— Ничто, — зло перебивает Има. — Ты ничего не придумашь, чтобы сделать мне ещё хуже.

Он бросает крылатку на стул, а костюм не отдаёт — во-первых, переодеться негде, а во-вторых, завтра же опять доснимать. А ботинки у Има свои, дубовые чёрные мартенсы, мама привезла их из Лондона. Гоголь в японском фильме будет модник.

Ника тащит Има вниз, к воде, на ступени, подписать договор.

Здесь, в центре города, совсем нет деревьев. Вот ни одного. Зато много-много гранита и облупленных старых фасадов, и чугунных оград, и мостиков, и воды. В прозрачной чёрной воде зелёные вертикальные травы стоят как утопленники.

Има чиркает ручкой, подписывая, рвёт бумагу.

— На, подложи, — Ника протягивает ему журнал «Америка».

— Ничего себе — ты читаешь. Это ж Рон Этей, мать его за ногу.

На обложке «Америки» и в самом деле художник-перформер Рон Этей, вонзающий в себя шприцы, — утыканный ими, словно ёж. И облитый кровью, потёками, как торт глазурию. И название статьи — «Кровь поэта», цитатой из Кокто.

— Правильно — Рон Этай, — поправляет Ника.

— Много ты знаешь. — Има накрывает журнал листами и размашисто расписывается, по одному отдавая листы Нике. — Рон Этей, вокалист из «Прематур эякулейшн», тот, что на сцене жрал kota. Дохлого, не живого, конечно, не смотри на меня так.

Има любит индастриал и Рона Этея прекрасно знает. А мама обзывается: «Индастриал — в носу ковырястриал...» Има пролистывает журнал — и да, они и в самом деле пишут его имя как Этай. И больше Рон котов не ест, он сидит на сцене голый и втыкает в себя медицинские иглы, одну за одной, пока не покрывается ими весь. Как дикобраз — защитным панцирем от этого мира. Рон Этей втыкает в себя иглы, чтобы физическое страдание заглушило, — перекрыло то, что внутри, чтобы выпустить боль в мир и потом держать, баюкать её в руках, как котёнка. Има, увы, понимает его превосходно. Иногда проще изрезать всего себя ножом, глубоко и больно — лишь бы не таскать в себе вот это вот всё.

Искуситель стоит на другом берегу, опёршись на парапет. Опять нарядный, в соболиной шубе. Он улыбается, но даже сейчас, на ярком свете, лицо его нечитаемо, словно всегда в тени — толком не разобрать черт.

Иногда кровоточит сердце, и стоит сделать надрез, чтобы выпустить кровь наружу.

— I'm bleeding... — машинально повторяет Има цитату из модной песни.

— Я тоже, — отвечает ему Ника.

Има смотрит на неё удивлённо. Ника сегодня в широкой цыганской юбке — она демонстративно разглаживает юбку на коленях, и Има понимает, что речь идёт про все эти их женские штуки. И стыдливо алеет щеками.

— Ты — Иммануил Годоев? — вдруг спрашивает Ника.

— Ну да, вот же, в договоре.

— Ты — Иммануил Годоев, писатель?

Тут стоило бы опустить завесу стыдливости, да где её взять.

Има передёргивается весь и отвечает:

— Да.

Я ненастоящий писатель.

Этот свой роман «Постмортем» я сочинил на последних курсах института, можно сказать, от скуки. Моё образование не имеет никакого отношения к писательству. Я инженер-биохимик. Правда, я много всякого разного читал... Но ведь тот, кто много всего разного ел, — не всегда кулинар.

Поворот фразы, как изгиб реки, как перемена угла съёмки — внезапно акробатически переворачивает весь предыдущий смысл. Как поворот ключа — и самолёт взлетает. Мне вдруг захотелось чего-то такого. Придумать мир, заставить героя, — если я опасаюсь сам.

Моя мама пишет аннотации, вот эти самые кратенькие содержания, что напечатаны в книге позади всего рядом с выходными данными. В детстве мама давала мне эти аннотации, чтобы я находил опечатки. И мне как-то почудилось в гордыне, что писать

книгу не так уж и сложно, если весь смысл потом умещается в описание размером с ладошку. А я уже вёл дневник и сочинял эссе для литературного кружка — ну вот такое же и написать, только большое. Как рассказать длинную сказку.

Мне как раз подвернулись мемуары Бассевитца и письма леди Рондо (эти даже в оригинале), и захотелось туда, в их мир, в те декорации, и на барочной сцене, в бархатных кулисах — разыграть спектакль по всем правилам драматургии. С завязкой, перипетиями, кульминацией и мучительным грустным финалом. Меня заинтриговали герои галантного века в напудренных масках поддельной вечной юности и в нарядах говорящих расцветок — почти как маски в дель арте. Неснимаемые маски, неизменные роли. Пульчинелла, Смеральдина, Тарталя. У этих масок всё было говорящее: краска на лице, движения трости, цвет и узор кафтана, длина кружев на манжете, рисунок табакерки. Всё — шифр, который нужно уметь читать. Галантный язык. Условности, возведённые в культ. Изысканная подлость. И циничная лицемерная мораль того времени, наивно-ханжеская, так похожая, как ни странно, на нынешнюю нашу.

И ещё — главное, наверно. Про те времена, аннинские, писали — «вот же было мрачное время». Тайная канцелярия, инквизиция, крепостное право. Министра казнили на площади, жидовствующим паклю жгли на голове. Но для кого-то те времена оказались всё равно лучшими в жизни, самыми счастливыми. Начало взрослой жизни, любовь, взлёт карьеры, несмотря ни на что. Про наши нынешние времена тоже говорят «ужас-то, ужас-то какой, нищета, бандитизм», а для меня — времена счастливые, потому что институт, первая скромная фронда, и мозги уже раз и навсегда не стерильные, и первые две девушки случились у меня одновременно, в институтском общежитии. И вот захотелось мне, дураку, зачем-то провести параллели. Что времена ужасные могут кому-то казаться лучшими и любимыми. Мне, дураку, неспособному даже связно выразить мысль...

Я писал современным языком, почти не стилизуя под старину, потому что Нагибин и Лажечников пишут противно, нарочито, а вот Окуджава мне нравится.

Я по ночам работал сторожем на заводе МЗМЗ, трижды за ночь обходил его кругом с пушистой белой собакой. От собаки так разило псиной, что нельзя было гладить, — потом не отмоешь рук. Остальная ночь была вся моя — тёплый ночник, широченный стол под зелёным сукном, как у Ленина.

Фигурки героев двигались на зелёном сукне, словно на сцене.

Иногда звонил телефон, я снимал трубку:

— Эмзэмзэ, — и потом переключал на инженера, такого же ночного сидельца. Ему звонила жена. А мне, иногда, мама.

Фигурки ходили по зелёному сукну сцены. Танцевали, ссорились, дрались на дуэлях, а однажды кавалер упал с коня. Он был искусный наездник, этот кавалерчик, мой персонаж, один из основателей Конюшенного приказа — как вышло, что он вдруг нелепо свалился с лошади, и у всех на глазах? Я сам не понимал, но леди Рондо писала об этом конфузе. Я ломал голову, пытаюсь преподнести упадение правдоподобно, и тут услышал:

— Лошадь надулась, — это было сказано тихо, с акцентом, и потом говорящий перешёл на немецкий. — Лошадь надулась, когда её седлали. А потом она выдохнула — подпруга съехала, и всадник упал.

Он сидел в тёмном углу на моей охранничьей лежанке, закинув ногу на ногу. Он тогда тоже был франтовато одет: в каком-то невероятном жабо и в туфлях с мерцающими пряжками. Лунные волосы вились по его плечам, и кончики прядей завиты были, как розовые бутоны. А лица не разглядеть — но видно, что улыбается.

Так я впервые увидел Искусителя. Я так и не узнал — его имя и кто он такой. Я потом пересмотрел в библиотеке все портреты того времени — и не отыскал похожих. Мне толком никогда не удавалось разглядеть его черты, но я отчётливо видел эту его гримасу — печали и сарказма одновременно. Трагические брови, прищуренные глаза, капризный злой рот — на портретах тридцатых-сороковых не было таких, столь же красивых.

— Мой портрет висит в Раундале, — так говорил Искуситель, смеясь над моими изысканиями. — Но там он неверно атрибутирован.

Вот чьи портреты висят в Раундале: Бирон и его бироновские родственники, Шуваловы, Зубовы? Они все непохожи. Зубов, вернее, похож, но он жил много позже. А Бирон с Шуваловым оба похожи на картофелину, не зря при дворе подозревали, что они отец и сын. Кто же он был, мой Искуситель? Я так и не понял.

Кажется, я, стихийный некромант, неграмотный бокор, своей писаниной невольно выманил с того света случайного сановного покойника. Некрупного — раз уцелел лишь один портрет, и тот чёрти где, в Раундале.

— Я был не такое ничтожество, как ты себе воображаешь.

Он слышал мои мысли, отвечал на мои вопросы. Правда, всегда сперва как следует кочевряжился, умничал и кокетничал. И я стал спрашивать его — как всё было? У меня не клеился сюжет, я не мог понять, — почему они все это делали, эти аннинские вельможи? Ради чего или ради кого так жестоко уничтожали друг друга? Я прочёл Соловьёва, Бассевитца, Мюнixa, леди Рондо, — но головоломка не складывалась, я не понимал мотивов, ведь было же и что-то ещё, кроме желания власти, мести и алчности? Нет, и их обычно довольно, но мне показалось — чего-то всё-таки не хватает, единственной карты в пасьянсе. И я спросил его, своего советника, — ну почему?

Мягко теплилась лампа, медовый круг света лежал на зелёном столе. Я сидел за столом, Искуситель — на лежанке охранника. И он показал мне изнанку истории, грустную, нелепую, поведал тихим голосом, рассказ перетекал с русского — на немецкий и на французский. Я не понимал по-французски, и он спохватывался, и повторял ещё раз по-другому. У него очень мягкий голос, как пух, как соболиный мех. И он много смеялся, тоже мягко, шорохом, непонятно чему иногда, совсем своему.

Искуситель рассказывал обо всём том, некогда бывшем, — как будто знал моих героев лично, и знал неплохо. Он перечислял, и не без удовольствия, их мелкие тайные грешки, и некоторые сцены пересказывал так, словно был им свидетелем. Словно стоял невидимо за сценой, на которой вся пьеса игралась.

— Я был за ширмой, — сознался однажды Искуситель, — мне разрешали находиться там, пока высокие персоны разговаривают. Зачем? Чтобы потом я мог дать совет или выразить мнение. Да, моё мнение было важно, и не последнему человеку из них.

Но кем был он сам, — он так и не признался.

Он дал мне недостающие детали — позабытые, пропущенные или выброшенные за ненужностью историографами. Головоломка сложилась, смальта собралась в мозаику. Я понял наконец-то — почему. Для чего у них всё это было. У моих героев.

И ключ повернулся, и мой самолёт взлетел. Прыжок сюжета, изгиб реки. Поворот фразы, меняющий весь её прежний смысл.

Я показал роман маме, она прочла. Фыркнула:

— Какая гадость! Никогда не думала, что у тебя такое гнездится в голове. Я позвоню Ольге Ивановне, и ты занесёшь ей этот свой опус магнум.

- А кто это — Ольга Ивановна?
— Аверьянова, главред издательства «Современник».

— Любите Пикуля?

Это странное издательство располагалось на первом этаже жилого дома. Я даже решил сперва, что мама меня разыграла. Внутри было бедно, стены в шелухе отставшей краски, мебель как в школьных классах. Спартански скромная обстановка — я-то ждал чего-то вроде интерьеров ЦДЛ. В детстве мама брала меня с собой в ЦДЛ, в ресторанном зале выставлены были картины Целкова, и я ревел от страха.

А главред Ольга Ивановна — круглая, как шар, как раньше писали в романах, «со следами былой красоты», и сейчас ещё очень красивая, с ледяными глазами, и в ледяных же сапфирах. И в её кабинете, среди спартанской бедности, стоял компьютер, внезапно «Макинтош».

Она пробежала глазами первый лист, скоро, наискосок, и потом второй.

— Я даже не читал Пикуля, я Окуджаву люблю, — промямлил я.

— Окуджава тут заходил к нам на днях, маленький, тощий, попа в джинсах — как у зайчика, — с нежностью припомнила Ольга Ивановна.

Я хотел сострить, мол, что, и с хвостиком? Но не осмелился.

Ольга Ивановна перебирала листы — один за одним, что-то увидела в тексте, удивилась, подняла бровь, потянулась за очками:

— Занятно...

Потом вспомнила обо мне, бросила поверх раскрытой рукописи:

— Я позвоню вам. Если возьмём. Через месяц, раньше не ждите. Вы же написали на титуле телефон? — она проверила — и да, я написал, наш домашний. — Маме привет!

Она мне потом позвонила — через тридцать три дня.

— Я прочитала твою книгу, — говорит Ника.

Има мрачнеет ещё сильнее:

— Я так и понял.

— И не спросишь «ну как»?

— А зачем?

— Потому что — ну охрененно как. Только один вопрос — там всё так заканчивается, как будто должно быть какое-то продолжение.

— Не будет.

— Но у тебя же открытый финал. Там всё так и просит, — чтобы продолжиться, дальше быть.

— Дальше я не пишу. Не хочу.

— Но почему?

— Потому что я ненастоящий писатель. Я случайно написал книгу, от скуки, я никогда ничему такому не учился. Это был эксцесс, разовая акция.

— Я поняла, — кивает Ника. И тут же верно угадывает: — У тебя была плохая критика? Тебя разругали?

— Ужасная критика, — тихо соглашается Има.

— Так это же хорошо! Хуже — когда совсем ничего, когда молчат.

— Да ты бы это видела! После тех статей мне уже вообще ничего не хочется.

Мне ставили в упрёк ну вот совсем всё. И отсутствие образования, то, что я инженер-биохимик, а не филолог или писатель, что я не окончил институт имени Горького. «Мы знаем, что не боги горшки обжигают, но чтобы настолько — не боги, и уж настолько — горшки».

Меня сравнили с тем самым Пикулем, и не в мою пользу — «огламуренный эпигон». Я наконец-то прочёл Пикуля — нет, ничуть я не был на него похож! В его чудовищном опусе обер-гофмаршал и обер-камергер говорили между собою, как будто они секретари обкома, рублеными просторечными фразами. Обер-гофмаршал лупил гофмейстерину по мордасам. Царица кормила ребёнка грудью, и ведь задолго до всякого там Руссо. А это его построение фраз, пересол инверсии — как у мастера Йоды из «Звёздных войн»...

Критик с говорящей фамилией Покусаев (ну хоть не Гав. Цепной!) окатил меня обвинениями, как помоями из ведра. Да, бывали в истории случаи, что кавалеры любили других кавалеров, но нельзя же писать о подобном в художественной книге! Таким подробностям место в газете «Спид-Инфо», но никак не на страницах исторического романа. Не роман у вас, Годоев, а лакейские сплетни про бар. Я вышел и очернителем истории, и извращенцем, и вульгарным вуайеристом — спасибо Искусителю! Ведь это он снабдил меня забавными деталями придворной жизни.

— Но если граф близок был с камердинером? — смеясь, отвечал мне сам Искуситель на мои упрёки. — Или ты предлагаешь выдумать ему даму? Это выйдет искусственно.

А ведь Лажечников именно выдумал ему даму в своём «Ледяном доме», оказался поумнее меня.

— И огрёб по полной за эту свою Мариорицу, — это уже мама — мне. — А ты написал как есть. Но я же тебе сразу сказала: у тебя вышла гадость. Теперь терпи.

Было три критические статьи — и я получил сполна и за современный язык, за то, что Бирон взялся за роль канцлера «на общественных началах» — как же это развеселило критика! И за то, что мундиры у гвардейцев были не того колера. И за явную бисексуальность персонажей — оказывается, это неприлично. И более всего — за то, что «Ледяной дом» уже есть, и пикулевский опус уже есть, для чего вы, автор, вообще это написали?

Да ни для чего. Захотелось. Не нравится — не читайте, забросьте книгу за шкаф. Мама советовала:

— Закажи хвалебную рецензию. За деньги. Я найду тебе автора. Я бы и сама написала, но это будет слишком явно — у нас фамилии одинаковые.

Это было бы — унинительно. Искусственно, как сказал бы весельчак Искуситель. В те дни он сделался особенно отчётлив, я смог разглядеть его глаза — серые, как старинное серебро. Он ведь был призрак, а книгу читали — и он стал проявляться ярче. Но я не писал о нём в книге...

— Писал, — возражал он, опять смеясь, — просто не понимал этого. Я у тебя вышел — ну ни капли не похож. Внешность не угадал, характер не угадал.

Я его ненавидел. Это он заставил меня сначала поверить, пожить немного волшебной, мерцающей, дивной жизнью, двигая фигурки на зелёном сукне, в медовом круге, — а потом погубил. Эти его подробности, милые детали — они сделали мой роман пошлой скабрёзной шуткой.

Если выпить водки, Искуситель делался не виден. Но я ненавижу водку. Оказалось, и после некоторых укулов он тоже становится невидим. Я зачастил в Малаховку, в один

там цыганский дом. Жизнь снова затеплилась — лживым дрожащим светом. Ненадолго, нельзя без конца глушить себя, как рыбу динамитом.

Десять длинных разрезов на левой руке, по всем правилам, вдоль, не поперёк. Больница имени Склифосовского. Пять швов. Унизительное признание маме и бегство в Ленинград — подальше от Малаховки, от белого цыганского дома, отлежаться, отоспаться. Переломаться. Вот и всё.

— Ты дурак, — говорит Ника на это.

— Я знаю.

— А ты сейчас его видишь? Этого своего?

— Да вот!

Има кивает в сторону реки, и с того берега Искуситель изящно машет им обоим. Шуба его бриллиантово переливается в ярком свете.

— Жаль, я не вижу, он, наверное, красивый.

— Он сволочь, — вздыхает Има. — Он тоже просит, чтобы я продолжал писать. Он от этого ярче проявляется. Оживает. Но я правда не могу. Мне — нечем.

— Кровь, которой ты писал прежде, выпили критики, — мило улыбается Ника, показывая острые клычки. — Ладно, давай до завтра. Там японский батончик стартует до ЛДМ, беги, они тебя добrosят.

— А ты? — Има нет дела, но — бонтон, бонмо.

— Я — вот, — Ника показывает Има журнал «Америка» с залитым кровью перформером на обложке. — Не совсем точно так же, конечно, просто иду на квартирник. Гера Виноградов приехал. С собой не зову — там надо скидываться, а у тебя наверняка нет.

— Откуда? Я в ленинской комнате живу!

В гостинице Има разорвал уже подсохшую сосиску, вывесился в окно и покормил кошек.

Он жалел, что рассказал всё Нике, чужой тётке, непонятно кому. Но зато сделалось полегче.

Кошки внизу ели, урча. Ветер гнал над ними зелень — волнами, как море. Осень, сентябрь, а листья всё зелёные.

... *Verdi prati, selve amene...*

Он ещё и поёт!

У Искусителя дурная привычка: когда он в духе, он напевает оперные арии, и на очень высоких нотах, у Имы закладывает уши. Има даже предположил, что при жизни у Искусителя были нелады с гормональным фоном. Тот лишь рассмеялся:

— У меня было семь детей!

И вот сейчас он опять напевает, нежно, высоко-высоко — про какие-то зелёные луга, в которых забвение и покой. Такая высокая вибрация — непривычно, но очень красиво. Как и весь он, Искуситель.

Он напевает, бродит по комнате, трогает горны и вымпелы на стенах, а Има садится на подоконник и замороженно следит, — как мерцают позументы наряда и дрожит от пения нежное белое горло.

Има смотрит на его дрожащее горло, — и горло его собственное, Имино, отпускает, разжимаясь, невидимая железная рука.

... *Verdi prati, selve amene...*

Откуда-то с высоты, почти с небес — нет, просто с верхних этажей. Тенор, не столь высокий, пониже, чем у Искусителя, вплетается в арию и продолжает её, и два голоса, две серебряные ленты, трепещут на ветру в зелёных, как море, берёзовых волнах.

*Vaghi fior, correnti rivi,
la vaghezza, la bellezza...*

Тот медиум, с верхних этажей, из три-два-семь, тоже слышит арию. И подпевает.

Насилие над слухом

Второй его съёмочный день.

Име сегодня особенно трудно. У него заболели руки и ноги, заныли, закрипели суставы — запоздалый привет абстиненции. Гримёр кое-как закрасил зелень лица, и вот он, Има, — на горбатом мосту, с тростью в руке, в летящей крылатке. По мосту носится туда-сюда миниатюрный японец и уговаривает машины хоть ненадолго — не ехать.

Има размашисто шагает, ударяя тростью по асфальту, и видит своё отражение в высокой, от земли до неба, витрине кондитерской. У этого дома стиль ар-деко, такого при Гоголе не было, но Ойю, кажется, подобные мелочи не смущают.

Ветер бросает волосы в лицо. Има видит свои отражения — в чёрной воде внизу под мостом, и в чёрной витрине напротив. Как в зеркалах. Бледный растрёпанный Гоголь ехидно улыбается ему из витрины — настоящий писатель, самый настоящий, мать его, не то что Иммануил Годоев. Има снимает цилиндр и яростно раскланивается с собственным отражением — и с Гоголем тоже — на тебе! Со всем почтением! И потом — шагает прочь.

— Стоп! Снято! — это по-японски, но всё равно понятно.

С рёвом проносятся за спиной пущенные наконец-то машины.

Ойя доволен. Он подпрыгивает в своих забавных туфлях и машет Име через мост:

— Бриллиант!

Японец, что прежде распоряжался движением, подбегает к Име, — чтобы вести того разгримировываться. Има порывисто отдаёт ему, кидая в руки, — трость, шляпу, крылатку. Потом разворачивается и уходит. Спектакль окончен, я вам более не нужен. Пора и честь знать.

Он просто идёт прочь, прочь, на скрипящих от боли полусогнутых ногах. Има не знает города, он идёт наугад, только чтобы никого из них больше не видеть.

— Стой! Да погоди ты! — его догоняет — конечно же! — Ника.

— Я потом верну костюм, — говорит Има, не поворачиваясь (и шея тоже болит!), — и умоюсь я сам.

— Да погоди ты! — она запыхалась и путается в юбке. — Деньги же! За два дня. Давай я тебе отдам.

Зеркало воды, зеркало неба, и серые дома по обоим берегам — коридором, отвесными фьордами. Ветер, выдувающий мысли из уха в ухо.

*Вода в заливе молча стынет,
Её пронизывает рябь.
Один графин писал графине:
«Мадамь, я ваш покорный раб...»*

В конце слов не мягкий знак, — ять, конечно, — типа смешно.

— Давай, — Има поворачивается и протягивает руку. — И я пошёл. Или... ты не знаешь, где тут можно... взять? Второго только, не первого, первое ненавижу.

Ника глядит на него, прищурясь, узкие её глаза делаются — совсем щели. Она вкладывает в руку Име два лиловых четвертака — его гонорар. И спрашивает осторожно:

— Не жалко тебе? Ты же вроде только-только переломался.

Има пожимает плечами — он не знает, но ему очень больно.

— Я не знаю. Но мне очень больно. Ноги, и спина болит.

Ника задумчиво теревит булавку в ухе, сегодня холодно, и поверх тельняшки на ней ветровка с парусником — с юбкой выглядит жутко, колхоз. Или такой незатейливый панк. А ещё и кеды. И на рюкзаке у неё прицеплена на цепочке кукольная голова с зелёными волосами.

— Послушай, — вкрадчиво говорит Ника, а ветер подкидывает вверх её вороную чёлку, — есть одно место. Мы можем зайти посидеть. Там один человечек. Он позвонит, и мы съездим за вторым. Я, кстати, слышала, как ты вчера пел — очень здорово.

Има вчера не пел, пел медиум, но Има не возражает — у него нет сил. Хорошо, можно перетерпеть это её место, зато потом — потом-то второе.

Ника вела его за руку по змеиным сумрачным переулкам так долго, что начало смеркаться. Почему, ну почему у них в центре города не растут деревья? Как будто бредёшь среди скал с окнами.

— Я больше не могу, — Има остановился и присел на корточки. — Ноги болят.

— А мы как раз пришли.

Има выпрямился — прямо перед глазами на двери прикинута была картонка с надписью шариковой ручкой, несколько раз обведённой для пуши жирности: «ear torture», «насилие над слухом».

— Это что?

— Что-то вроде клуба.

Про клубы Има слышал в Москве, но сам не бывал, — да кто бы его туда пустил, такого несуразного.

Ника дёрнула дверь — и тут же в образовавшуюся щель высунулась им навстречу голова на могучей шее.

— Привет, Саш, — сказала Ника, — я сегодня плюс один.

Голова спряталась, и они вошли. Има в полумраке прихожей разглядел этого Сашу, стража дверей — шкаф в спортивном, два на два.

— Тут вход вообще-то платный, — пояснила Ника, — но для меня нет.

Има хотел было спросить «а кто ты?», но не стал, догадался, что Ника — здешняя светская львица.

Они поднялись на три ступени и очутились в ресторанном зале, декорированном в стиле илистого пруда. Изумрудные, как те стоячие водоросли в реке, длинные занавеси на высоких окнах, блестящие столики и диванчики, обтянутые болотной буклированной тканью. С потолка ледником спускалась люстра, хрустальная, очень пыльная, в сердцевине желтоватая от времени. Такой описанный ледник. Интригующий полумрак, народу немного — вход-то платный. На сцене играл ансамбль, и дядька пел козлиным голосом «Леди ин ред».

— Садись, — Ника толкнула Иму на буклированный диванчик. — Будешь пиво? Тут самим надо брать. Но недорого, как ни странно. Деньги потом отдашь, я же знаю, что теперь у тебя есть.

Има, утонувший в мягком диванчике, как в омуте, кивнул, в душе чуть опасаясь — после пива хватит ли ему на второе? Ника пошла к бару — юбка её играла при каждом шаге, и многие на неё глядели. Има подумал, что Ника, наверное, экзотическая красавица — азиатские глаза, высокие скулы, и волосы эти, с синим таинственным отливом, — да ему повезло наконец-то, а он не ценит.

Певец слез со сцены, и место его занял почему-то другой певец, а ансамбль остался прежним. У них скрипка была, в этом ансамбле, и у скрипача — белые кудри до плеч, как у Искусителя в его самом скромном убранстве. И кофта была у скрипача флисовая, расцветки «грин джелле». Новый певец взял микрофон и запел про Ален Делона, и на удивление неплохо.

— Держи, — Ника вернулась и поставила на стол две кружки, и в гранях их тоже играла зелень, — «жигули» с димедолом.

— Почему вокалисты меняются? — спросил Има, делая осторожный глоточек, пока одной только пушистой пены.

— Это здешний прикол, — пояснила Ника, присаживаясь рядом. — Люди платят деньги, чтобы петь. Банда играет минусовку, и посетители поют. За деньги. А для меня — бесплатно, скрипач мой парень, одно условие — говно не петь, вроде «Не плачь» или «Белые розы». Но ты, мне кажется, не станешь петь говно, Ди Ди Рамоун.

— Я вообще не буду петь, — тут же вскинулся Има. — С чего ты взяла!

— Как знаешь, — Ника подняла кружку и поглядела на Иму поверх пены, лукаво, прищуренными глазами. — Я — буду. Кстати, скрипач торчок, так что будет тебе и твоё второе. У него, может, даже есть с собой. Ну, я пойду поздороваюсь.

Ника залпом отпила почти полкружки, видать, для храбрости, поднялась и медленно пошла к сцене — опять так, чтобы все на неё смотрели. Её походка гипнотизировала. И кеды, и куртка с парусником, и идиотская юбка — всё это, оказывается, фигня, когда девушка такая красивая.

Ника встала перед сценой, помахала, и парень её, наркоман-скрипач, небрежно кивнул поверх скрипки. И слава богу. Иму кольнула жалость, — что красавица не его, но так ведь было и спокойнее, правда?

— Разрешите?

Тот дядька, что пел про леди ин ред, и притом с собственным стулом, просился к Име за стол. Има лишь кивнул — он смотрел, как Ника шепчется с гитаристом, тот свесился к ней со сцены.

— Позвольте представиться: дядя Буш. — Дядька навис над столом и протянул Име руку.

— Иммануил, — Има вяло пожал эту его руку. Дядька похож был на побитого жизнью филина. — Буш — как президент или как персонаж Довлатова?

— Тот самый, что у Довлатова, — сказал гость категорично и значительно. — Прототип.

Има сообразил, что сам он сейчас на диво элегантен в сюртуке и в дивном гоголевском гриме, и тепло невидимых четвертаков озаряет его изнутри — и прототип ожидает, наверное, что Има его угостит. За прототипность.

— Вы непохожи, — возразил Има сердито.

Буш у Довлатова был совсем не такой, он был миниатюрный демонический красавец, и вряд ли за годы настолько разъелся, вот облысел бы — да.

Довлатовский Буш был одним из Иминых литературных любимцев: великолепный шизофреник, нелепый, бесстрашный, милейший. Има совсем не желал знать прототипа, и уж тем более каким его сделало время. Хотя этот дядька врал, конечно. Может, фамилия у него такая же — ну, совпадение. Има притворился, что никакого прототипа тут нет, стал высокомерно глядеть в сторону, как орёл на скале.

— Зато вы похожи, — гость взгляделся, зачем-то расфокусировав глаза.

— На Ди Ди Рамоуна?

Повисла пауза, и в этой паузе — Ника вдруг запела со сцены. Вступила скрипка длинной мучительной болезненной трелью, и слабый голос вплёлся в музыку:

Фрегат твоей мечты раздавили льды — давным давно...

Она плохо пела, но так пританцовывала и так заводила глаза — о мой бог! Има вздохнул и потрогал лоб, и пальцы испачкались белым гримом.

Довлатовский прототип перестал косить глазами и сказал зло и растерянно:

— Холодно от вас. Как в морге.

И ушёл — мгновенно, словно его спугнули, даже стул оставил.

И на брошенном стуле тут же возник Искуситель. Кудрявый, прекрасный, сегодня — в золоте и багрянце наперекор здешней зелени.

— О-мой-бог! — пропел он моляще, и сложил ладони так, что звякнули друг о друга перстни. — Можно и мне — в эту игру? Умоляю, мой господин! Мой прекрасный, мой жестокий господин, — пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

— Я не умею петь, — шёпотом напомнил Има.

— Но я — умею! — Искуситель поднял брови, серебряные глаза его засияли. — Я рассчитаюсь, клянусь! Дай мне, дай, дай — и ты не пожалеешь.

*...И я хотел бы остаться с тобой — но твоё жилище — проклятый дом,
Его величество — дьявол — поселился, наверное, в нём...*

Има поднялся и в три шага очутился у сцены — и теперь все глядели на него — высокого, в старинном сюртуке и с белым таким лицом.

Има встал у сцены. Прощально пропела скрипка. Ника опустила микрофон и смотрела на него, сощураясь, глазами — как чёрные полудуния. Замолчала и скрипка. Има трижды хлопнул в ладоши — аплодисменты. И сказал тихо, но услышали — все:

— Можно и мне? Только без микрофона, и без музыки — вы такое не сыграете.

— Это что же мы такое не сыграем? — с нотой брезгливости спросил сверху вниз гитарист, он, видимо, был у них главный.

— Гендель, Альцина, Миа кор.

— Обижает, я её знаю, — вступил скрипач и с края сцены протянул Име руку. — Давай залезай, позорься. Я подыграю.

— Он охренительно поёт, — тихо возразила Ника, вложила микрофон в гнездо и отступила вглубь сцены, не уходя с неё.

Има взлетел на подмости — грохнули мартенсы, взметнулись фалды. Встал, сияя набелённым, как в дель арте, лицом, — и все глядели на него, но сам Има никого уже не видел. Не было больше Имы — Искуситель, как рука в перчатку, как жертва в железную деву, вошёл, во-плотился и стал — за него.

Скрипач заиграл вступление — музыка поднималась выше и выше, несмело, осторожно, на мысочках по ступенькам, шаг за шагом. Тревожные, горькие удары сердца — и потом раскрылись наотмашь крылья, и взшло, взлетело тысячей острых стрел высочайшее, кровью плачущее сопрано:

O!
...mio
...cor...

Падение с башни вниз — вниз головой, навзничь, с разорванным сердцем, на перебитых крылах... Ворох окровавленных перьев мёртвого ангела:

Schernito sei!
Stelle! Dei!
Nume d'amore!
Traditore!
T'amo tanto...

Ника глядела на него — из полумрака, из глубины сцены. Она-то немного знала, что он *умеет*, но и она не ждала, что — вот так.

Има стоял неподвижно, лишь руки сжав в замок перед грудью, а голос танцевал и бился, как умирающая яростная птица, отчаянное сердце в клетке рёбер, и свет от плафонов вдруг весь потянулся к нему и стал над нам кругом, нимбом, и Ника глядела на его белый профиль, другого уже человека, на дрожащее белое горло:

Oh, Dei, perche, perche?
Perche?

Она на мгновение разглядела того, его второго, настоящего хозяина дивного голоса. Он проступил сквозь Иму, выступил, как кровь из раны: парчовый, артериально-альный — scarlett — в брызгах золота, с глазами египетской мумии, длинными, серебряными, пустыми. Да, он был красивый...

Вот он стоит на сцене императорского театра, но ночью, когда все спят и некому гнать, и поёт, вполсилы, боясь и стыдясь быть громким, украдкой — ворованный воздух! — ей одной, и она, на единственном стуле у сцены — слушает, и плачет, и длинные слёзы стирают жемчужный придворный грим камер-фрейлины.

Милая Рада, недостижимая Рада, ныне мёртвая, мёртвая, в двойной своей клетке религии и рода, послушай — это тебе. Грустная ария, бедный, ничтожный, недостойный ваш раб пел её прежде, чтобы вас позабавить. Там, где ты ныне, — слышишь ли? Слышишь?

Ah!
...mio
...cor...

Голос бежал за скрипкой — след в след, она затихла — и голос угас.

Има бессильно уронил руки и отступил вглубь сцены, в темноту.

Скрипач опустил инструмент — и товарищи захлопали и ему, и Име.

И зал, отмерший, расколдованный, зашелестел вялыми аплодисментами, но Име было всё равно. Он повернул голову к Нике, рядом с ним стоящей там, в сумраке, и жалобно попросил:

— Мне нужно второе. Очень. Теперь ты же видишь почему.

Арес против наркотиков

Скрипач — звали его Илья — пришёл к ним за столик. Има разглядел вблизи его измождённое, жестяное от черняшки лицо, и ногти у этого скрипача выкрашены были красным, как у флапперши из свингующих двадцатых.

— Оперный? — тут же спросил он Иму, довольно агрессивно. — Почему я тебя не знаю?

— Я самородок, — мирно пояснил Има, — не-профи. И я из Москвы — откуда тебе меня знать?

— Москвич? Путч видел?

— Видел, — сознался Има. — С крыши на Калининском.

Этот знаменательный путч состоялся (или не-состоялся, ведь не удался?) в Москве пару недель назад, Има как раз метался в тенётах зависимости и как-то, если честно, не обратил внимания. Прогрезил эпохальное событие.

Има тогда полупроснулся от скрежета и лязга в четыре, что ли, утра. Его окно выходило на Кутузовский проспект. Има приподнялся над подушкой — по проспекту неспешно ползли танки, как черепашки. В сторону центра. Има поглядел да и упал на подушку обратно.

Днём два приятеля, тоже из малиновских клиентов, вывели Иму из дома, и они пешком прошли от Кутузовского до центра — транспорт не ходил. Ведь творилась история, и нельзя было пропустить, надо было участвовать, хотя бы глядеть. Но Име застил эпическую картину его золотой туман, узорный покров, драгоценная опийная вуаль, — и он смотрел с крыши дома, куда они поднялись, как во сне. Как бегут внизу крошечные люди, много, много, и катятся танки.

— Я торчал тогда, — сказал Има со скромной гордостью. — И всё помню как в тумане. Кто-то бегал, стрелял, баррикады какие-то. Мы смотрели сверху, с крыш. Как кино.

— А снайперы?

— Они были, но сам я их не видел. Они в квартирах сидели. К одним моим знакомым, на набережной, зашли — и засели у окон. Но это, может, и враньё.

Один из тех его двоих, Оппозит, рассказал, что к бабке в квартиру пришли снайперы, у окон пристроились, прицелились. Бабка сперва перепугалась, потом сообразила, что деваться снайперам некуда, и из-за двери три часа рассказывала им про свою молодость. Потом предложила блинов.

Но Оппозит был поэтический безумец, он мог и сочинить...

— Илюня, обрадуешь москвича? — напомнила Ника.

— Нечем радовать, я бросил, — Илюня улыбнулся, и показались зубы, очень характерные — землистые, и по форме как сталактиты и сталагмиты.

— Давно? — не поверила Ника. — Когда я тебя из обезьянника забирала — позавчера? — И прибавила с совсем материнской интонацией: — Что за человек, то в психушке, то в милиции...

Илюня растопырил пальцы и с нежностью поглядел на леденцовые свои ногти:

— Я теперь винт варю. Меня Дэнчик научил. И чёрной мазать больше не буду. Бросил чёрную. Радуйся, Ничечка, поставь богу свечку.

Ника только поморщилась:

— Сорта говна. — И толкнула Иму в бок: — Пойдём. Видишь — нет.

— Да что нет-то? — взвился Илюня. — Мне что — жалко? Мне для тебя, Ничечка,

ничего не жалко, раз ты такая беспомощная. Сейчас спустимся, позвоним. — Он вытянул из кармана двушку на тонком шнурке: — Шаттл! И всё будет, только вы сами поедете. Это в Колпино.

Ника аж передёрнулась от Колпино.

— Ну тебе же надо, Ничечка?

Има, прежде скромно молчавший, промямлил:

— Спасибо.

Илюня оказался человеком с активной жизненной позицией. Они вышли на улицу, в совсем осенний знобящий туман, и Илюня кому-то позвонил из уличного автомата. При помощи этой своей чудной двушки на длинном шнурке, после разговора просто выдернув её из щели. Он говорил по телефону, каждое слово подтверждая соответствующим жестом, как будто собеседник мог его видеть.

Илюня не только договорился с таинственными колпинскими цыганами, но и поймал такси, вернее, убедил таксиста не бояться и поехать-таки в Колпино, на самый край земли. В переулке стояли несколько машин, Илюня подошёл к одной, казалось, выбрав наугад, распахнул дверцу и минут пять, яростно жестикулируя и матерясь, говорил с водителем и потом им крикнул:

— Падайте!

Има и Ника забрались в машину — в кружевной от ржавчины «Москвич». Водитель глядел на них, как на фашистов. Что Илюня ему сказал? Или просто Колпино — это было такое волшебное место, что ни за какие деньги? Прежде чем дверца захлопнулась, Илюня склонился к Име и прошептал ему на ухо, дыша горячим и сладким:

— Таксисту — пятёрку; если подождёт, — накинешь. А там договоришься, сколько надо, тебе раствор отольют, если саму её хочешь, — то пятёрка за грамм. Ничка знает дом, она тебе покажет. Ну, бывай, певец охрнительный! Удачи на дорогах!

— Трёшник — вперёд, — напомнил таксист, и Има отдал ему, благо, в баре успел разменять.

Дверь хлопнула, дребезгнув, и машина тронулась. Има повернулся к Нике — они вдвоём сели сзади:

— Ты была там? В Колпино?

— Сопровождала это чучело, — Ника кивнула назад, на оставшегося позади Илюню. — Сама-то я — нет. Ни за что. Насмотрелась на уродов. Нет, я чистая.

«Пречистая. Ангел долбаный», — зло подумал Има, он за себя, нечистого, обиделся.

— Я ведь медсестра в Кашенко. Там и встретила, — она опять кивнула назад, и чёлка взлетела.

— В Москве? — Има знал, что Кашенко — это московская больница имени Алексеева. Сам в неё едва не уехал после попытки суицида.

— Здесь своя есть, ничуть не хуже московской, — ответила Ника. И потом вдруг спросила: — Ты, конечно же, думаешь, что Илюня — подонок? А он в консерватории первую скрипку играет, и папа у него — советник президента. Илюня год в Нью-Йорке прожил, но потом забрёл в чёрный квартал, и там ему негры нос сломали. Папа его домой увёз, и вот он здесь — играет, игрунчик. Грустит по Нью-Йорку. Он замуж меня зовёт, но я, конечно же, не согласна. Он принц, а я медсестра — нахрена такое, чтобы все его обкомовские родственники меня презирали.

— За что? — не понял Има.

Ника молча повернулась к нему и кончиками пальцев приподняла внешние углы глаз.

Има не знал здешних улиц, но ощущение дежавю не оставляло его. Всё это уже было с ним прежде: мерцающие огни, втекающие в него и словно прошивающие навывлет, и арки светофоров, и дорога с белыми полосами, и призрачные фьорды домов. И даже Колпино это, неведомое, страшное, здешний близнец Малаховки. А ведь боль в ногах прошла, и спина перестала ныть — зачем же тогда?

— А правда — зачем? — Искуситель перегнулся к нему с переднего сиденья, и локоны свесились — бутонами роз. — Чтобы от меня избавиться — так не выйдет. Но спасибо тебе, добрый господин, за мою арию — это было мило, весьма, я непременно с тобой рассчитаюсь. И спутница твоя — прелестна.

Има не стал вслух ему отвечать, чтобы не решили, что он, Има, псих. Но про себя подумал: «Сволочь».

Кончился город, началось и кончилось, судя по убожеству барачков, то самое Колпино, и на окраине, когда асфальтовая дорога перешла в бетонку, водитель остановил машину и сказал:

— Всё, давайте деньги и вылезайте. Дальше не поеду.

— Тут метров двести, — попробовала уговорить Ника.

— Ты мне подвеску новую купишь? Деньги — и на выход, — таксист повернулся к ним и показал мерцающие во мраке рандолевые зубы — в оскале, не в улыбке.

Има внутренне затрепетал и отдал. Потом взмолился:

— Но ты подождёшь? Полчаса?

— Это можно.

Има и Ника выбрались из машины и быстрым шагом пошли по бетонке — в смыкающуюся впереди туманную темноту.

— Сбежит, — предсказала Ника, оглянувшись на машину, на размытые фары в плачущем тумане. — Как только мы отойдём. Да мы и не уложимся в полчаса. Эти барыги — копухи; как языками зацепятся, — не растащишь.

— А как же мы уедем? — в ужасе спросил Има. Колпино страшило его.

— Так двенадцати нет, — успокоила Ника, — в двенадцать последний автобус. Тут недалеко. До метро доберёмся, а там сколько проедем, столько проедем.

Над ними смыкались ветви готическими кружевными сводами, и меж ветвей матово светилось тревожное туманное небо. И птица тоскливо проорала в сумраке.

— Нам долго идти? — спросил Има, тревожась.

— Да вот же!

Деревья впереди расступались, и бетонка упёрлась в мост, ажурный и длинный, как хребет динозавра, протянутый то ли над рекой, то ли над оврагом. И по ту сторону моста — на другом берегу — был домик с тёплым медовым окном, приют посреди ненастья.

— Сейчас подойдём, постучим в окошко...

Позади послышался лязг и скрежет, Има обернулся, но за ними — не было ничего, и фары машины больше не светились, значит, удрал таксист. Позади них было черно, непроглядно, полный бархатный мрак, вобравший в себя вселенную, чёрная дыра. Даже, кажется, с чёрным зрачком посредине...

— Идём же! — Ника потянула его за руку. — Или ты передумал? — и в голосе её звучала надежда.

Има молча мотнул головой и пошёл за ней. Увы, жизнь его была, как барочная ария да капо, одни и те же слова, разве что повторённые в разной тональности. Одно и то же, повтор, рондо, Малаховка ли, Колпино. И никогда больше, невермор — чтобы поворот ключа, поворот фразы — и взлёт.

Они шли по мосту, и седые от времени доски вибрировали под ногами, и Име слышалось, будто с лязгом и скрежетом катится за ним по пятам — судьба. Домик с одиноким милым медовым окошечком приближался неотвратно.

— Ой! — теперь Ника оглянулась.

До дома оставалось метров тридцать, они прошли мост и стояли уже на дороге, когда скрежет позади сделался совсем уж зловец.

Има оглянулся — что такое Ника там увидела?

На мост вкатывался танк.

Был он великолепен. Железный, крепкий, в серебряном ореоле лунного света, отражённого от всех полированных частей, с победно задранном дулом — и это жерло бархатно вбирало в себя вселенную, как зрачок. Танк катился по мосту, и мост опадал за ним, словно костяшки домино, ссыпался в пропасть. Мир опадал за ним — в пропасть...

С влажным лязгом повернулась башня, опустилась пушка — и смерть уставилась на Иму бархатным круглым глазом.

— Пригнись, бежим! — Ника схватила заморожённого Иму двумя руками, как ребёнка, и втащила с дорожки в облетающий мокрый осенний куст. Ветви царапнули по носу, Има икнул и очнулся.

Танк вкатился с моста на твердь — и мост опал позади него, остались лишь торчащие опоры. Орудие, совсем как Има, икнуло, чихнуло и выстрелило. Домик барыжный вогнулся внутрь, на месте окна образовалась дырка, из которой повалил дым, и запахло гарью и столь знакомой Име уксусной эссенцией.

— *Киш мерен тухес*, — сказал Има чужим голосом, сам того не желая.

Дом стоял с дымящейся дырой посередине, танк расчихивался, явно желая ещё стрелять, грозный и прекрасный.

— Идём, — толкнула Иму Ника, — глянь, он мост сломал. Надо теперь в обход. Видишь, сам бог против твоей наркомании.

Сам бог против — и ведь целый бог войны.

Има и Ника выбрались из куста. Впереди расстилалось поле и чернел край леса, и над острыми елями висела, цепляясь, убывающая мраморная луна.

— А вот чёрт его знает, как теперь нам идти, — задумчиво проговорила Ника, она брела по полю, подобрав длинную юбку, и Има плёлся за ней, то и дело попадая в кротовые норы, — как отсюда выбираться?

— Спасибо, — сказал Има ей в утешение. — Если бы не ты, я бы там пропал. Он бы в меня пульнул, он уже целился.

В гоголевском костюме идти было трудно — в этих старинных брюках гульфик сделан был странным образом, всё время собираясь в складки. И полы сюртука нелепо реяли, как у Дракулы.

— А я не поняла сперва, что ты еврей, — сказала Ника.

Длинные травы хлестали её по ногам, и край юбки от росы сделался влажный.

— Почему я еврей? — не понял Има.

— Ты же ругался на идиш.

— Это не совсем я, — замялся Има. — Ну, я же тебе говорил. Это мой альтер эго.

— А, так он еврей?

— Никогда об этом не думал.

Искуситель иногда говорил по-немецки довольно странно, но Има как-то не догадывался прежде, что некоторые его немецкие фразы — это именно идиш. О, тогда многое объясняется... Кто у них там были придворные жида — ювелиры, гоф-комиссары?

Има даже в голове своей попытался позвать Искусителя, чтобы у него у самого спросить — угадал ли? Но Искуситель был такая вредина, появлялся, только когда его не звали, а вот если звали, — тогда ни за что.

— Он за нами едет, — Ника оглянулась на танк.

Тот ворочался в темноте и рычал и, кажется, — о ужас! — приближался.

А Има с мыслями о придворных жидках совсем позабыл про танк.

— Вряд ли он хочет нас убить, — пробормотал он, вынимая ногу из очередной кротовой норы. — Мост он сломал, теперь тоже едет в обход.

— От этого не легче. Давай, втопили!

Мерзкое поле и мерзкие колючие травы! У Имы снова заныли и ноги, и спина. И даже близящееся ворчание танка не могло заставить его ковылять быстрее. Ника летела впереди, как ведьма, зло оглядывалась на него, и даже здесь, в чёртовом поле, её походка оставалась волшебной. Она-то в норы почему-то не проваливалась.

— Дорога! — Ника перелетела канаву и остановилась, ожидая, когда Има доковыляет.

По счастью, ноги вынесли их на гравийную тропу. А тропа — это нечто такое, что рано или поздно выводит к людям. И идти по ней быстрее, чем по полю, конечно. Но и танк помчит по дороге, как только до неё доберётся, ведь верно?

Вдоль тропы тянулись кусты, а за кустами высился глухой бетонный забор метра в три, и за забором — мрачный особняк с узкими окнами-бойницами, совсем как романский замок.

О, Хуанита Уайлдер!

— А тебе, как писателю, этот танк даже полезен — опишешь его потом в рассказе, — вдруг сказала Ника.

— Я не писатель, — огрызнулся Има. — Просто однажды написал одну книгу.

— Неправда, — строго возразила Ника. — Книга есть, её читают, значит, писатель.

— Да кто её читает? — в бессильном отчаянии простонал Има. — Кому она нужна? Только говном поливают все её!

Они шли вдоль забора, отделённые от него канавой, — и стальная вода в канаве, ледяная даже на вид, отражала луну. В высокой ограде на самом верху были узкие окошки. Слышно было, как вдали танк, урча, катится по полю, медленно и неотвратно.

Вот показался мостик через канаву, и за ним — ворота в заборе, железные, в заклёпках, тоже высоченные. В них на уровне глаз — окошко, полукруглое, как в печке или в регистратуре поликлиники.

— Давай постучим, — предложила Ника, — дорогу спросим.

И, не дожидаясь ответа, перебежала мост и громко постучала в эту вот печную заслонку. Так, что разлетелось эхо.

Има предположил мысленно, что будет дальше. Ночь, поле, Колпино — это эпоха перемен. Не нужно быть писателем, чтобы предвидеть. И он даже не удивится потом, что угадал.

Ника колотила в дверь задорно и громко. И заслонка отодвинулась, и высунулось дуло. То ли ружья, то ли обреза, в темноте не понять. Има подошёл, чтобы увести прочь эту дуру, но Ника прокричала дулу в самую дырку, как в микрофон:

— Извините, а вы не подскажите, как пройти к остановке?

То есть само дуло ничуть её не смутило. А впрочем, да. Эти дула в последний год высовывались по поводу и без повода из ларьков и из окон машин: и таксисты вооружились, и цыгане в Малиновке, и даже плюгавый мужичок, что гулял у них во дворе с собакой. Ника привыкла к ощеренным отовсюду дулам, это он, Има, по старинке от всего цепенел. А надо-то действовать.

Има выступил, заслонив Нику, и тоже сказал в печное оконце, дулу, с выражением:

— Мы заблудились. Помогите, пожалуйста.

Послышалась возня, дуло спряталось, и из оконца, изо тьмы, буркнули:

— Момент.

Из оконца прыснул свет фонарика, мгновенно озарил Имину физиономию, погас.

А потом захлопнулось и окошко.

— Вот что ему, жалко? — обиделась Ника и развернулась было идти прочь.

— Погоди. — Има придержал её за рукав. — Он же сказал «момент».

Предчувствие чуда восходило в нём, как солнце, и надежда чуть приподняла змеиную голову, — как прежде, когда Ольга Ивановна в издательстве пролистнула пару его страниц, прищурилась и потянулась за очками. Вот-вот — и...

— Чего мы ждём? Он ушёл!

Има прислонился ухом к печному оконцу послушать шаги. И тут же огромная железная дверь надвинулась всем своим холодом на его ухо, открываясь. Ровно настолько, чтобы пройти человеку.

В проёме стоял бородатый лысый дядька — человек-гора с ружьём в руке и с таким лицом «сколько я зарезал, сколько перерезал». Дядька внимательно смотрел на Иму — как тот потирает обожжённое холодом ухо и щурится. И в другой руке дядька держал — недать-колотить! — книгу «Постмортем», раскрытую на второй странице, где мутное фото автора и немногословная биография (про инженера-химика, именно над ней потешался злой критик Покусаев).

— Иммануил Годоев? — дядька вертел головой, сравнивая — Иму и фото.

— Да я, я. Читали книгу? Говно? — тут же спросил Има, не питая иллюзий.

— Ага, щас! Книга — чудесная! — дядька вложил ружьё под мышку и протянул Име руку. — Лев.

Он и правда был лев, одновременно и дикий хищник, и Толстой — мощный, звероватый, с небольшими глубоко утопленными раскосыми глазами. С бородой лопатой. С ушами, как два крыла.

Има тряхнул руку, и дядька поглядел уже на Нику:

— Сестрёнка твоя?

— Почему? — обиделась Ника.

— Так причи у вас одинаковые — горшки. — И Нике дядька тоже протянул руку. — Лев!

— Вероника, можно Ника, — Ника осторожно пожала протянутую руку. — И мы с ним, — кивок на Иму, — не родственники.

— А моськи похожи. Заходите!

И когда они уже заходили, бочком протискиваясь в ворота, Ника прошептала это Име на ухо:

— О, Хуанита Уайлдер!
И Има вспомнил.

Пару лет назад в кино шёл фильм «Роман с камнем». Има с мамой ходили смотреть. Весёленький набор приключенческих клише. И в фильме была такая сцена: писательница средней известности, эта вот Джоан Уайлдер, где-то в Колумбии заблудилась и стучится в дом, чтобы спросить дорогу. А хозяин дома — глава наркокартеля. И у него, у этого мафиози, на полке в ряд — все книги писательницы Уайлдер. Он смотрит в видеоглазок, сравнивает с портретом на обложке (ведь у буржуев портреты авторов на книге, это у нас внутри). И вот он сравнивает, узнаёт и выбегает навстречу с радостным воплем:

— О, Хуанита Уайлдер! Я ваш поклонник, у меня есть все ваши книги!

Има, конечно, не верил, что такое вообще возможно. Да ни за что! Не бывает такого! И, конечно же, яростно и отчаянно завидовал той придуманной Хуаните Уайлдер.

И — вот.

Двор был вымощен красно-белыми плитами, как в Венеции, без единого кустика или деревца, зато стоял грузовик со зверской, совсем как у хозяина, мордой.

Они шли по двору, — и свет зажигался там, где шли они; а как проходили, — тут же гас. И от мощной фигуры хозяина косо падала на шахматные плиты длинная, страшная, ушастая тень.

— Прошу!

А вот внутри в доме не было страшно. Было как в логове у профессора-эзотерика. Очень много разнovidной этнической фигни, внавал и внавес: и африканские маски, и бивни, и китайские красные бумажные фонарики, и чучело крокодила. В прихожей — Лев разрешил не разуваться — висело шёлковое панно с белой Богородицей, но вышито было на нём почему-то по-английски: «Дева Фатима, молись за нас».

И в гостиной много чего было: камин, резные колонны, и в то же время чёрные балки под потолком, как в шале. Чучело медведя враслопырку. Снова бумажных фонариков гирлянда. И сказочный трон резной из чёрного дерева, на львиных лапах и с когтистым полусжатом кулачком, венчающим спинку.

И на троне — Има даже не удивился — Искуситель, в кудрях и в томной позе. Кулачок на спинке кресла торчал прямо над его макушкой.

Ника тут же подошла к трону и потрогала когтистый кулачок:

— Как будто из музея краденный.

Невидимый ей Искуситель повернулся и тоже с любопытством поглядел наверх.

— Это трофей, из Донанга, — непонятно пояснил хозяин и повернулся к Име. — Подпишешь мне книгу?

— Подпишу. Она правда вам нравится?

— Можешь мне «ты» говорить, — позволил Лев, — чай, не баре. — Он взял с каминной полки ручку и подал Име вместе с книгой. — Я историю люблю. Век переворотов — особенно. Всё, что есть по теме, стараюсь достать. Но у некоторых писателей дворяне эти, немцы, и говорят, и действуют, как у нас в армии был такой, прапорщик Полено. Деревяшки, ать-два. А у тебя прям видно, что это аристократы, рыцари, у которых род древнее царей, с тараканами в голове, но со своими, древними, рыцарскими тараканами. Не с прапорскими! Такие бесы хитровыдуманные, как наш Саша Север с его блатным кодексом. Мораль, как у хищника в пустыне: есть

или добыча, или конкуренты. Смерти не боятся, а вот лицо потерять — бояться, на эшафоте шутят. Их на пересылке ломают — так кровью плюют и смеются, типа курорт.

— Спасибо.

Има не знал, кто такой Саша Север, но в целом Лев верно выразил его мысль. Остзейские рыцари-урадели — не прапорщики, какими их пытался изображать Имин нелюбимец Пикуль. Они и в самом деле по менталитету ближе именно к современным блатным. Рыцарская честь, своя каста, презрение к смерти, перевёрнутая хищничья мораль.

Има написал в книге, на обложке внутри: «Льву от автора, с уважением. Какое же счастье — встретить вдумчивого читателя!»

— У вас там, в поле, танк ездит, — вдруг сказала Ника.

— Это Антоша, — тепло проговорил Лев. — Скоро вернётся, если ещё не приехал.

— Ваш танк? — хором изумились Ника и Има.

— Так соседи, штрибаны, чёрной барыжат, весь лес и всё поле баянами загажены. Торчок недавно под моим забором подох. Достали. Реально допекли. Вот Антоша и поехал — отovarить. Достали потому как. А, так вот и он!

С улицы послышался лязг — столь знакомый! Лев подошёл к окну, отодвинул красную бархатную тяжёлую штору.

Во двор со всем почтением вкатывался танк, — и фонари зажглись, освещая его, и красно-белые плиты трескались под гусеницами. Танк отменно сиял, бликовал, озарённый, в ореоле лучей, весь забрызганный мокрой грязью, как монумент самому себе.

— Вот дубина! — сокрушённо посетовал Лев. — Говорил же — в сарай, не во двор. Загубил мне плитку.

И сердито задёрнул штору — а Име так захотелось увидеть таинственного Антошу.

— А есть у вас аптечка? — вдруг спросила Ника. — Бинты или вата?

Лев поглядел на неё внимательно — и тут же понял. А Има догадался попозже, припомнив вчерашнее «I'm bleeding — я тоже».

— Момент, — сказал Лев, вышел в соседнюю комнату и мгновенно вернулся с коробкой размером с сигаретную. — Вот, тампаксы. Я их ещё с Донанга оценил — великолепно стреляные раны затыкают. Держи. Туалет там.

Он махнул рукой на дверь в комнату, из которой только что вышел.

— Спасибо.

Ника удалилась, крутя в руке и разглядывая голубую бумажную коробку. Она явно видела тампаксы впервые в жизни.

— Там инструкция внутри! — крикнул Лев ей вслед. — С картинками.

Он наконец-то взял у Имы книгу, прочитал, что тот там понакорябал. Умилился.

— Здорово пишешь, — похвалил.

— Книгу ругали, — мрачно напомнил Има.

— Такая ругань — лучше похвалы, — отмахнулся Лев. — Я прочитал рецензию, покусаевскую, — ты спасибо ему скажи. С подобным ядом пишут о том, что задело, оцарапало. Бесит. Значит, хорошая книга, раз бесит.

— Писали — бульварщина, — напомнил Има всё ещё мрачно, но повеселее. — Про педерастов.

— Так а что ты им баб-то должен выдумывать? — расхохотался Лев. — Если было дело. Книга твоя в принципе-то не об этом. Она про судьбу, кысмет, ан-фортуну.

«Жизнь такова, какова она есть, и больше — никакова». А с мужиками чего только в жизни не бывает, — тут Лев крякнул, и Иму невольно посетил подозрение.

А Искуситель на троне закинул ногу на ногу и поднял палец — воот! А я что говорил!

— Писали, что я дилетант, — сказал Има совсем тихо. — Что я — ненастоящий писатель.

— Да ладно. — Лев уселся верхом на стул и пролистнул книгу, прищурился, прочитал: — Он уходил, рая шпорами паркет, не оглядываясь, прямо держа спину... — ты же это ниоткуда не спёр?

— Нет...

— Тогда выдохни. Ты — настоящий. Ла Вея знаешь?

— Нет...

— А почитай. Полезно будет. Он про магию пишет, но это и для писательства годится. Можно сколько угодно учиться — и всё псу под хвост. Можно с шестнадцати лет публиковаться, окончить Горького и быть графоманом. А можно вовсе не учиться. Но при том — уметь писать. Главное — ты в принципе *можешь* или *нет*. — Слово «можешь» Лев выделил округлым жестом, и листы книги в его руке затрепетали. — Литература — это пение сирены: или зачарует, заманит, или ни фига. Писатель является в мир сразу уже готовым, как богиня Афина из головы Зевса.

Стоило забрести в ночи в это чудесное место, вместо колпинской наркоизбушки, чтобы услышать такое от загадочного и чудовищного... бандита? отшельника?

Има убрал от глаз длинную прядь, спрятал за ухо. Тронул кончиками пальцев каминную полку — каминную каменную, кружевную, резную. Чудное место, дивное место! Пламя в очаге едва трепещет, и в бумажных фонариках теплится неяркий и мягкий свет. Отсветы ложатся на тёмные лики африканских масок, делая их чуть милее. Чучела птиц с раскрытыми распластанными крыльями парят под потолком, словно живые. И красный бархат штор в тёплых тыквенных бликах, красный рыхлый бархат, и стеновые панели резного дерева, как в маминном любимом ресторане ЦДЛ, и такой же запах кофе, табака и пепла. Уют и нега...

Искуситель сидел в кресле, лукаво и змеино улыбаясь, притягивая к себе весь свет из комнаты. Как там было у Окуджавы: «Пошла, и пламя потекло вслед за нею». За Искусителем всегда тянулся свет, к нему тянулся, как приманенный магнитом. Сейчас Искуситель веселился, резвился, — гад, оказался прав. Лев практически повторял его слова.

«Ты всем готов поверить, лишь бы не мне», — так Искуситель говорил Име прежде, и, как оказалось, правильно. Его слова были Име — как об стенку горох, а вот Лев сказал то же самое, — и Има ожил.

— Только он не желает писать дальше, — это Ника сказала, входя. — Критика его подкосила.

Има отпрянул от каминной полки, взвился (ведь Ника была права):

— Не критика! Мне просто не про что пока писать! Мне нужен толчок, чтобы дальше продолжать. Нечто вдохновляющее.

На самом деле, конечно же, критика. Но Име было обидно в этом признаться. Что он — сломлен и сдался. И он срочно выдумывал повод: отчего это он больше ничего не пишет.

— Ну-ка, ну-ка, — Лев в упор уставился на него, положив подбородок на сплетённые пальцы, и борода растопырилась веником, — рассказывай.

— Ну-у... — Има замялся было, но тут же вознёсся на волне внезапного вдохновения: — Я дальше хотел писать про одного героя. Был один обер-гофкомиссар. При дворе у Анны Иоанновны. Еврей, но блондин с серыми глазами. Умница. Очень богатый. Брал уроки у оперных певцов — такой вот каприз у него был, как сейчас говорят, — хобби. Стоял за ширмой, слушал, когда герцог Бирон принимал просителей, и потом давал ему советы. Герцог, как его арестовали, остался должен гоф-комиссару пятьдесят тысяч. Яхимсталеров, кстати, не рублей. И все придворные были обер-комиссару должны. Такой был серый кардинал, что ли. И однажды к нему пришла камер-фрейлина Кантемир, Смарагда Кантемир, Рада, девятнадцати лет, принесла фамильный браслет в залог — и мой герой пропал. В сорок два года втюхался как мальчишка.

Искуситель в своём кресле выпрямился, вытянулся в струнку и смотрел на Има раскрытыми широко-широко серебристыми глазами, и свет ореолом встал за его спиной, даже шевелясь. А Лев спросил:

— Так ты всё-таки пишешь?

— Не могу, — фальшиво вздохнул Има и опять заправил прядь за ухо. — Его портрет висит в Раундале. Это в Латвии. Я хотел поехать посмотреть, а там как раз началось. А я пока его не увижу, не могу начать.

— Репродукция? — подсказала Ника. — Репродукция портрета есть?

— Нету.

— Раундаль — это ты так Рундале называешь? — уточнил Лев. — Дворец в Латвии?

— Ага.

— Ну понятно. Можно каталог запросить всех рундальских портретов. Но они чёрно-белые на фото в каталоге — чёрт там разберёт, что за дядька. Еврей, но блондин — раза два я в жизни такое видел, они такие, рыжеватые, что ли.

— Цвет чайной розы, — подсказал Има, скосив глаза на локоны Искусителя.

— Ну, для писателя, — может, и так, — задумчиво согласился Лев. — А на поезде никак туда сейчас. И на автобусе. И самолётом никак. События, мать их за ногу. Независимость.

Има знал, что говорил: этим летом Латвия напрочь отделилась от Советского Союза, и попасть в заветный Раундаль без увечий отныне стало затруднительно. Судя по новостям беспорядки так и бурлят.

Лев задумался, потёр лоб. Ника хотела отдать ему коробку с тампонами, с тем, что осталось, но Лев лишь махнул:

— Оставь себе!

Има очень доволен был собой — выдумал причину, чтобы не писать.

— Я должен увидеть своего героя, — дополнил он со значением, — так сказать, взглянуть ему в глаза. Иначе ничего не получится. История не заиграет.

Искуситель тут же поднялся с кресла и встал напротив Имы, уставился на него серыми широко раскрытыми злыми-блюдцами — на, смотри! Герою в глаза. Има зло улыбнулся, прищурясь. Искуситель пожал плечами, отошёл, вернулся в кресло.

Лев поднял голову и посмотрел на Има, тоже прищурясь и со странной, углами губ вниз, улыбкой.

— Раз в жизни человеку даётся шанс, — сказал он задумчиво. — Знаешь, как в анекдоте: «Хочу ли я, могу ли я, говно ли я, магнолия». Можно всю жизнь косить народ очередями от бедра и горя не знать, а потом придёт вот такой мальчишечка — вылитый Гоголь — и тебе решать, напишет он книгу или нет. А книга — это неконкретное, нематериальное. Ничем в твоей жизни не меряется. Просто книга, и не факт,

что выйдет не говно. Но тут — именно ты или помогаешь демиургу, или ты его кинешь. — И Лев вдруг выкликнул в комнаты звериным голосом: — Антоша!

Послышались шаги.

Име было безумно интересно, каков же из себя Антоша, водитель танка.

Явился тонкий юноша в тельняшке, в военных штанах, в ботинках, большеглазый, с длинными волосами, с каштановым начёсом, как у певца в «Модерн Токинг», — с такими причёсками и личиками девочки рисуют принцев.

— За плитку — по жопе получишь, — сказал ему Лев.

— В гараже пол провален, мой генерал, — басом отозвался Антоша. У него над губой были тонкие дартаньяновские усы, мама такие называла — противозачаточные.

— Давай-ка заправь Макара, — велел Лев, — и карту мне принеси.

Антоша коротко и резко кивнул и убежал.

— А кто это — Макар? — спросил Има.

— Макар не кто, а что. Это самолёт. Бич-бонанза, — ответил Лев как ни в чём не бывало. — Что с лицом-то? Не бойся. Я лётчиком был в Донанге.

Рада Кантемир

— Генерал, лететь нельзя! — так сказал Антоша.

Лев тем временем разложил на полу карту, что-то вычерчивал на ней карандашом, прикидывал, похмыкивая. Он поднял голову и спросил:

— Что так?

— Я же не убил цыган, просто проломил им снарядом стену. Я видел, как они потом распозались. Сейчас пробьются, оклемаются и явятся мстить. А в доме никого.

— Мстить? Цыгане? — рычаще хохотнул Лев. — Высоко же ты их оценил, Антоша, этих трусов.

— Всё равно лететь нельзя, — упрямо повторил Антоша, наклонился, накрыл ладонью карту, не давая бежать карандашу, — ведь пуля в голове, генерал.

— Пуля? — переспросил тут же Има.

Он-то лететь никуда ну чертовски не хотел и рад был бы любому препятствию.

— Пуля, — почти весело согласился Лев. — Оттого и на пенсию списан. — Он снял Антошину руку с карты и продолжил чертить, Антоша резко и сердито выпрямился и смотрел сверху вниз с укором. — Пуля пиндосская в башке застряла. Как шевельнётся — всё, брык, и без сознания. При взлёте и приземлении может быть такое дело. Но ты же, Антоша, для того и нужен. Сядешь вторым пилотом.

— Бооже, — простонал Има и заломил руки как можно более картинно. — Может, не надо лететь?

— Фигня, к Ленину еду! — отмахнулся Лев, свернул карту и встал.

Видно было, что он загорелся и уже очень хочет лететь. Может, утром бы выяснилось, что всё-таки можно-то или на поезде, или на автобусе. Неважно. Лётчик хотел всего-то ещё разок полетать, и плевать, чего это будет стоить. А книга — она только повод, чтобы полетать ещё хоть разочек.

— Генерал... — моляще позвал Антоша.

Но Лев лишь огрызнулся:

— Погнали!

И вышел вон. Има поплёлся за ним с кислой миной, а Ника спросила у Антоши:

— Генерал — он ваш начальник?

Антоша поглядел на неё иронически, а потом, как рассмотрел, — уже с интересом.

— Папенька.

— Папенька — папенька, или это самое? — уточнила Ника, наученная ядовитой ленинградской светской жизнью.

— Просто папенька, без этого самого, — усмехнулся Антоша. — Пойдёмте, пожалуйста лететь.

Самолёт глядел из раскрытого ангара, он был с синим носиком, в молочном свете фонаря весь серебристо-белый, как мурина. Мерцал, манил. От ангара тянулась в поле прямая асфальтированная дорога, чешуйчатая и серая, словно шкура змеи.

Лев сидел уже на месте пилота. Антоша забрался на крыло, распахнул дверцу, наклонил переднее сиденье — как в «Запорожце»! — и пригласил их:

— Залезайте!

И протянул руку. Ника приняла эту руку, юбкой шурша, вознеслась на крыло — их с Антошей на миг бросило друг к другу, и даже Има заметил, как вспыхнул между ними крошечный грозовой разряд. Ника скользнула в салон, Антоша позвал Иму:

— Не бойся, давай!

И Има, кряхтя, полез. Гоголевский гульфик его опасно трещал, ноги разезжались. В салон, на заднее сиденье, Има свалился мешком. Он твёрдо решил — всю дорогу просидеть с закрытыми глазами, и если что, и смерть так принять.

— А как вы собираетесь приземляться? — спросила Ника. — В Рундале нашлось подходящее картофельное поле?

— В Рундале, если верить карте, есть асфальтовая дорога, ровная, прямая, европейского качества. Как, впрочем, и все прибалтийские дороги, — пояснил Антоша, захлопывая дверь.

Има это слышал, но не видел — он уже успел зажмурить глаза.

Самолёт застрекотал, заурчал, покатился. Чуть подпрыгивая, — и Иму мелко затрясло.

— Если он разобьётся, я обниму тебя, подхватчу на руки и отнесу к себе на небо.

Има приоткрыл один глаз. Ника отвернулась от него, распластавшись по окошку, — глядела вниз. А между кресел, на стыке их, сидел злой его ангел, Искуситель, склонялся к Име и утешал, приобнимая за плечи золотым рукавом.

— Спасибо, — сказал ему Има про себя, не вслух.

Самолёт резко подпрыгнул, как зайчик, и принялся возноситься. Всё задрожало. Има от страха застучал зубами, уши, прежде заложенные, разложило, и ворвался шум: рокот мотора, и свист, и дребезг. Внизу, под муреново-молочным крылом, неслись острые ели, и мутные огни, и бархатный мрак.

— Нас ПВО не собьёт? — спросила Ника, так и не отлипая от окна.

— Орлы мух не едят, — ответил Лев.

И Антоша прибавил:

— Руста не сбilo, и нас не собьёт. Руст, он на Красную площадь сел, а как думаешь, — сколько таких рустов просто незаметненько летает? Самолёт нигде не значится, летим мы низенько, они и думают — птица.

«Ещё и ПВО... — подумал Има, — плюс к упадению. Блин. Мне страшно».

— Не бойся, — в ухо прошептал Искуситель, от него сейчас, кажется, даже пахло духами и вином, и локоны щекотали Имину шею. — Я с тобой.

«Тоже радость, — подумал Има в ответ. Ели под ними делались мельче и дальше, и стали видны с высоты — дороги, тонкие, как вены, с бриллиантовыми капельками текущих по ним автомобилей. — А что у вас было на самом-то деле с Радой Кантемир?»

Обычно Искуситель рассказывал только если его не спрашивали, а вот если спрашивали, — он никогда нормально не отвечал. Но тут, видно, сжалился, чтобы Има не боялся, решил его отвлечь.

— Я расскажу, — сказал он, — а ты потом об этом напишешь.

У Имы стучали зубы, раскладывая уши для шума, и гоголевский жестокий гульфик врезался в тело. И он пообещал, сдаваясь, слабая, про себя, внутри головы: «Ладно».

Ника ни на секунду не обернулась, не посмотрела, как там Има, — так заморозило её то, что проплывало сейчас внизу. Алмазные струйки дорог и мерцающий рисунок ночного осеннего мира. Чёрные зеркала озёр, синие разорванные тучи. Во всех водах исправно отражался самолёт, белое брюхо его с растопыренными крыльями и ножками шасси.

У Льва Има видел только лысую, шрамами покрытую макушку, и видел ещё, что Антоша развернул карту и пальцем водит по ней. Самолёт трянуло, Има икнул.

— Не подведи, Макарушка! — Лев погладил ладонью обшивку ласково, как кота, и пояснил — назад: — Они это любят.

«Говори!» — напомнил Искусителю Има, про себя, конечно, не вслух.

Искуситель крепче приобнял его — Има даже ощутил это пожатие — и заговорил ироническим полушёпотом:

— Представь декабрь сорокового, мороз такой, что не согревают и печи. Птицы леденеют на лету и камнем падают наземь. Бывший регент Бирон три недели как арестован, и фельдмаршал Мюнхн настойчиво требует его казни. Нас дёргают на допросы как сообщников, в крепость, и пол в допросной — в потёках крови, дома приходится смывать её с каблуков. Нас терзают допросами, но у нас и занимают под высочайшие расписки, желая купить лояльность. Новая правительница милостива и растеряна, она не научена править, но ей, как и всем, нужны деньги в долг, — который потом так и не доведётся вернуть. А если к нам милостива правительница, то не бояться прийти и другие.

Секретарь просунул голову в дверь:

— К вам Катерина Дмитриевна Кантемир, просить?

Не Катерина, Смарагда — имя как драгоценный камень. Так назвал её отец, так и все её звали, а неносимая Катерина — это имя вроде крестильное. Они ведь православные, молдавские господа Кантемир.

Драгоценная, золотая девочка-сирота, двадцати лет, воспитанница графа Бецкого, камер-фрейлина из тех, что на нас, жидов, смотрят по-над, не видя.

— Проси, конечно.

Она была в бархатной маске, но тут же сняла её, войдя в комнату, — маска с изнанки жемчужной сделалась от пудры.

Я поцеловал её руку, ледяную с мороза, усадил гостью в кресло:

— Чем может служить вам ничтожный ваш раб?

Только так и может жид говорить с княжною Кантемир...

— У вас светлые волосы и светлые же глаза, вы ничуть не похожи на жида, Лейба Филиппыч! — воскликнула эта драгоценная девочка, впервые разглядев меня, — а сколько раз мы с нею сталкивались в коридорах!

Ей дозволены были в этом мире и дерзость, и отвага, прекрасной золотой сиротке из княжеского рода Кантемир. Раде Кантемир все были покорны, её обожали, и всё в этом мире всегда выходило по её. Она разглядела меня — и теперь веселилась вслух.

— Я слыхала, мы с вами берём уроки у одного контртенора, правда ли это?

Она откинула с волос соболиный капор — перевитые жемчугом чёрные пряди были чуть припудрены, разлетелся, играя на солнце, душистый иней.

— Мои успехи в пении ничтожны и не стоят внимания, — сказал я холодно. — Так с чем вы ко мне?

— Вот, глядите, — она сняла с узкой руки браслет, лишь потом расцепила, отдала мне — тяжёлый, ледяной. — По нему я зовусь, батюшка в честь вот этого камня и назвал меня — Смарагда. Сколько дадите за него?

В середине браслета — смарагд, изумруд, крупный, как кошачий глаз. Я перевернул браслет — поглядеть на клеймо, кто ювелир. Так я и думал — тот самый француз, казнённый с тамплиерами. Его манера.

— В Петербурге нет сейчас никого, кто мог бы дать за него цену, — сказал я честно. — Всё беспокойно, ждут ещё мятежей, и все держат при себе свои деньги, а кто-то и переводит потихонечку уже в Антверпен. (Остерманы перевели счета, я точно знал, и Лопухины, и младший Лёвенвольд.) Я мог бы написать в Париж или в Вену, там найдутся покупатели, но это долго.

— Мне надо сейчас...

— Если разъять его и продать отдельно — оправу и камень, — то можно, это будет скоро, но как же жаль губить такую работу! Я могу ссудить вам — не всю сумму, увы, ведь этот браслет — целое состояние. А потом найду покупателя — и передам остальное.

— Мне надо сейчас, — повторила она тихо и твёрдо.

Я поглядел на неё в упор — в лице её не было ни кровинки, и пальцы дрожали, и рвали на лепестки батистовый тонкий платок.

— Ваша светлость, княжна! Простите меня, ничтожного, я никогда не спрашиваю, давая деньги, — для чего? Проигрался кто или вдруг угрожают оглаской? Но иногда — простите, простите ничтожного жида, — беду можно прогнать не деньгами, а лишь надавив на нужные рычаги. Что сейчас, этой зимою, в Петербурге может стоить подобных денег? Такого камня, который ваше имя, вы самоё? Если вас шантажирует негодяй, — назовите имя, и я уничтожу его, и письма ваши потом сожгу, не читая.

— Нет-нет, — слабо улыбнулась она, — нет же!

— Уж не регента ли вы хотите выкупить из крепости?

Я сказал это в шутку, право. Но Рада от моих слов сделалась пунцовой, фарфоровые щёки вспыхнули, словно тронутые румянами. Ах я старый дурак! Тотчас вспомнил, что была — год ли? два? назад — при дворе история, матушка царица, ныне покойная, запретила камер-фрейлине Кантемир украшать волосы розами, а будущий регент, герцог Бирон, и вовсе схлопотал от её величества по личику плюху.

— Простите меня, княжна, — проговорил я, кажется, тоже краснея. — Простите! Угадал нечаянно. Но если и так, — всё равно. Я знаю эту игру, с регентом и с крепостью, — то не ваша игра, княжна, вам нет там хода. Ваша карта не сыграет — ей нечего играть. Тот, кто просит у вас денег за свободу регента, — лжёт бесстыдно. Уже протянуты невидимые нити, и пушены стрелы, и улетели почтовые голуби. Деньги ничего не решат.

Я вложил браслет ей в руку — на секунду осмелился и задержал её руку в своей.

— Он погибнет? — спросила Рада, и голос её звенел. — Его казнят?

— Нет, княжна. За регента просят его французский родственник, маршал Арман Бирон де Гонто, и польский король, и германский король — эти двое его суверены, ведь регент владеет землями и в Силезии, и в Польше. Правительница не решится на казнь, не решится разгневать подобных персон. Выйдет помилование.

— Но фельдмаршал Мюних так желает именно казни! — Рада сжала кулачки, и перстни с камнями — тоже с именем, как у неё, — заиграли яростно.

— Фельдмаршал Мюних... — я сдержался, чтобы не рассмеяться. — Этот господин сейчас в своей постели приходит в себя после принятого яда. Не по своей воле принятого, княжна. Противоядие было передано ему с условием: фельдмаршал уходит в отставку и вдобавок оставляет бывшего регента в покое. И не мешает помилованию.

Рада молчала. Она глядела на меня исподлобья, изнизу из кресла. В медово-карих глазах её всходили одновременно, как зарево, — и радость, и ревность.

— Кто сделал это для регента? — спросила она, наконец, тихо и сердито. — Вы сами, Лейба Филиппыч? Его жена, герцогиня Бирон?

— Я слишком ничтожный жид, чтобы делать такие вещи. — Я отошёл к окну и теперь смотрел на снег и на ворон на нём, геральдически чёрных — на белом-белом. — Герцогиня Бирон все эти месяцы в горячке, ей не по силам. Откройте глаза, княжна, — и сами увидите. Вы же при дворе, ваша светлость камер-юнгфрау. Вспомните, как правительница объявила об отставке фельдмаршалу Мюниху, сама она робела в глаза ему сказать, и все придворные боялись. И только один придворный не испугался, и поехал в дом фельдмаршала, и объявил тому об отставке. Вспомнили этого смельчака?

— Господин Лёвенвольд, — зло прошептала Рада.

Церемонимейстер двора, обер-гофмаршал граф Лёвенвольд.

— Ваш счастливый соперник, — я повернулся от окна. — Она опять терзала платок, браслет мерцал у неё на коленях. — Ну, не такой уж и счастливый. Ни он, ни вы, княжна, регента более не увидите — он будет помилован и выслан в Сибирь в железной карете, под самой суровой охраной. Я знаю это: Мюних уже рисует проект его сибирской тюрьмы, фельдмаршалу это дозволено в утешение за отставку и отмену казни. Я видел сей проект, когда был в его доме, ссужал ему денег, — фельдмаршал гордится проектом и всем его показывает, хвастает.

Рада поглядела на меня злыми сухими глазами, застегнула браслет и лишь потом надела его на руку — и рука вошла свободно, так тонка была.

— Спасибо вам, Лейба Филиппыч, — сказала Рада. — Вы вернули мне не просто мой камень. Вы вернули мне имя моё, меня. Не дали выставить себя душой. Вы были жестоки, но так же жесток и хирург, делающий разрез, чтобы вытек гной. Спасибо. Вы совсем не знали меня — и вы спасли мою честь. Чем я могу отплатить вам?

И тогда я и сказал ей — глупость, конечно:

— Я желал бы спеть для вас, княжна. Завтра, на сцене императорского театра, в час пополудни, — чтобы не было никого, и не обсмеяли б.

— Зачем вам? — она всплеснула руками, улыбнулась.

— Желая вас позабавить. Это не свидание, отнюдь нет. Жена моя, Шошанна Марковна, и семеро детишек были бы против. — Тут она опять улыбнулась. — Послушайте, чему же научил меня наш общий контртенор — вдруг да выйдет забавно.

Смарагда, Рада Кантемир. Царской крови золотая девочка. Ей всегда было дозволено то, что не дозволялось никому, на что не решался никто. Читать опальных философов, на охоте стрелять по-македонски, прокатиться по улице на спине у слона. Полюбить императорского фаворита, пускай и без взаимности. Или шутить дерзко, — как не решится другая красавица.

— Милый Лейба Филиппыч, — она встала из кресла (мы одного роста оказались с нею) и коснулась моей щеки, и перелился изумрудным ядом в рукаве браслет, тот самый. — Жаль, что прежде я вас не знала. Добрый, благородный человек. И очень красивый мужчина. Серые глаза, белокурые волосы. Ведь это собственные ваши волосы, не парик? — Она провела рукой. — А у обер-гофмаршала точно такие же, но парик — он, верно, лысый под ним? Вы куда красивее. Жаль, что вы не петиметр, у вас бы не было отбоя от дам.

«А у меня и так нет, поверьте, княжна!»

— Я желала бы настоять, чтобы завтра у нас было именно свиданье, — кабы не ваши семеро детишек да не Шошанна Марковна...

— Вы жестоко шутите, — я поймал её руку и поцеловал.

Руку, а потом и тот самый камень в браслете, — что как её имя.

И потом, на другой день, вернее, ночь, в час пополуночи, я пел для неё со сцены императорского театра. Рада слушала меня, сидя на единственном стуле перед сценой, и даже расплакалась — так хороша вышла ария.

И я влюблён был в неё, в недостижимую княжну Раду Кантемир, целых три дня, два этих дня и ещё один после.

А потом, сам понимаешь, друг разлюбезный: и Шошанна Марковна, и белошвейка Настя, и гризетка Лулу... Те, кто и положен бедному жиду по его ничтожной масти.

Рундале, или Раундаль

Има открыл глаза — Искусителя больше не было рядом. Ника, кажется, дремала, склонив голову набок, — Има позавидовал её спокойствию.

Небо бережно несло самолёт в бархатной чёрной лапе, простреленной белыми стигматами звёзд.

— Где мы летим? — спросил Има.

И Антоша ответил:

— Над Лиелварде, видишь, внизу река. Западная Двина.

Внизу и в самом деле змеилась река, зеркально сверкая, и вокруг неё точками мутно мерцали огоньки.

— А долго ещё?

— А что ж ты раньше не спросил? — рассмеялся Антоша. — Два часа летим, сейчас начнём снижаться. Вон Бауска будет — и тогда уже вот-вот.

— Лев, с вами всё хорошо? — спросил Има, вспомнив про пулю в голове.

— Не ссы, Капустин, — раздалось рычащее, — прорвёмся!

Самолёт клюнул носом и пошёл вниз. «Разобьёмся», — решил заголошнный Има. Но из-под самолётного брюха вдруг словно сама собой вынырнула дорога с одинокой машинкой на ней — отважного ночного путешественника. Самолёт снижался — над дорогой, над машиной. «Врежемся в машину», — тут же подумал Има, но машинка успела убежать.

Самолёт приземлился на дорогу — так ребёнок с размаху, подпрыгнув, попой шлёпается на раскатанную ледянку и катится дальше. Слева мелькнуло жёлтое, даже в темноте словно фосфоресцирующее здание среди кустов — неужели сам Раундаль?

— Хорошо поспала! — Ника потянулась на сиденье, зевнула. — Что, сели уже? Ура...

— Да, сели, сели, — обернулся к ним Лев. — На выход, команда!

Самолёт остановился и теперь стоял посреди дороги, слегка подрагивая, как в ознобе. Ещё одна машина, зло сигналив, объехала их по обочине — Има разглядел за стеклом изумлённую очкастую рожу водителя.

— Здравствуйтесь посрамши, — Лев вылез с сиденья на крыло и чесал в задумчивости лысую башку, провожая взглядом ночного автомобилиста. — Так и спуют, даром что деревня. Нельзя тут одного Макарку бросать. Ну же, лезьте, что вы уселись!

Антоша тоже выбрался на крыло и по одному, как репки, вытянул за руку сперва Нику, а потом Иму. Тревожный предутренний воздух, влажный, негородской, с нотками моря и лиственной прели, обнял Иму зябким крылом. Дворец вдали мерцал сквозь ажурные кроны то ли белизной, то ли лимоном, как снизошедшая на землю луна.

Лев забрался, даже забурился, учитывая его габариты, во глубину самолёта позади всех сидений и вынырнул оттуда уже с автоматом. Будто Рембо в известном фильме. («Рамбо, но не Рэмбо», — как говаривал Имин препод по литературе.)

— Ты что, на абордаж собрался брать этот Раундаль, генерал? — изумился Антоша.

Они втроем стояли на земле, вернее, на асфальте, а Лев — возвышался с автоматом на крыле.

— Вы пойдёте, а я тут останусь, — пояснил Лев, — постерегу Макарку. Что я там не видел. А то тут дачники так и спуют — как бы чего не упёрли. Вон оно, твоё Рундале, — Лев указал Име на лимонно-белое свечение вдали. — Пулей дуй, смотри на еврея — и назад.

Има много чего хотел бы возразить: «А вдруг не пустят?», «Наверное, ночью закрыто?», «Что я им скажу?» — но он ничего не стал отвечать. «Если идёшь через ад, — иди не останавливаясь». Има был именно раб нарратива. Он поднял над головой два пальца — виктория, — показал их Льву вместо ответа. И зашагал по дороге, вернее, по обочине, чуть пошатываясь, как матрос, сошедший с палубы на землю. (После полёта ноги не совсем слушались.) Даже не думая, что там Ника и Антоша, — пойдут за ним или останутся возле самолёта.

— С латышами нужно теперь по-английски говорить, — сказал Антоша за его спиной. — Они теперь делают вид, что по-русски не понимают. You have a jew portrait on your wall...

Има обернулся — Антоша и Ника шли за ним в полуметре и загадочно переглядывались. Как будто приобрели уже общую на двоих тайну.

В сторону лунного Раундаля сворачивала дорожка, неширокая, асфальтовая, под сводом переплетённых ветвей; Има и его спутники зашли под этот свод, как в галерею сказочного замка. Летучая мышка по неровной траектории перелетела под сводом с ветки на ветку.

— Я думала, они осенью спят, — удивилась Ника.

Тропинка вывела их в сад, геометрически расчерченный дорожками, с лавровыми топиарами и облетевшими розами. Пахло дачным горьким дымом, скошенной травой.

Раундаль стоял совсем близко, жёлтый, и под жёлтой же — цвет в цвет — луной. Это был типичный барочный дворец по всем канонам: буквой «п», изящный, с широкоглазыми окнами, с лестницей как водопад. Вот только жёлтенький, словно канарейка. Има прежде видел фотографии, все чёрно-белые, и канаречность удивила его, заставила растеряться. «Впрочем, какой хозяин, такой и дом, — подумал Има. —

Заказчик-то этого дворца — герцог Бирон, а он был такой — модник, на грани фола». Има помнил, что этот Бирон предпочитал кафтаны, затканые крупными розами, подобные кардиганы носят современные кавказцы, и канареечный дворец выходил вполне в его стиле.

Има устремился на главную лестницу, но Антоша его удержал:

— Ночь, закрыто. Пойдём сторожа разбудим.

«И что ему скажем?» — промолчал Има.

Антоша-то знал, наверное, что.

— Ты здесь раньше был? — спросила Антошу Ника.

— В детстве, с родителями, — Антоша мотнул головой в сторону оставленного самолёта, и волосы его взметнулись, как грива у коня. В темноте — эффектно.

Они обогнули здание, ножку буквы «п», шурша гравием по дорожке. И там была дверка, как в коморке папы Карло — Антоша в неё постучал, а Има предположил мрачно:

— Высунется дуло.

— И что?

Антоша приподнял полу куртки — у него за пояс был заткнут пистолет, как у пирата. Что ж, таковы нынче времена и нравы...

Он потом ещё постучал — кулаком, и каблуком, и выглянул сторож, действительно, с опущенным ружьём в руке. Хоть не наперевес. И Антоша выдал ему своё коронное английское:

— You have a jew portrait on your wall!

Сторож, очкастый небритый дед в морщинах, как смятый пергамент, сдвинул на нос очки и уставился — не понял. Ника раскрыла было рот, но тут Има выступил вперёд и произнёс по-немецки:

— Мы не грабители. Мы туристы. Прилетели на самолёте, чтобы посмотреть на одну картину.

Има знал, что латыши больше не говорят по-русски. Но не знал, предполагал, что за краткое время — пару месяцев независимости — собственных денег они пока не придумали. И Има вытянул из неудобного гоголевского кармана смятый сиреневый четвертак. Показал сторожу.

— Мы заплатим, если вы покажете эту картину, — сказал он опять по-немецки, — и уйдём. Нам больше ничего не надо, только посмотреть на неё.

Сторож опять уставился круглыми глазами, как рыба, выдернутая из воды. Има даже услышал, как в голове его скрипят шестерёнки — дед думает.

— Херайн, — наконец выговорил сторож с явным усилием и приоткрыл дверь пошире, а потом крикнул во глубину дома на самом что ни на есть русском: — Руна! Да Руна же! Выходи, буржуи приехали!

— Не идёт, калоша, надо будить, — сторож запустил их в дом и запер дверь, жестом указал, — идём, идём, шнелле, шнелле. Сейчас только хранителя разбуджу.

Это был не первый даже, а подвальный, минус первый этаж. Толстые колонны, сводчатые потолки, красно-кирпичные, с острыми обломанными краешками на стыке. Низкий свет, длинноногие мятущиеся тени.

Ника с Антошей зашептались по-английски, Има английского почти не знал и понял меньше трети из их шёпота: мол, почему хранитель здесь ночью и здесь спит? Действительно, странно. Может, стережёт музей, как Лев самолёт, чтоб не разграбили?

Сторож вёл их за собой по коридору, ружьё в руке его брюзгливо старческим голосом дребезжало.

Вот пришли они в гардеробную, что ли. Здесь было посветлее, под потолком болтались два фонаря под старину, и за гардеробной стойкой три старухи играли в карты. Хихикали басом. Потрескивала отрывистая немецкая речь. Все три были в чёрных вязаных чепцах, что по виду как рыцарские подшлемники. Осязаемо, чётко пахло сенсимильей. Плотный дым стоял над бабками-веселушками, окутывая их, как вата.

— Руна! — позвал сторож. — Буржуи приехали!

Бабки одновременно отложили карты рубашками вверх, одновременно поглядели на гостей и одновременно ведьмински рассмеялись.

— Что? — обиделся сторож.

— Миш, они совки! — тоже по-русски сказала одна, возможно, та самая Руна. — Русские. Какие буржуи? С чего ты взял?

— Они на самолёте прибыли... — прогудел сторож. — Денег дохуя... Учти, я в доле!

— Пожалуйста! — Има выставил четвертной в вытянутой руке, как пропуск. — Мы должны... Вернее, я должен увидеть один портрет. Он здесь, у вас...

Самолёт в слепящей лазури — летит вниз, кувыркаясь, оставляя в небе жирную копоть, белый дым, хвост чёрно-бурой лисы. Он носом втыкается в зелень и там, в зелени, горит. Звериный запах, горячий штурвал в руке, солнце, наотмашь бьющее сквозь лобовое стекло. И острая жалость к горящему — такая машина пропала! — и острое счастье — я победил! — и небо, обнимающее, несущее в ладонях... Золотое бездонное небо над Донангом...

— Какой портрет-то?

Има на мгновение оцепенел — пока самолёт кувырчался в небе в его голове, — Руна тем временем вышла из-за стойки, взяла из его руки деньги и спрашивала, глядя в лицо ему снизу вверх:

— Что за портрет-то тебе показать?

Ведьма из пряничного домика, у которой нос почти что смыкался с подбородком, чёрная, сухая, до белизны сероглазая — вот какая она была. Перстни на пальцах — серебряные, один с мухой, другой с жабой. Она говорила по-русски с акцентом, произносила слова с едва заметным усилием, — будто брезговала.

Има замялся, разбираясь в приметах, и потом сказал:

— Этот портрет у вас неверно атрибутирован. На нём должен быть блондин, такой рыжеватый, с серыми глазами...

«С собакой!» — внезапно, в голове, подсказал Искуситель.

«Ого!» — изумился Има, и прибавил:

— С собакой!

— Ах, с собакой! — тепло рассмеялась Руна. — И кто же это, по-вашему?

— Скажу, когда покажете, — ответил Има.

— Что ж, идёмте.

Идёмте...

В залах и на лестницах не горел свет, но Руна взяла с собой фонарик. И высвечивала по дороге всё то, что с её точки зрения стоило внимания. Наверное,

потому что Има заплатил ей больше, чем за показ одного портрета, за четвертной они заслужили маленькую, но экскурсию — заслужили, да?

— Это хозяин дома? — спросил Има, когда свет выхватил из темноты сердитого деда в кудряшках. Над лестницей, над парадным входом.

— Нет, это Остерман.

— Удивительно, они же друг друга терпеть не могли! — удивился Има. — Бирон и Остерман. Зачем же вы его на входе повесили? Остермана — и в доме у Бирона?

— Ну, так вот решили, — пожала плечами Руна и поглядела на Иму с долей уважения.

А Ника и Антоша опять зашептались по-английски — вроде про то, что Антоша не знает, ни кто Бирон, ни кто Остерман, и Ника ему — «позорище»!

— Доротей Бирон, позднее Талейран, — в круге света встала дама с надменным личиком, в платье в обликпу, будто бы мокрым, а-ля грек, — узнаете?

— Я в такой ночнушке на первый аборт ходила, — вдруг выдала Ника.

А Има сказал:

— Узнаю, конечно, — из вежливости.

Он знал, что Доротей Бирон существовала в природе, но, конечно, понятия не имел, как она выглядит.

Свет заплескал в зеркальном коридоре, тени заматались, кривляясь и тая в зеркалах, — главный зал. Широкий и длинный, с балконом, вылетающим в чёрный от ночи сад. Оленьими рожками на стенах — шандалы. Паркет и зеркала светлы от луны и отражают входящих — абрисами, как мёртвые воды Леты.

Има увидел себя в зеркальном коридоре, множество чёрных фигурок с очень белыми лицами, всё меньше и бледнее, сходящие на нет. А Ника и Антоша вдруг взяли за руки и мгновенно симпровизировали что-то вроде менуэта, грациозные, изящные — заводные пейзажи на каминных часах.

Oh my love,

Oh my love

Take this waltz, take this waltz

It's yours now.

It's all that there is...

Има невольно пропел это им вместо аккомпанемента.

Фонарик выхватил из мрака дверь в кладовку.

— Здесь была фарфоровая комната, — сказала Руна, — но мы её пока не восстановили.

— Туалет? — уточнил простец Антоша.

— Нет, всего лишь маленькая комната, в которой на полках стояла коллекция китайских фарфоровых ваз. Если герцог хотел поговорить с кем-то из гостей тет-а-тет, они уходили в фарфоровую комнату. Но во время войны часть ваз побили, часть украли. А вот трон у герцога был с подогревом — даже сейчас, видите, на месте, где он стоял, на стене пятно от бывшей там водяной батареи.

И в свете фонарика — клякса на стене парадного зала.

Да, я помню.

— Этот твой вечно недостроенный курятник с претензией на Версаль...

Кавалер, белокурый, стройный, с серыми глазами и с аккуратным приподнятым носиком. Он берёт в руки вазу, проводит пальцами, словно лаская, и камни в перстнях переливаются бриллиантовым ядом.

— Это у тебя Мин или Цин?

Он вдруг разжимает пальцы, и ваза — пузатенькая, тонкая до прозрачности, с нежнейшей китайской росписью — вдребезги. На шум вбегает собака, борзючка, обнюхивает у кавалера тувельки и осколки на полу.

— Тея, фу! Порезеешься... И потом, тут нет ничего для тебя интересного. И для меня тут нет ничего интересного. Трон с подогревом — но я его недостоин да и не нажил пока геморроя, чтобы на троне его лелеять. И хозяин здешний дурак...

Он снимает с полки ещё одну вазу, держит за тонкую шейку и смотрит исподлобья, вопросительно и сердито. Как пить дать, грохнет и эту.

Как же хочется придушить его! Кривляку, чёртову куклу...

Самолёт, вращаясь, уходит в штопор в яростном солнечном небе. И мир крутится, как зонтик Оле-Лукойе. Зелень, и золото, и лазурь...

Рычаг от себя — и нырок вверх, выносящий в небо из падения, из гибели. Золотое солнце и синь, заново берущие в руки.

И ту, и другую сцену Има видит, — как прежде ясно видел разыгранные сценки на зелёном сукне. Там, в Москве, в сторожке, в МЗМЗ. Отчётливо, словно на экране. Чёрт бы драл...

Что ещё за самолёт, Искуситель? Но тот не отвечает, не желает отвечать.

— Вот мы и пришли! — возгласила Руна.

Свет фонарика пробежал по стенам, щедро увешанным разновеликими портретами. Карамельными бликами отозвался полированный мраморный камин с какими-то рогатыми безделушками на полке.

Стены были выкрашены в красный краплак, но в голове у Имы вдруг выстрелило: прежде эти стены были зелёные, берлинская бутылочная зелень.

Картин на стенах куда меньше, всего три, и перед камином медвежья шкура, на шкуре дремлет собака-борзючка, та самая, что «Тея — фу!» Полено в очаге бархатно тлеет, прогорая в прах, и собака лениво зевает, показывая розовое нежное решётчатое нёбо. Косит глазами — кто там?

Стук каблучков приближается по анфиладе, лёгкий, насмешливый ритмический рисунок сарабанды.

— Здесь раньше были зелёные стены, — сказал Има.

Руна пожала плечами.

— Сколько лет-то прошло, сколько хозяев поменялось. Бог весть, может, прежде и были зелёные. — Это «бог весть» с прибалтийским шепчущим акцентом прозвучало божественно. — Вот, смотри. — Круг света выхватил на стене картину. — Твой мальчик с собакой. И кто же это, по-твоему?

— Божечки, и в самом деле милый, — Ника подошла, встала на цыпочки и вся потянулась вверх, чтобы как следует разглядеть.

Так вот ты каков, Искуситель. Господин на портрете был весь в бежевом бархате, и нежной ручкой почёсывал за ухом борзую, тоже бежевую, львиной масти. Собака и кавалер глядели на мир с выражением одинакового ленивого презрения. Да, Искуситель оказался хорош. Има мгновенно узнал и белокурый рыжеватый блонд, и злые глаза — как старинное серебро. Капризно изогнутые губы, аккуратный приподнятый нос. Румяна, жемчужная пудра, едва намеченные синие стрелки. Длинное кружево манжет, из-под которого мерцают перстни — на каждом пальце по одному.

— Гоф-комиссар Лейба Филиппыч Липман, — представил Има господина на портрете.

— Ха! — коротко рассмеялась Руна. — И откуда вы такие знания берёте? Первая атрибуция была — граф Платон Зубов, но потом разобрались, что парик не того времени...

— Парик? — переспросил Има.

Искуситель ведь так настаивал, что волосы у него свои.

— Конечно, — коварно усмехнулась Руна, — надо лбом свои, а вот эта мальвинка на затылке — это накладка, и локоны, конечно же, тоже. На затылке бант, но мы его не видим. Был бы мраморный портрет — могли бы заглянуть и рассмотреть. Парик сорокового года, максимум пятидесятого — Платон Зубов тогда ещё не родился. Вначале их перепутали из-за поразительного сходства — вот настоящий Платон.

Фонарик посветил вправо — на точно такого господина, но шатена и с чуть более острыми скулами. И с начёсом в стиле «Бабетта идёт на войну», но с залысинами.

— Вот настоящий Платон, владелец Рундале с года восемьсот четвёртого по двадцать второй, разводил здесь лошадок прусской породы. А наш прекрасный господин с собакой вряд ли даже бывал в Рундале. Его имение в трёхстах километрах отсюда, в Ряпина. Это тоже граф, и тоже Священной Римской империи, Густав Рейнгольд фон Лёвенвольде, лифляндский помещик, а твой гоф-комиссар Липман — вот и он, он тоже здесь у нас висит, гляди.

Руна шагнула в угол и посветила на крошечный овальный портретец. Дядюшка в ермолке, пухленький, румяный, стриженный в кружок. Волосы рыжие, глаза светлые, кафтан обычный казинетовый. Правда, с недурным кружевным жабо.

— Он помогал с финансами на момент постройки, — пояснила Руна, — кажется, деньги ему так и не вернули. Наверное, преподнёс портрет герцогу на добрую память, чтобы тот не забывал о долге. Но герцога арестовали прежде, чем тот успел вернуть деньги, у него при аресте числилось пятьдесят тысяч талеров долгов — и всё Липману.

— Я знаю, — мрачно подтвердил Има, — а тот, первый, тоже подарил портрет на долгую память?

— Они дружили с герцогом, так что возможно.

«Все мечтают казаться красивее, — сказал Искуситель в голове у Имы виновато и грустно, — да, я похитил внешность у болвана Лёвенвольде. Привидения ведь могут являться в том виде, в каком пожелают. А я всегда мечтал выглядеть, как этот красавчик граф».

«А пел — тоже он, а не ты?» — сердито спросил его Има.

«Пел — я, — с достоинством отвечал Искуситель. — У графа был тенор, как у мяукающей кошки. А мне ставил голос сам маэстро ди Маджо».

«И, значит, Рада Кантемир вовсе не восхищалась тобой — какие волосы, а вот гофмаршал лысый?»

«Нет, — сердито пробурчал невидимый Искуситель, и там, за кадром, наверное, надулся. — Ладно, гофмаршал не лысый, я лысый, но и у него не столько волос, как на портрете — половина конские. Но там, где я сейчас, я вправе выглядеть как сам пожелаю — и даже как этот проклятый граф. Теперь мне можно. Не только вы, писатели, вправе выдумывать красивые истории».

Они оба были в его книге: и Липман, и Лёвенвольд, — и оба ничуть не похожи оказались на свои портреты. Может, тогда и всё остальное в книге такое же — ничуть не похожее? «Ты не угадал ни внешность, ни характер».

Чувство было — как будто наступила и давит огромная нога.

— Спасибо, я всё увидел, — сказал Има Руне церемонно и величественно. — И вполне опозорился. Благодарю за экскурсию и за горький урок. Прошу, выведите же нас вон.

«Прошу, Лейба, проводи графа вон».

Курише Нерунг, песчаная отмель на тысячу вёрст.

Карета тяжело катится по песку, переваливаясь, как беременная кошка. По обеим сторонам косы — бурное стальное море, и штормовые волны иногда захлёстывают дорогу, бросаясь в окна кареты клочьями серой пены.

— Твой герцог, Лейба, дурак и бесчувственная деревяшка, — мой визави почти шепчет, пряча в голосе готовую прорваться обиду.

Собака Тея лежит на подушках рядом с ним, мордой на его коленях, и иногда снисходительно косит на меня презрительными агатовыми глазами.

— Почти так же герцог говорит и о вас. — Платок он разорвал, и я подаю ему свой, куда более дешёвый. — Он называет ваше сиятельство — «чёртова кукла с пустой фарфоровой головёнкой». Выходит, чувства ваши взаимны.

— Я это знаю.

Мой визави слабо улыбается, но две голубые от туши слёзки всё равно бегут по фарфоровой коже, и он стирает их, мешая с румянами. Он очень красивый. Он старше меня, но у меня есть мой возраст, а у него — никакого нет. Херувим, игрушка, чёртова кукла. Даже с размазанной краской. Неузвимая мишень, святой Себастиан, израненный, со стрелами в рёбрах, — но так ещё более прекрасный.

— Стой! — велит он вознице, и, не дожидаясь остановки, выпрыгивает из кареты — в песок.

— Погодите, опасно же! Дюна! — кричу я ему.

Здесь коса, под зыбучим песком погребены иногда и целые деревни. Путешественник запросто может провалиться сквозь крышу песком занесённого дома или просто увязнуть в дюнах раз и навсегда. Но такому разве есть дело? Бог нёс его в ладони всю жизнь, не выпустит и сейчас.

Борзючка Тея летит из кареты вслед за хозяином, стремительно, на высоких лапах, почти не касаясь земли. И я иду — не бросать же его, такого.

Чайки орут над дюной запыленно, с кошачьим мявом. И чёрные длинношеие птицы, которым я не знаю названия, торчат на холмах, геральдически растопырив крылья. Ноги вязнут, ветер рвёт с головы и шляпу, и остатки волос. Море, свинцовое, штормовое, прерывисто вздыхает, обливаясь пеной. Тея яростно брешет на чаек.

Мой кавалер стоит в море, почти по пояс в воде, и волна вымывает игральные карты из его рукавов. Трефы, черви, вини... Шляпа его кувыркается далеко в море, как невезучая яхта. В золотых волосах запутался ветер, за солёными брызгами — не видать слёз. Чёртов мой истерик...

Я всё бы отдал, чтобы жить его жизнь. Родиться в рыцарском доме, расти балованной цацей при дворе Августа Сильного. Жить всю жизнь в долг, понтировать до кровавых слёз, сводить с ума царевен, княжон и цариц. Втюхаться в нашего дурня герцога — тайно, позорно, безо всяких перспектив. И тоже сводить его с ума... И видеть во всех зеркалах, во всех блестящих предметах — вот это вот всё, эти локоны, и серебряные глаза, и капризный носик, и фарфоровую бледную кожу. Это какое же счастье — в каждой вазе, в каждом бокале и отражаться — именно таким.

Я хотел бы быть тобой. Но я никогда не буду. Такими рождаются, не становятся. Я-то жалкий жидёныш, слуга курляндского герцога, я приставлен лишь присмотреть

за тобой по дороге на мызу Раппин, — чтоб ты вот так не бросался с разбегу в море или не проигрался в прах. Ты уже должен мне десять тысяч, а наш герцог — тот аж целых шестьдесят. И вы дальше продолжите брать у меня, и никогда ничего не отдадите. Я двадцать лет смотрю на вас обоих, завидуя, жалея, ненавидя, и я желал бы сам стать таким же — но нет, не судьба.

Но всё равно я чуточку счастлив, как счастлив придворный художник, к портрету монаршей семьи в отдалении, сбоку, но всё-таки пририсовавший — себя.

Новое имя

Небо на востоке бледно зазеленело. «Это ж сколько времени сейчас», — подумал Има. В Раундале, наверное, где-то были часы, но он не догадался спросить время. Да и какая теперь разница!

*Oh my love, Oh my love
Take this waltz, take this waltz
It's yours now.
It's all that there is...*

Прими его — отныне он твой. Мерзавец Искуситель! Наверняка ведь наврал не только про внешность, чёрт с ней, — и про всё остальное придумал! И книга Имина — действительно, полная чепуха.

«Das ist kein Unsinn, — сказал в его голове мягкий ласковый голос. — Oh, Leiba... Er ist zwar ein bisschen doof, aber auf eine liebe Art...»

Не — чепуха...

Лейба, наш милый придурок?

Има мотнул головой, как собака от воды, отряхиваясь от этого полуморока, полушёпота, и зашагал по тропинке под сплетённым сводом осенних ветвей вслед за своими спутниками.

Самолёт был на месте. Высылся посреди дороги, мерцал перламутром, и очередная машина объезжала его, сердито сигналила.

— Генерал, мы дома! — крикнул Антоша, вспрыгивая на крыло. — Спишь? Да что с тобой? Папа!

Голос его перелился в тревогу, и это отчаянное, внезапное — «папа». Антоша распахнул дверцу самолёта, склонился над креслом пилота. Ника тоже взобралась к нему на крыло, а вот Има остался внизу. Ему сделалось страшно.

— Папа, папа, да что с тобой такое? Опять? — Антоша наклонился и тряс, и тряс Льва, невидимого Име с земли.

— Не трогай его, — Ника отстранила Антошу и тоже наклонилась над креслом, — если это пуля, лучше не трогать. Дай я посмотрю, я как-никак медсестра.

Пока она смотрела, мир сделался как никогда чётким, графически прорисованным. Словно кто-то настроил резкость. Как вырезанные из бумаги — рыбий силуэт самолёта, и ветви в рассветном небе, и круглые кружевные шары омелы.

— Он умер, Антоша.

Ника выпрямилась на крыле, взяла Антошу за плечи. Но тот мотнул гривой, как норовистый конь:

— Нет, так было уже. Лезьте давайте, взлетаем, летим. Два часа — и дома «скорую» вызову, откачаем. Живо в самолёт!

Антоша спрыгнул на землю, обежал самолёт кругом, вспрыгнул на другое крыло и распахнул дверцу:

— Давайте, живо!

И Ника с Имой залезли назад. Има старался не смотреть на Льва на переднем сиденье — боялся. Но краем глаза таки увидел — запрокинутую лысую башку и автомат на коленях.

Антоша занял место пилота. Самолёт заурчал, запел. Покатился — как раз очередная машина показалась на дороге перед ними и в страхе встала.

Самолёт покатился по дороге, подпрыгнул — над машиной, почти царапнув брюхом золотые ветви деревьев, — и взмыл. Влетел — в туман, в рассвет, в матовые жемчужные облака.

Голос перечисляет вкрадчиво, с завлекательной интонацией повествователя-сказочника:

— *Dolabrum, secans, falcis, tenaculum, pyrus papalis, pugna felis, furca haeretica, tenacula digitorum...*

Каждое название — как имя любимого. С отзвуком тёплой ласки.

А на столе раскрывается тем временем холщовый чехол, в котором кармашки, и в кармашках — влажно блестящие щипчики, ножнички, тесачки, резачки, трезубчик. Папская грушка, маленькая, изящная, как длинный бутон.

Потолок здесь чёрен от копоти, пол — от крови. Запах палёной шкуры. Псины. Запах крови, как на скотобойне. Душно и жарко. Это очень маленькая комната, наверно, в ней толком и не встать в полный рост. В углу коптит очаг, и над ним — деревянная балка и свисают длинные цепи.

— Дыба у нас точно такая, как в Восточно-Прусской тюрьме, — добрый голос переходит с латыни на русский, — разве что росточком не вышла. Потолки-то низенькие тут.

Хочется взглянуть на него, добряка, но никак не оторвать глаз от роскошного арсенала в холщовых кармашках. Щипцы для ногтей, резачки для пальцев и жуткое полированное кольцо с ручкой, бог знает для чего. Хозяин ещё его не назвал.

Вот чья это память? Искусителя — когда его водили на допрос, и каблуки были потом тёмными от крови? Или уже Льва, из его непонятной бандитско-военной сказочной жизни, из пытошной Донанга, или из наших родных казематов?

«Он умер?» — спросил Има у Искусителя в голове и не получил ответа. Но тот самолёт, что крутился в воздухе, в золоте и лазури, пока они гуляли в Раундале, говорил — умер. А Има, дурной стихийный бокор, опять выманил с того света покойника.

Небо было янтарное и коралловое, но без оттенков крови. Има вспомнил, как у Дюма, кажется, в «Двадцать лет спустя», герои перечисляли, кто из королей что видел перед смертью. Луну, окрашенную кровью, облака, окрашенные кровью, и вроде бы воды у них кровью ещё окрасились, или же нет?

За весь полёт никто не произнёс ни слова. Ника сидела, подобрав ноги и обняв колени, и опять смотрела вниз, на плывущие крыши и кроны. Антоша глядел вперёд, иногда — косился на Льва, а когда самолёт вдруг ухнул в воздушную яму, — погладил обшивку, потому что самолётам это нравится. Они это любят.

Има не смотрел вниз. Он глядел вперёд, на рассветное оранжевое небо. На солнце, которое вдруг выпрыгнуло, выстрелило из-за горизонта, стремительно и внезапно. Однажды над ними пронёсся другой самолёт, большой, очень быстро, пулей.

А потом они полетели вниз, как с горки на лыжах. Парча и бархат сентябрьских полей придвинулись — близко и страшно. Опять заложило уши. Ника выпустила колени и поставила ноги на пол. Взлётная полоса вдруг вытянулась под брюхом, и самолёт, опять лягушачьим прыжком, приземлился. Лев сполз с сиденья вбок, Ника стала сзади его поправлять, придерживать.

— У него пульс, Антоша!

— Говорил же — живой! — огрызнулся Антоша.

Самолёт остановился, чуть не доехав до ангара.

— Я — в «скорую» звонить, — Антоша выскочил на крыло, полуобернулся к ним. — А вы хотите — сидите. Или идите — тут остановка прямо за лесом.

И спрыгнул.

— Я остаюсь! — крикнула вслед ему Ника.

Уж неизвестно, услышал Антоша или нет.

Они отогнули сиденье, выбрались на крыло. Спустились на землю. И Ника перебежала на другое крыло, открыла дверь, наклонилась ко Льву и взяла его за руку.

«Почему ты остаёшься?» — хотел спросить Има, но промолчал. Ника ведь была медсестра.

И ещё — она была ангел, он только сейчас это понял. Она сходила с небес к тем, кто нуждался, и здесь сейчас она была нужнее. Ника — да в ней и было что-то такое, самофракийское. Порыв и крылья, невидимо встающие за спиной.

Има зашагал по взлётной полосе в лес, к остановке, что где-то там, за лесом. На неверных после полёта ногах. Мучимый неудобным гоголевским гульфиком.

*Он через тысячу дорог,
Через озёра слёз
Пришёл домой без рук, без ног
Но ёлочку принёс.*

Это вертелось у Имы в голове, пока он брёл под рыжим прахом облетающих лиственниц к остановке. Автора Има не помнил — что-то с шестнадцатой страницы «Литературки», где сатира и юмор.

На остановке было полно народу, но на Иму никто как-то особенно не смотрел. Все хотели спать и не хотели на работу, а Гоголь — да к чёрту его, кому он нужен. Тут не помереть бы.

И в метро никто на Иму не смотрел. В метро было на что смотреть и кроме Имы: прямо напротив него сидел карлик и с достоинством листал огромную книгу под названием «Сто великих битв».

«Сегодня же уеду в Москву, — подумал Има, — на собаках». Это значило — на трёх электричках с пересадкой, зайцем. Он и приехал в Ленинград — так же.

Он чувствовал, что отныне свободен. От вруна Искусителя и от своей прошлой книги. И может делать что пожелает. «Делай что хочешь, и будь что будет». Так, кажется, советовал новичкам Алистер Кроули.

Има шёл к гостинице вдоль реки. Кляйне Неффка, Малая Невка. В реке чинно плавали чайки, а сквозь воду можно было разглядеть, как старательно гребут они лапками.

За эту ночь деревья перед гостиницей наконец-то пожелтели и больше не были «Verdi prati, selve amene». Окно над козырьком подъезда было открыто, в окне сидел господин Ойя и читал газету. Он сидел на подоконнике, спиной к Име, голый по пояс — на спине его переплетались чудовища и драконы. Орнамент, цветной и плотный, до отказа заполненный облачками и чешуйками, как узорчатая футболка с рукавом.

«Ого, — подумал Има, — так он якудза».

Има знал, что именно такие татуировки, без единого живого места, сплошь облачка, драконы и узоры, делают себе якудза. Это было второе, что он знал о японцах. Има читал по подписке журнал «Вокруг света».

— Ойя, привет! — крикнул Има, как подошёл поближе.

Ойя повернулся и помахал ему, лицо у него было недовольное.

«Я же спёр костюм» — вспомнил Има и застыдился. Даже покраснел под гримом.

— Я сейчас вам костюм принесу! — крикнул он, Ойя кивнул и отвернулся. То ли не понял, то ли не до Имы ему было.

Има вошёл в холл. Тётя Галя дремала за стойкой размещения.

— Доброе утро, — сказал Има. — Вы знали, что Ойя — он якудза?

— Так Ойя — это и значит — якудза, — как маленькому, разъяснила тётя Галя. — Это же не имя, это должность — Ойя-бун.

— У него татуировки такие...

— Да я видела, — тётя Галя смущённо усмехнулась и зевнула.

Ойя-бун... Вот ведь чудо-человек — мог бы людей у себя в Японии убивать, а он здесь кино снимает. Има вспомнил, как Лев говорил о книге: «Нематериальное, неконкретное, ничем в твоей жизни не меряется. И не факт, что не говно получится в итоге». Вот и Ойя — выбрал созидание, а не разрушение, был Панург, а стал Демиург.

— А как его на самом деле зовут?

— Да чёрт знает. В путёвке лень смотреть. — Тётя Галя опять зевнула. — А ты у нас всю ночь гулял? Нагулялся?

Има поднялся в ленинскую комнату, переделся в своё. Стёр полотенцем грим — и щёки показались из-под грима живые, розовые. Обтряхнул гоголевское, сложил стопочкой. Сверху возложил кипяtilьник. Вышел в коридор и постучал в японский номер.

— Гогорю? — Ойя открыл ему, уже одетым. В белой рубашке, она ему очень шла. Татуировки просвечивали сквозь тонкую ткань, словно тайное сокровище.

— Вот, — Има отдал стопку, — возвращаю. Приятно было с вами работать.

— И мне приятно было, — повторил за ним Ойя, принимая одежду. — С вами работать.

— А у вас не найдётся сосиски? Или колбаски? — спросил Има.

Он привык кормить кошек по утрам, а сосиски кончились.

Ойя не удивился. Он утоптал вглубь номера, и, когда вернулся, в одной руке у него был розовый круг докторской колбасы, а в другой — газета.

— Колбаска, — отдал Ойя. И потом показал газету. — Смотрите. Вот как оно так вышло? Как это теперь говорить? Вы скажите?

Има прочитал новость на первой странице. Шестого сентября городу Ленинграду вернулось его историческое название — Санкт-Петербург. Шестое сентября — было вчера.

— Санкт-Петербург, — тщательно выговорил Има, чтобы Ойя понял и запомнил. — Санкт-Петербург. Вот так.

— Ужасный кошмар, — охнул Ойя. — Санкото-Петер... перебурогоро? Ужасный кошмар...

— Почти получилось, — похвалил Има. — До свидания. Удачи.

Когда он вернулся в свою ленинскую комнату, было слышно, как Ойя тренируется, декламирует:

— Санкото-Петербурогоро...

Он произносит это с выражением, как ребёнок на садовском утреннике. Через час явятся остальные японцы — и их тоже нужно будет научить. Ужасный кошмар...

Има открыл окно, лёг животом на подоконник.

— Кс-с!

Выглянула трёхцветная богатка, Има оторвал ей кусочек колбасы. Бросил вниз. Кошка подхватила и исчезла в кустах, — чтобы позвать остальных.

И тут он вдруг упал на меня, как небо.

Свалился с верхних этажей с верёвкой на шее, но не успел на ней повиснуть — я удержал. Задохнувшись от его звериного запаха. Почти из плеч вывихнув руки. Удержал, втащил на подоконник.

Тот медиум с третьего, что ли, этажа. Маэстро Гуменюк. Теперь-то кое-как одетый. В разорванной рубашке, с разбитым носом.

Он хрипло задышал, выпучил глаза. У него были светлые волосы и рыжие ресницы, и глаза тоже рыжие, как у коня. Широкий нос, облепленный веснушками. Раздутые ноздри дрожали, из одной текла струйка крови.

Он снял с шеи петлю, через голову:

— Спасибо.

— Да пожалуйста, — ответил я уже вслед, потому что мой спасённый прыгнул с подоконника вниз, на землю. И мгновенно сбежал. Распутав, конечно же, кошек.

Потом кошки вернулись, и я отдал им остатки колбасы, разделив по справедливости, как сумел, конечно.

— Тебе, наверное, лучше уехать отсюда.

Има повернулся от окна. Искуситель сидел на диване, привычно красивый, разве что шёл лёгкой рябью, словно телепередача, пойманная со слабой антенны.

— Здравствуйте, Лейба Филиппыч, — поздоровался Има. — Я как раз собираюсь. Рад, что вы ничуть не изменились, — прибавил Има с издёвкой.

Искуситель неспешно переложил ноги с одной на другую, как Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

— *Dolabrum, secans, falcis, pyrus papalis* — это была твоя память? — спросил его Има. — С тобой было?

Има помнил прочитанный им, как с листа, чей-то даже не страх, но равнодушный звонкий ужас, сопровождавший ту медленную демонстрацию инструментов. Этот ледяной спокойный ужас, и эта, кровью пропитанная, кровью пропахшая, комната, и жуткий и нежный перечисляющий голос — право, они стояли упоминания в новой книге. Царапнули сердце.

На диване вдруг возник второй точно такой же Искуситель, рядом с первым. Разве что весь в белом с золотом, молоко с мёдом. Пышные полы кафтанов у них двоих наложились друг на друга, как коллаж.

— Это моё, — сказал этот второй по-немецки, точно так, как говорил и первый, мягко и ласково. — Жаль, ты не увидел, что было дальше. Там было самое интересное.

«Интересное», — с грустной иронией, и сразу понятно что же.

— А вы кто? — растерялся Има.

— Сам-то как думаешь? — опять по-немецки рассмеялся второй. — Оригинал, вместо вот этого вот — эрзаца.

И он указал на Лейбу Филиппыча так презрительно и изящно, как первый Искуситель никогда не умел.

— На том свете прежняя иерархия не действует! — фыркнул, обидевшись, первый Искуситель и рябью пошёл ещё сильнее, совсем как старый телевизор. — И такой твой тон неуместен. И у тебя нет здесь власти надо мною...

— Лейба, заткнись! — скомандовал второй, совсем как прежде он приказывал: «Тея, фу!»

Так вот значит как...

Родиться в рыцарском доме, вырасти балованной цацей при дворе Августа Сильного, сводить с ума княжон, и принцесс, и целого герцога. Презирать смерть и всех вокруг, гофмаршальскими красными каблуками попирая весь свет. А потом-то, чем всё кончилось — «*dolabrum, secans, falcis, rugus rapalis*»...

*Он через тысячу дорог,
Через озёра слёз
Пришёл домой без рук, без ног,
Но ёлочку принёс.*

Вот бы про кого рассказать-то — про беспечного мотылька, с его страстью влетать в каждое встречное пламя, про его завистливого некрасивого подражателя, эрзац, тарталью, сальери. Про них двоих: очаровательный надменный оригинал и завистливую богатую копию, про две стороны одной игральной карты, допельгангеров, навсегда вмурованных теперь (вдвоём!) в зеркальные коридоры Раундаля.

Второй, настоящий Искуситель, грациозно поправил локон и заговорил с Имой с чарующей негой в голосе.

— Так это ты поднимаешь мёртвых, беседуешь с ними и заставляешь следовать за собой?

— Я бы не сказал, что это совсем уж так... — смутился Има.

— Брось кокетничать, тебе не идёт.

Има задумался, бокор он всё-таки или нет. Ну, если что-то такое есть, — так хорошо. И вторую книгу захотелось написать — тоже дело. И к чёрту критиков с их придирками... У Имы теперь целых два советника-вруна, даже интересно, как они между собой — так и будут лаяться?

А ещё — эти двое, они слышат его мысли или нет?

— Вторая книга... Тебе придётся постараться, будет сложно заново взять столь же высокую ноту, — это первый сказал, тот, что Лейба Филиппыч. И по-русски. Значит, всё-таки слышат.

А второй прибавил, покачивая туфлей, по-немецки. (Има припомнил, что граф Лёвенвольд действительно совсем не знал по-русски, и ещё ему не очень-то давались сложные обороты речи, даже и на родном немецком.)

— Я расскажу тебе всё про крепость. Ведь теперь уже не больно. А вот следовать за тобою — глупо, если без цели. Недостижимая, идиотская цель — это, пожалуй, лучшее, что может быть у человека в жизни. Говорят, в Париже, в Лувре, есть комната, вся из золота — потолки, стены, пол, зеркала, — всё-всё золотое. Я хочу на неё посмотреть.

Евгений Чижов

Кровь и судьба

Рассказ

В субботу, в четыре часа дня, а если быть точным, в четыре часа четырнадцать минут, Пётр Андреевич Бусыгин поставил последнюю точку. Перечитал заключительный абзац, поправил пару мелочей и отложил лист в кипу исписанной бумаги. Откинулся на спинку кресла. Ощущения праздника от завершения большой работы не было, только накопившаяся усталость, прежде незаметная, накрыла его так, что двигаться не хотелось. Да и рано было для праздника, много ещё предстояло сделать прежде, чем он наступит. И всё-таки главное было закончено, огромный роман «Кровь и судьба», почти полторы тысячи страниц, лежал на столе неподвижной бумажной грудой, где были плотно спрессованы и утрамбованы десятки человеческих жизней с их страхами и банальностью, отчаянием и надеждой. Поэтому брошенный за окно усталый взгляд Бусыгина был иным, чем в последние два десятка лет, когда он корил себя за любое отвлечение от работы. Теперь ему не к чему было себя принуждать, он долго смотрел на медленно разворачивающиеся над крышами осенние облака, и также медленно разворачивалось у него в груди чувство обрётённой свободы, в которую он вступал совсем новым человеком — автором большой и никем ещё не прочитанной книги. Потом начало темнеть, и на лиловых и розовых выпуклостях облаков зажглись спроецированные снизу буквы рекламы. Пётр Андреевич поморщился и отвернулся от окна — рекламу он не любил.

Вышел на кухню, достал из заветного шкафчика бутылку лимонной водки, налил рюмку вслянь и быстро опрокинул, чтобы чувство обрётённой свободы перешло уже, наконец, в какую-никакую радость. Увидел себя в зеркале: крупный, широкоплечий мужчина, немного, конечно, уже обрюзгший, но если специально не вглядываться, то ещё ничего, ничего... Тут Бусыгин вдруг подпрыгнул и, прежде чем приземлиться, успел несколько раз шлёпнуть себя в прыжке ладонями по груди и животу. Глядя на своё покрасневшее от внезапного усилия лицо и вывалившийся из штанов живот, рассмеялся. Он ещё и не на такое способен! Отдышавшись, взял телефон позвонить

Чижов Евгений Львович — прозаик, переводчик, журналист. Родился в 1966 году в Москве. Автор романов «Тёмное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника», «Собиратель рая», а также повестей, рассказов и эссе, лауреат премий «Венец» СП Москвы за «Перевод с подстрочника» и «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая». Живёт в Зеленограде.

знакомой наборщице, чтобы перепечатала на компьютере его рукопись. У Петра Андреевича и у самого стоял на столе подаренный сыном компьютер, и он более-менее научился с ним управляться, но печатать не любил. Подумаешь, Достоевский тоже не сам печатал! (Правда, тогда ещё, кажется, и пишмашинок не было, впрочем, какая разница, — если бы и были, всё равно б не стал.) А у Толстого и подавно была Софья Андреевна, по двенадцать раз за ним переписывавшая. Так что может и он позволить себе наборщицу, не разорится. Пётр Андреевич сел с телефоном в кресло у окна, но когда, напрягая зрение, набрал номер, над домом, закрыв свет, с низким гулом проплыло аэротакси, и в наступившей на секунду темноте Бусыгин ткнул не ту кнопку. Выругался вслед железному брюху скрывшей полнеба машины и, чувствуя, как дребезжанию стёкол неприятно отзывается мелкая дрожь в низу живота, отложил телефон и выпил ещё рюмку лимонной. Закусил малосольным огурцом и испытал сильный соблазн распахнуть окно, чтобы швырнуть огрызок огурца в громыхающее по небу такси. Но удержался. Всё-таки солидный человек, серьёзный писатель, не пристало ему огурцами кидаться.

Через месяц рукопись была набрана и отправлена в издательство, где когда-то вышли первые книги Бусыгина, где его наверняка помнят и ценят, потому что неоднократно звонили, чтобы спросить, когда, наконец, он закончит свой большой роман и они смогут его напечатать — читатели заждались. Последний звонок, правда, был уже довольно давно, лет шесть, если не больше, назад. Потом в издательстве наступили какие-то перемены, кажется, сменилось руководство, у Петра Андреевича не было ни желания, ни времени вникать, что у них там происходит, главное, голос сотрудника, обещавшего незамедлительно прочесть «Кровь и судьбу» и немедленно сообщить ему условия публикации, не вызвал у Бусыгина сомнений, что его по-прежнему ждут. Но когда из издательства не позвонили ни через неделю, ни через месяц, ни через два, сомнения всё-таки стали возникать, и чем дальше, тем больше. Наконец, Пётр Андреевич решил сам навеститься в издательство и разобраться во всём на месте. Если его роман не понравился, пусть так прямо в лицо и скажут.

Издательство находилось теперь не в центре, как раньше, а на другом конце Москвы, ехать туда Петру Андреевичу пришлось на метро через весь город. В полупустом бесшумно летящем звуконепроницаемом вагоне Бусыгин загляделся на пассажиров: каждый второй был в новомодных цифровых очках в массивной оправе, куда был встроен микропроцессор, что-то им на стёклах очков, одновременно служивших экранами, показывавший. От этого лица делались непроницаемыми, будто и вовсе неживыми, каждый был погружён в свой фильм, или что они там видели, им даже друг до друга дела не было, не то что до Бусыгина. Что они за люди, с нарастающей тоской думал Пётр Андреевич, я ведь их совсем не знаю, что же я могу им сказать? Для чего им читать книгу, над которой я бился больше двадцати лет? Всё, о чём я там пишу, давно ушло, им это наверняка чуждо и безразлично. Но были всё-таки лица без цифровых очков, выглядевшие от этого трогательно беззащитными, будто обнажёнными, среди них особенно привлекали Бусыгина женские: женщины — лучшие читатели! Самые благодарные, самые понимающие, сочувствующие и героям книги, и, главное, её автору. Сколько таких сочувствующих было у Бусыгина в годы успеха его ранних книг! Где они теперь? Как нужны они ему сейчас! Точнее, конечно, не сегодняшние они, потому что им теперь немногим меньше, чем самому Бусыгину, а такие, какими они были тогда. Наподобие той, например, стриженной под мальчика узколицей шатенки с большим красивым ртом, сидящей наискось от Петра Андреевича. Не может быть, чтобы его роман её не увлёк! Пётр Андреевич всматривался в девушку,

как в свою последнюю надежду, представляя её захваченной его книгой настолько, что проезжает свою остановку, с трудом отрывается от страниц, растерянно осматривается, видит Бусыгина, их взгляды встречаются, в её глазах изумление, не может поверить, что перед ней то же лицо, что и на обложке, губы непроизвольно улыбаются... Тут девушка поднялась, повернулась к двери, и в изменившемся ракурсе Пётр Андреевич обнаружил, что это вовсе не девушка, а молодой человек, к тому же свою остановку проехал не он, а Бусыгин. Вот чёрт, теперь они все так стригутся и одеваются, что не разберёшь, где девка, где парень! Пётр Андреевич поспешно выскочил из вагона, стал искать, куда ему нужно пересаживаться, сел не в ту сторону, осознав это, лишь когда двери закрылись, вышел на следующей и понял, что опять заблудился. Это не раз случалось с ним с тех пор, как метро так невероятно разрослось и перепуталось за последние годы. Раньше Пётр Андреевич знал наизусть все станции на всех линиях — память у него всегда была отменной — и чувствовал себя в московском метро как дома. Теперь же линии удлиннились настолько, что вышли за пределы не только города, но и области, неизвестно, кончаются ли они вообще где-нибудь или так и разбегаются по всей стране, существование обозначенных на схеме конечных станций было недостоверно, Пётр Андреевич никогда не встречал никого, кто бы там бывал. Какой уж тут дом, тут бы добраться до цели и прочь, скорее прочь из этого необъятного лабиринта.

Добраться удалось с почти часовым опозданием, и этим Пётр Андреевич объяснил себе то, что в издательстве его никто не встретил. Расстегнув плащ, он подчёркнуто независимой походкой расхаживал по светлым коридорам, ища, кого бы расспросить, а пока рассматривал висевшие на стенах фотографии, вероятно, популярных авторов, иначе бы их тут не повесили, ни одного из которых Пётр Андреевич не знал. Даже ни разу о таких не слышал. Это его, впрочем, не удивляло, он давно уже не следил за текущей литературой. Как не удивляло и то, что никто не спешил его узнавать, хотя когда-то, стоило ему появиться в этом издательстве, и лица сотрудников, а особенно сотрудниц, расцветали ему навстречу улыбками. Теперь же молодые женщины, как обычно, преобладающие среди работников издательства, спеша по своим делам, проходили мимо Петра Андреевича, в лучшем случае скользнув по нему взглядом, словно по предмету мебели. Как и в метро, каждая вторая здесь тоже была в очках, и хотя это были вроде бы обыкновенные очки, ничего им не показывающие, у Бусыгина всё равно сложилось впечатление, что эти женщины существуют в своих отдельных мирах, куда ему хода нет. Поэтому он никак не решался остановить кого-нибудь, пока в конце коридора не показался мужчина в тёмном пиджаке, и Бусыгин решил, что это, наконец, тот, кто ему нужен. Мужчина был в самых больших очках из всех, что Бусыгин повидал сегодня, возможно, выглядевших ещё больше оттого, что сам он был щуплым, сутулым, невысоким и, приближаясь, не вырастал, а продолжал уменьшаться, точно съёживался. Его лицо и особенно лоб были изборождены морщинами, но вблизи Пётр Андреевич намётанным глазом определил, что мужчина вряд ли старше его, просто неопрятность и явная запущенность заметно его старили. Из правого уха торчала грязная ватка. Он был целиком погружён в свои заботы и не собирался замечать Бусыгина, но, когда тот остановил его вопросом, где найти главного редактора, уставился на него сквозь свои окуляры таким ошеломлённым взглядом, что Пётр Андреевич почувствовал: он-то меня сейчас и узнает. Ему этого уже совсем не хотелось, одно дело, когда тебя узнают молоденькие редактрисы, и совсем другое — этот насквозь пропахший пыльной книжной тоской неряшливый старик с ваткой в ухе. Объясняя Бусыгину дорогу к кабинету главреда, который, правда, в отпуске, и там сидит сейчас его заместитель, старик ощупывал его своими громадными тёмными глазами и, точно очков ему было мало, помогал взгляду

настроиться на резкость, двигая вверх-вниз лохматыми бровями, отчего шевелились все морщины его очень подвижного лица, испытывающего, казалось, острую боль от невозможности вспомнить Бусыгина окончательно. Узнает, сейчас точно узнает! Но обошлось. Пётр Андреевич поблагодарил за разъяснение, повернулся, и когда отошёл уже шагов на десять, раздался нерешительный оклик:

— Простите, минуточку...

Бусыгин сделал вид, что не расслышал.

Разговор с заместителем главного редактора вышел коротким. Это был ещё довольно молодой, но уже облысевший человек, при появлении Петра Андреевича посмотревший на часы, очевидно, давая Бусыгину понять, что рассиживаться ему здесь не придётся. Не слишком усердно изображая приветливость, он сообщил, что занятый неотложными издательскими делами, к сожалению, не имел возможности ознакомиться с текстом Бусыгина, но ему точно известно, что, улетая в отпуск, главный взял с собой распечатку «Крови и судьбы», чтобы, ни на что не отвлекаясь, прочесть в спокойной обстановке, благоприятствующей пониманию такого, без сомнения, значительного, а возможно, даже эпохального произведения, каким является роман Петра Андреевича. Так что придётся дожидаться возвращения главного редактора, чьё мнение во всех вопросах, касающихся публикации, таких как сроки, тираж, размер гонорара и прочих, является определяющим.

— Так сколько, говорите, вы писали этот ваш роман?

Пётр Андреевич почувствовал, что не может назвать настоящих сроков своей работы. Такая цифра прозвучала бы в стенах этой фабрики литературы смешно и нелепо.

— Да я вроде ничего такого не говорил...

— Ну, знаете, слухами земля полнится. Мне рассказывали...

— Какое это имеет значение? Сколько бы ни писал, главное, написал.

— Да-да, конечно, — согласился хозяин кабинета и снизу вверх посмотрел на Петра Андреевича долгим взглядом, в котором тот уловил насмешливую жалость.

— Подождём главреда, без него мы всё равно ничего решить не можем.

— Подождём, — согласился Бусыгин, как бы принимая вызов. — Время есть, спешить нам некуда.

А закрыв за собой дверь кабинета, подумал: «Смейся, смейся. Зато у меня все волосы ещё целы. Ну, или почти все, если быть совсем честным».

Он уже подходил к выходу, когда вновь услышал:

— Одну минуточку... Постойте! Подождите! Минуточку!

Человек с ваткой в ухе почти бегом спешил к нему по коридору, на его полных губах по мере приближения расплзалась во всю ширину морщинистого лица радостная улыбка.

— Чуть было вас не упустил! Я же не знал! Меня же никто не предупредил, что вы придёте! А я смотрю — знакомое лицо! Вы или не вы? Я же вас только на обложках видел, а там вы хоть и узнаваемы, но сильно моложе. Но узнать можно, можно, по сути, почти не переменились! Разве что самую малость!

Осознав, что говорит что-то не то, он замолчал. Потом, исправляя неловкость, произнёс:

— А я ваш новый роман прочитал. Только на прошлой неделе закончил.

— Вот как?

Это меняло дело. Бусыгин думал, что этот суетливый коротышка помнит его по ранним книгам, а, оказывается, перед ним стоял первый читатель его главного романа.

— Да, и очень впечатлён! И многое хотел бы вам сказать. Если вы не очень торопитесь, мы могли бы зайти ненадолго в наше кафе. У нас там, кстати, очень вкусные пирожные! Просто необыкновенные!

— Ну что ж, давайте зайдём.

— Я так за вами спешил, что даже забыл представиться: Школьников Семён Исаевич.

Кафе было освещено таким же неживым белым светом, как и другие помещения издательства. Школьников вызвался угощать, сказав, что для сотрудников тут всё в разы дешевле. Поинтересовался, чего бы желал Пётр Андреевич, потыкал в планшет с меню на столе, и через несколько минут с негромким жужжанием, петля между столиками, подъехала тележка с кофе и пирожными. Кофе был в меру крепким, пирожные свежими, но Бусыгин всё-таки не удержался:

— С официантками-то получше было. Даже если и не красавицы, всё равно. А встречались такие, что глаз не оторвать. Без них всё то, да не то. Вроде и вкус прежний, и запах, а не настоящее какое-то всё. Хотя, может, и не в официантках дело... Помню одну в ЦДЛ — ей бы в кино сниматься! Вам в ЦДЛ бывать не случилось?

— Нет, что мне там делать? — пожал усыпанными перхотью плечами Школьников. — Я же не писатель и даже не редактор. Я всего-навсего корректор. Моё дело маленькое: орфографию править, запятые расставлять.

— Запятые тоже важная вещь, без них никуда. Так что вы хотели сказать о моём романе?

— Да, что я хотел сказать... — спохватился Школьников и заговорил, сперва запинаясь и с паузами, тщательно подбирая слова, потом быстрее, уверенней. Всё, что он говорил о романе Бусыгина, было глубоко и точно, Пётр Андреевич поразился, какие почти забытые им самим пласты смыслов вскрывал его собеседник, как ясно он формулировал, видя насквозь всю многоуровневую конструкцию, угадывая авторские намерения, догадываясь даже о том, что Бусыгин хотел сделать, но не смог. Чем дольше он говорил, тем меньше казался Петру Андреевичу неряшливым суетливым стариком: чёткость выражений придавала чёткости всему его облику, острая мысль в глазах делала лицо живее и моложе. А главное, роман Бусыгина ему не просто понравился:

— Я давно, очень давно не читал ничего подобного! Ничего даже сопоставимого! Это замечательная книга! Да! Это событие!

Петру Андреевичу захотелось обнять Школьникову, отряхнуть перхоть с его плеч, погладить по голове, чтобы улеглись разбросанные в разные стороны грязноватые кудри. Только стол между ними помешал ему это сделать.

— Семён Исаевич, дорогой, как же я тебе благодарен, ты даже не представляешь! — От избытка чувств он не заметил, как перешёл на «ты». — Как ты всё верно понял, всё точно описал! Я бы сам никогда не смог так хорошо о своей книге сказать, как ты сказал. Давай знаешь что? Давай выпьем по такому случаю. Ты же мой первый читатель! Ну, жена ещё кусками читала, но это не в счёт...

Бусыгин достал из плаща всегда бывшую при нём фляжку с лимонной водкой и пару раскладных рюмок. Школьников не стал отказываться, быстро махнул сперва одну, а потом ещё одну рюмашку, увлечённо заедая водку пирожными.

— А как я вам, Пётр Андреевич, благодарен! Это же роман обо всех нас, о нашем поколении! Я читал и всё-всё вспоминал: и путч 91-го, и мятеж 93-го, и дальше, дальше... Я же всё это своими глазами видел, а кое в чём даже участвовал. Да, представьте себе! Мне же тогда всего ничего было.

— А ты какого года, Семён Исаевич?

— Семьдесят пятого.

— Значит, тебе сейчас пятьдесят восемь, ты младше меня получаешься? Я думал, ты старше.

— Нет, это я просто так выгляжу. Но я всё, что вы в романе описываете, застал, могу подтвердить: так всё и было. Даже в бассейне «Москва» я плавал и помню этот запах хлорки, про который вы пишете, эти клубы пара над водой зимой! Особенно зимой я туда любил ходить. Плывёшь сквозь сплошную стену пара, а за ней голоса, смех, и вдруг она разрывается, и в разрыве лица в купальных шапочках — улыбаются тебе и снова исчезают. Это же как в раю было!

Вспоминая, Школьников зажмурил глаза и, блаженно улыбаясь, водил руками над столом, показывая, как плыл брассом.

Пётр Андреевич понял, что с двух рюмок тот уже опьянел, видно, непривычен к водке.

— Как думаешь, быстро издадут? Я не знаю, как сейчас, а раньше-то у вас ведь лучшее в стране издательство было, к вам авторы в очередь выстраивались.

Школьников открыл глаза и поводит вверх-вниз бровями, настраивая взгляд и, похоже, трезвея.

— С этим, Пётр Андреевич, я боюсь, возможны некоторые сложности.

— То есть? Откуда сложности, если ты сам только что сказал, что книга удалась? Что ты давно не читал ничего подобного?

— Понимаете ли, в чём дело... Можно поинтересоваться, когда вы читали последний современный роман?

— Да уж и не припомню, — удивился вопросу Бусыгин. — Я всё больше теперь классиков перечитываю: то Чехова, то Лескова, а то и Льва Николаевича...

— И текущей литературой, конечно, не интересуетесь? Я вас понимаю, очень даже понимаю. Но я-то по работе обязан всё читать, что у нас выходит, и могу с точностью сказать, когда мы последний раз выпустили роман современного автора.

— Когда же? — предчувствуя недоброе, спросил Бусыгин.

— Шесть лет назад. И мы ещё дольше всех держались, другие издательства завязали с романами гораздо раньше. Больше никто не покупает их и не читает. Все давно уже читают только социальные сети, интернет-сайты, а из книг охотно берут по истории, по кулинарии, или, например, по саморазвитию.

— По чему-чему?!

— По саморазвитию, — пожав плечами, будто извиняясь, повторил Школьников. — Ну, все хотят развиваться, чтобы стать успешными, разбогатеть, путешествовать... А про неуспешных людей, о которых обычно в романах идёт речь, никто больше читать не хочет. А раз не хотят, то мы их и не издаём, что мы можем поделать? Понимаете, вы слишком долго писали свою замечательную книгу. За это время всё очень сильно изменилось, и с каждым годом меняется всё быстрее.

— Вот как... — Бусыгин отяжелел, точно все его шестьдесят лет навалились на него разом, вспомнил заместителя главного редактора с его ехидным вопросом, как долго он писал. Вот и этот туда же. Бусыгин поглядел исподлобья в тёмные глаза Школьниковова, ожидая найти в них такую же насмешливую жалость. Кажется, нет, насмешки за толстыми стёклами очков было незаметно, и всё-таки что-то было в этих слишком больших и слишком тёмных глазах не то. Во всём этом Семёне Исаевиче было что-то не то.

— Он же мне сказал, заместитель этот ваш лысый, что главред увёз с собой в отпуск распечатку, чтобы спокойно прочитать и всё решить по поводу публикации.

— И вы всерьёз поверили, что главред потащил с собой в отпуск полторы тысячи страниц распечатки? Да он, кроме комиксов, давно ничего не читает! А распечатку он отдал мне, чтобы я её хотя бы наискозь пролистал и написал отказ поделикатнее, как я умею. Он в таких сложных случаях всегда меня просит. Я как-никак самый опытный сотрудник издательства, я тут работал с авторами, когда он ещё пешком под стол ходил! Ну, а я как взял в руки вашу книгу, так сразу и увлёкся, и не выпускал уже, пока до конца не дочитал.

— Так что ж ты думаешь, если ты увлёкся, другие не увлекутся? Думаешь, Семён Исаевич, ты один такой?

— В том-то и дело, — по губам Школьниково пробежала извилистая виноватая улыбка. — В том-то и дело, что один. Но не всё потеряно. Я думаю, я сумею убедить главреда рискнуть издать ваш роман. Он всегда моих советов слушался. Он же знает, что если кто ещё в настоящей литературе у нас сейчас разбирается, то только я. Остальные всё больше по саморазвитию.

Семён Исаевич приподнял подбородок, очки тускло блеснули, отразив белую лампу на потолке, его улыбка из виноватой сделалась саркастической, и весь он стал похож на горбоносую птицу наподобие грифа, обозревающую свои владения. Бусыгин наконец понял, что в нём не то. Как же он сразу не догадался!

— А главред тоже из ваших?

— В смысле?

— Из богоизбранных?

— Ах, вы об этом. Нет, богоизбранных тут больше не осталось. Я последний.

— Куда же они все подевались? Ты только не думай, Семён Исаевич, я к вашему народу Книги со всей душой. У меня половину друзей из ваших было, но тоже разъехались все кто куда.

— Вот именно. Кто уехал, кто умер.

— Хочешь сказать, что ты единственный еврей на всё ваше огромное издательство?

— Да что издательство, Пётр Андреевич, я на всю Россию единственный теперь.

— Шутишь? — Бусыгин чуть не подавился пирожным. — Как такое может быть?

— А вот так. Уезжали-уезжали, да все и уехали.

— А ты-то откуда знаешь, что ты самый последний? Россия большая, мало ли где ещё ваш брат живёт-поживает как ни в чём ни бывало.

— Меня уже раз пять на телевидение в ток-шоу звали, как диковинку, показывать. Всякий раз отбиваться приходится. Я им тоже: «С чего вы взяли-то?» Но у них данные из Росстата, а с Росстатом не поспоришь, там всё посчитано. Приходите, говорят, будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме вас еврейскую точку зрения представить больше некому.

— А ты в отказ?

— Конечно. Какой из меня представитель еврейской точки зрения? Я, кроме литературы, ни в чём не разбираюсь.

— Так ты, выходит, редкая птица, Семён Исаевич... — Бусыгин даже отстранился, чтобы по-новому взглянуть на Школьниково удивлёнными глазами. — Штучный ты человек, получается. Давай-ка скорее за это тяпнем.

— Я же не нарочно, — извиняющимся тоном сказал Семён Исаевич и сморщился, выпив водку. — Я же ничего для этого не делал. Оно само так вышло. Наверное, как раз потому, что, пока все делали — вызовы себе устраивали, родственные связи доказывали, вещи паковали, — я знай себе книжки читал. Зачитался и упустил момент, так и остался один с этими книжками.

— Неужели к своим тебя совсем не тянет? На землю обетованную? Государство строить, историю вершить?

— История — это кошмар, от которого я пытаюсь избавиться. Помните, кто сказал?

— Что-то знакомое... Леня мне сейчас память напрягать, она у меня от водки малость затуманилась. Кто?

— Джойс, Пётр Андреевич. Точнее, Стивен Дедалус в «Улиссе».

— А, Джойс. Да читал я твоего Джойса. И Дедалуса твоего читал. Или не читал, какая разница?

— Нет, Пётр Андреевич, Джойс это о-о-о... Это сила! Титан! Как вы, практически... хотя и по-другому.

Выпито было уже достаточно, чтобы сравнение с Джойсом не показалось Бусыгину ни капли преувеличенным.

— Слушай, что ты мне всё Пётр Андреевич да Пётр Андреевич? Я с тобой давно на «ты», а ты всё Пётр Андреевич. Давай уже на «ты» переходи. Хоть ты и еврей, Исаич, а давай будем простыми русскими друзьями, без мелочей, придинок и мщения друг другу?

— Спасибо большое, я постараюсь. Это ведь Розанов, верно? Про простых русских друзей? В письме Гершензону?

— Точно. Кто бы ещё, кроме тебя, угадал? Он самый, Василий Васильевич, наше всё! Я знаешь, что думаю, Семён Исаевич? Я думаю, неслучайно ты от своего народа Книги отстал и здесь остался. Не просто так это случилось, а чтобы было кому мой роман оценить и в печать продвинуть. Кроме тебя, этого сделать некому, на тебя, получается, вся надежда! Так что давай ещё по одной за это дело. За дружбу, Исаич!

Бусыгин уверенной рукой опрокинул фляжку над рюмкой, но из неё не вытекло ни капли. Водка кончилась.

— Ах, незадача. У вас ведь тут спиртного не продают, правильно я понимаю? Тогда выхода нет. Нужно нам с тобой куда-нибудь пойти. За дружбу нельзя не выпить. Вот только куда?

— Я знаю одно заведение, где ещё официантки остались, как вам нравится... То есть как тебе нравится, извините... то есть извини... Там специально всё постарались как раньше сохранить: пиво в гранёных кружках, сосиски с горошком. Даже яйцо под майонезом подают. Только нужно заранее стол заказывать, народ туда ломится. Но я сейчас попробую.

— Яйцо под майонезом! Не может быть! Попробуй, Исаич, умоляю тебя, попробуй! Я лет пятнадцать уже яиц под майонезом не видел, даже забыл, что такое бывает! И сосисок с горошком хочется — вот чтобы просто одни сосиски с одним горошком, — и ничего мне больше не надо!

В заведении с официантками мест не нашлось не только этим вечером, но и в три следующих, и лишь на четвёртый удалось Школьникову заказать столик. А сегодня решено было зайти в первый попавшийся ресторан. Но это оказалось не так просто: был вечер пятницы, большинство заведений были забиты до отказа, а там, где свободно, играла такая оглушительная модная музыка, что хотелось, не заходя, скорее перейти на другую сторону улицы. В конце концов им надоело месить осеннюю грязь и, взяв в магазине водку и банку кислой капусты на закуску, устроились на скамейке в сквере в стороне от улицы. И тут же поняли, что так и нужно было сделать сразу и нет во всём городе более подходящего им места, чем эта узкая скамья в окружении полуоблетевших тополей и клёнов. Было начало ноября, но ещё не холодно и сухо.

Верхние ярусы листвы над ними каждые несколько секунд меняли окраску, отражая переливы и вспышки рекламы на торцевых стенах многоэтажных домов по обе стороны сквера, становились то синими, то лиловыми, то оранжевыми, то фиолетовыми, и от этого выглядели искусственными, как театральные декорации, будто Бусыгин со Школьниковым оказались за сценой спектакля. Но чем пестрее было наверху, тем темнее и укромнее внизу, вся эта световая кутерьма надёжно их укрывала.

— Хорошо! — после первой же рюмки убеждённо произнёс Пётр Андреевич. И Семён Исаевич откликнулся ему слабым, но верным эхом:

— Хорошо!

Но они были в сквере не одни. На скамейке напротив расположилась компания молодых людей, вроде бы две девушки и парень, хотя после своей ошибки в метро Бусыгин уже не был в этом полностью уверен. Теперь он не удивился бы, если бы это оказались два парня и девушка, а может быть... В общем, всё было возможно. Они сидели молча с ноутбуками на коленях, соединённые с ними и друг с другом проводками наушников, и увлечённо стучали по клавишам, находясь, очевидно, в процессе общения, отражавшегося в беглых улыбках на лицах, а иногда во внезапных и не связанных между собой всплесках смеха.

— Скажи мне, Исаич, вот ты понимаешь, что это за люди? Что им нужно, что им интересно?

Школьников пожал плечами и сделал неопределённый жест правой рукой, означающий, по-видимому, что-то вроде: может, понимаю, а может, и не понимаю.

— Знаешь, мне раньше достаточно было пять минут поглядеть на человека, чтобы я мог всю его историю вообразить и написать о нём потом рассказ, а то и повесть. Не было такого человека, о котором мне нечего было бы написать. А на этих гляжу — и ничего в голове не возникает. Ни одной идеи.

— А зачем вам о них писать... то есть тебе, — снова сбился и поправился Школьников. — О них пускай их сверстники пишут, хотя это маловероятно, у них теперь другие увлечения. Так что очень даже может быть, что литература на нас и закончится. Всё, что имело начало, должно иметь конец.

Губы Семёна Исаевича сложились в скептическую усмешку, повторяющую изгиб морщин на лбу, точно не один рот, а всё его лицо сморщилось от горечи и застыло в тоскливой гримасе.

— Ты мудр, как ребе, Исаич, и всё же не думаю, что ты прав. Знаешь, что я сделаю? Я напишу рассказ о тебе, последнем из семени Авраамова в наших широтах! А что? Роман закончен, заняться мне всё равно нечем. Вот тобой я и займусь. Давай-ка за это тяпнем.

— Тяпнуть-то можно, — охотно согласился Школьников, — а писать обо мне не нужно. Что обо мне писать? Я обыкновенный неудачник, упустивший за книгами свою жизнь. Обычная история. Когда-то у меня была девушка, давным-давно, ещё в прошлом веке уехала. Она мне на прощание так и сказала: все лучшие люди уезжают, остаются одни неудачники. Но тут я хотя бы неудачник вместе со всей страной, а там был бы один среди сплошных лучших людей и удачников. Я выбрал остаться. А теперь я и здесь один. Но самое смешное, что я от общей еврейской судьбы надеялся уйти — своей отдельной хотелось, — а теперь меня зовут в телевизор как последнего еврея. Неважно, что я лучший корректор в издательстве, а может, во всей Москве, это никому не интересно. И вкусы мои литературные, за всю жизнь выработанные, никому не нужны. В телеящике им только то, что я еврей, важно. Раз остался последним, изволь отдуваться за всех, кто уехал.

— Да, быть последним нелегко. Помнишь, как у Александра Сергеевича: «Несчастный друг! Среди новых поколений докучный гость и лишний, и чужой»?

Пушкинские слова, прочитанные Бусыгиным с надрывом, почти со слезой, послужили подходящим поводом разлить по-новой.

— Помню я, Пётр Андреевич, всё я помню.

— Опять Пётр Андреевич. Мы же договорились на «ты».

— Прости, прости. А можно, я пока буду на «ты», но по имени-отчеству? Мне так легче. А то всегда мне этот переход почему-то тяжело даётся.

— Конечно, можно, Сёма, о чём речь? — широко согласился Бусыгин.

В этот момент Школьников показался ему состарившимся подростком, младше его не на два, а по крайней мере на сорок два года, сутулым и сморщившимся.

— Не горюй, Сёма! — Бусыгин обнял Семёна Исаевича за плечи, другой рукой осторожно придерживая стоящую между ними бутылку. — Прорвёмся! Вот напишу я о тебе рассказ или повесть, сразу тебе полегче станет.

Школьников глубоко вздохнул, похоже, смиряясь с неизбежностью стать персонажем Бусыгина.

— Я ведь тоже мечтал настоящий роман написать, планы строил, даже набрасывал кое-что... Но как выйду на улицу, погляжу на людей, сразу думаю: что я могу им, таким на меня непохожим, таким разным, сказать? Кто я, чтобы они меня слушали? Я потому и читал столько, что каждая книга меня в собственных глазах поднимала. Когда читаю, я на всё вокруг взглядом автора смотрю, будто вся острота его зрения на время мне передаётся. Но потом книга кончается, и я снова съёживаюсь, надо скорей за новую браться. Вот и тебя когда читал, Пётр Андреевич, мне такие пространства открывались, такие дали! А в них такие люди, такие... Я не знаю, как ты это сумел, как всё это в тебе вместились?

Школьников поднял в недоумении руки, потом опустил левую в банку с капустой, взял щепоть, но, отправляя её в рот, промахнулся и просыпал на пиджак и на брюки. Не обратил на это ни малейшего внимания, так что Бусыгину, понявшему, что его новый друг совсем уже пьян, пришлось стряхивать с него капусту, пока Школьников говорил:

— Ведь ты же гений, Пётр Андреевич, просто-напросто обыкновенный гений! Спасибо тебе, дорогой, за всё спасибо!

Было не вполне понятно, благодарит Семён Исаевич за роман или за усилия по избавлению от капусты, но Бусыгину это было уже неважно.

— Ты знаешь, я сам иногда удивляюсь — неужели это я всё написал?! Как это у меня получилось? Неужто я и правда гений?

— Даже и не сомневайся, натуральный гений! Я как тебя сегодня в коридоре узнал, сразу понял: так гений и должен выглядеть. Смотри, Семён Исаич, запоминай! И мы тебя издадим, Пётр Андреевич, хоть мы за последние шесть лет ни одного романа не выпустили, — но твой мы издадим! Иначе я своими руками главреда задушу, если откажется.

Школьников воздел свои заметно трясущиеся худые руки со скрюченными для смертельной хватки пальцами, и Бусыгин подумал, что ведь и правда, если понадобится, задушит.

— Верю, Сёма, верю. Я тебе как себе верю. Литература не умерла! Не могла она умереть! Мы с тобой её реанимируем. Она ещё оживёт, ещё попляшет! Она у нас так попляшет... Давай, дорогой, ещё по одной за такое дело!

Между тем на скамейке напротив в компании молодых людей, похоже, произошёл конфликт. Одна из девушек вырвала из ушей другой наушники и принялась ей что-то

яростно говорить, слов слышно не было, а та, вместо того, чтобы отвечать, села на колени к парню, спиной к ней, и первая девушка оказалась вроде как лишней. Несколько минут она просидела, глядя перед собой, потом встала и пошла прочь. Когда проходила мимо скамейки, где выпивали Бусыгин со Школьниковым, резкий свет фар с улицы выхватил из темноты её искажённое обидой лицо с блеснувшими на глазах слезами, и Пётр Андреевич едва не задохнулся от его мгновенной злой красоты. Справился с дыханием и услышал, как Школьников громко шмыгнул носом и, сняв очки, принялся протирать их несвежим платком.

— Ты что, Семён Исаич?

Голое без очков, морщинистое лицо Школьника в тусклом освещении показалось ему влажным, будто вспотевшим.

— Жаль мне их... этих... — Школьников ещё пару раз шмыгнул и кивнул в направлении оставшейся на скамейке пары. — Как они будут дальше? Без книг... без литературы — это же всё равно, что без души! То есть душа, конечно, никуда не денется, но они же ничего о ней не узнают, сами себя не услышат, друг друга никогда не поймут! Что с ними будет?

— Не сердчай, Сёма, всё будет нормально. Ты только издай мою «Кровь и судьбу», и они её будут читать как миленькие. Кто ещё читать не разучился, прочтут. Там ведь вся наша страна, о которой они уже мало что знают, но наверняка чувствуют, что она была альтернативой всему... — Бусыгин махнул рукой в сторону пульсирующей за деревьями рекламы. — Вот этому всему. А молодым нужна альтернатива. Это нам, старикам, от неё уже мало проку. Ну ладно, давай-ка ещё разок вздрогнем.

После того как закончили бутылку, Бусыгин откинулся на спинку и низким глухим голосом негромко запел: «Степь да степь кругом...» Он не чувствовал себя пьяным, при желании мог бы выпить ещё столько же, и всё-таки душа просила пения, и Пётр Андреевич не видел причин ей в этом отказывать. Школьников, закрыв глаза, шевелил губами и раскачивал головой в такт песне, кажется, мысленно подпевая, а когда Пётру Андреевичу случалось забыть какое-нибудь слово, флегматично подсказывал. Он уже снова был весь увешан кислой капустой, и в благодарность за подсказки Бусыгин снимал с него по несколько капустных лапшинок.

Они могли бы так сидеть долго, но вдруг пение прервал пронзительный писк. Вырванный из блаженного забытья, Школьников принялся шевелить бровями, вглядываясь в Бусыгина, из которого этот писк раздавался. Тот выругался и, закатав рукав на левой руке, открыл запястье с усеянным мерцающими кнопками браслетом, испускавшим мерзкий звук. Пётр Андреевич стал наугад тыкать кнопки, одна из них должна была прекратить звук, но он никогда не помнил какая.

— Сын меня окольцевал этой дрянью, — объяснил он. — Она все показатели организма измеряет, и если что зашкаливает, сразу верещать начинает. Сказал, если не хочешь, чтобы инсульт или инфаркт тебя жажнул, носи, не снимай. Я и ношу. Сейчас мы её...

Он нашёл, наконец, нужную кнопку, и браслет затих.

— Ну что, Семён Исаич, по домам? А то меня супруга заждалась уже.

Школьников с готовностью закивал, подтверждая, что пора. Он весь ёжился и тёр рука об руку, похоже, успел застыть.

— Тебя-то ждёт кто-нибудь?

Семён Исаевич пожал плечами с таким видом, что сразу стало ясно, что вопрос не по адресу. Он будто вообще не понимал, как его кто-то может ждать.

— Ну ладно. Так когда мы с тобой в этот ресторан идём, где всё как раньше? Послезавтра?

— После-после-после... — Школьников сбился со счёта и начал снова: — После-после-после...

— Хорошо, Семёна, оставь. Потом созвонимся, ты мне скажешь. Вызываю такси? Но Школьников сделал отстраняющий жест.

— Не надо. Мне здесь близко.

— Не дойдёшь ведь. Ты вон уже весь какой. — Бусыгин снял с воротника Семёна Исаевича незамеченную прежде капусту.

Новый неопровержимый, почти царственный жест, отвергающий лишнюю заботу, и Семён Исаевич поднялся и пошёл к выходу из сквера. На ходу он пытался поддавать устилавшие землю сухие листья и от этого раскачивался ещё сильнее. Казалось, лёгкого порыва ветра достаточно, чтобы сбить его с ног, но каким-то чудом он не падал. По крайней мере, пока не исчез из вида в ноябрьской темноте.

— Прости, Исаич, не спишь?

Была половина второго ночи, Семён Исаевич сразу узнал Бусыгина. С тех пор, как они выпивали в сквере, прошли только сутки, и его голос постоянно звучал в ушах Школьниковых, будто и не расхолись. Мысленно он продолжал разговаривать с Петром Андреевичем, так что не удивился позднему звонку.

— Прости ещё раз, меня тут такая мысль осенила, что я просто не могу её в себе держать. Подумал, вдруг ты ещё не лёг. Скажи, пожалуйста, давно вам последний раз роман предлагали? Ты говорил, что больше не издаёте, а предлагать предлагают?

— Года три назад ещё, кажется, приносили. До писателей же медленно доходит, что их читатель кончился. Они знай себе пишут и пишут, несут и несут. Но постепенно и они сообразили, что никому их романы больше не нужны, надо за полезные книги браться.

— Получается, что я последний, а, Семён Исаевич? Последний настоящий писатель?

— Вполне возможно. Хотя данных Росстата по писателям я не видел, да и вряд ли их там всех до одного учли. Трудно вашего брата сосчитать. Некоторые ведь даже в союзы не вступают, сидят себе по домам да пишут. Так что, может, в какой медвежьей дыре ещё кто и остался.

— Нет, Исаич, я чувствую, я последний. Прямо нутром это ощущаю. Я — как последний мамонт, а вокруг вечная мерзлота сжимается. Всё тесней и теснее. Вся эта нынешняя жизнь и есть вечная мерзлота, тепла в ней совсем не осталось. Поэтому и не понимает меня никто: ни жена никогда не понимала, ни друзья... Да и где они, эти друзья? Всех давно разнесло кого куда. Один ты, Исаич, меня понимаешь, потому что знаешь, каково это — последним быть. Тебя ж как зеницу ока беречь нужно! Если я последний настоящий писатель, то ты последний бескорыстный читатель! Кто б ещё мои полторы тысячи страниц безо всякой для себя пользы одолевать взялся? Сейчас ведь всем только польза нужна, только полезные книги им подавай, без пользы и пяти страниц не прочтут!

— Да это же удовольствие было, Пётр Андреевич, твой роман читать — полторы тыщи страниц чистого наслаждения! Какая ещё нужна польза?

— Спасибо, Исаич, спасибо, душа-человек! Что бы я без тебя делал? Даже представить боюсь, что бы было, если б мой роман к тебе не попал! Так бы и вернули, наверное, не прочитав. А может, тянули бы резину, пока я бы вконец не отчаялся.

— Не мог он ко мне не попасть. Это было предопределено. Меня для таких особых случаев в издательстве и держат. А то, может, давно бы уволили уже с моими устарелыми вкусами.

— Именно: предопределено! Всё происходит как надо. А это залог успеха! Давай за это тяпнем на сон грядущий?

— Да нет, я пас. Мне тут и налить нечего.

— Что ж ты так? Всегда запас нужно иметь на всякий случай. У меня всегда припасено. Ладно, тогда я один. Только повтори ещё раз, как ты сказал? Про наслаждение?

— Полторы тысячи страниц чистого наслаждения?

— Да! Ну, за тебя! И за нас — последних! И за чистое наслаждение!

Зал ресторана был большим и светлым, полным народа, и всё равно странным образом уютным. Этот уют создавался обилием давно вышедших из употребления допотопных вещей в интерьере, часто кто-то поднимался и шёл разглядывать какую-нибудь из них, а потом взахлёб объяснял соседям по столу, что точно такой же ковёр (видеомагнитофон, сервиз, радиоприёмник, шкаф или телевизор) был в квартире его родителей, он помнит его с детства. От этого, ещё и подогретые выпитым, люди таяли в атмосфере умиления, на некоторых женских лицах можно было заметить слёзы, а мужчины, даже совсем напившись, не буянили, а уходили в себя и тихо сидели, понуриив головы или уронив их на руки. Пётр Андреевич тоже не удержался и, заметив на полке книжного шкафа корешок одной из своих ранних книг, пошёл рассмотреть поближе, но его ждало разочарование — шкаф был настоящим, но книг на полках не было, только объёмные фотографии. Очевидно, создатели интерьера не рассчитывали, что кому-то захочется взять книгу в руки. Бусыгина разозлил такой дешёвый обман, и дальше всё уже было не по нему. Он наотрез отказывался принимать воскрешённое здесь прошлое за чистую монету и растворяться в общем умилении.

— Как может быть двадцать сортов пельменей, — негодовал он, листая меню, — когда пельмени могут быть только одни-единственные? По ГОСТу! Остальное от лукавого, — подделка и фальшивка!

Заказали пиво, яйца под майонезом и вожделенные Петром Андреевичем сосиски с горошком, но они его не убедили.

— Не то, не то! Не тот вкус! Что, думаешь, я вкуса настоящих сосисок не помню? И пиво не такое. Может, и лучше, но ведь не такое же! Кого они хотят обмануть?

Школьников только пожимал плечами и улыбался, будто извиняясь, как если бы в подделке была и доля его вины. Бусыгин достал из кармана фляжку и щедро плеснул в пиво водки.

— Так-то будет лучше.

— Вот это по-нашему, — согласился Школьников. — Это по-настоящему.

— Понимаешь, Исаич, у меня абсолютное чутьё на фальшь. Я сразу её чую, ничего с собой поделатать не могу. И рад бы поверить, согласиться, но не выходит. А сейчас ведь весь мир подделка, настоящего в нём почти ничего не осталось. Я диву даюсь, когда всё успели подменить? Вроде вчера ещё всё было.

— Твой роман, Пётр Андреевич, настоящий, — с пьяной убеждённости сказал Школьников. — Руку могу дать на отсечение.

— Не нужна мне твоя рука, оставь себе. Я и сам знаю, что если где настоящее ещё осталось, то это в моей «Крови и судьбе».

— Точно! Сто процентов! Я когда читал, поражался, как ты всё это до самых последних деталей запомнил? Я ведь в 91-м тоже, как твои герои, на баррикаде стоял! Что, не веришь?

— Ну почему ты решил, что я тебе не верю?

— Да потому что я сам себе едва верю! Но это ведь было! Было! Сперва мы все вместе её строили, а потом стояли на ней и ждали, что ОМОН разбирать придёт или что танки пойдут. Танков больше всего боялись. Что мы могли с арматурой против танков? На что мы рассчитывали?

— В самом деле, Исаич, на что?

— Не знаю. Какая-то всеобщая эйфория была! Но одно я точно знаю — это был единственный в моей жизни момент, когда я был не один. Потом уже всегда один. А тогда вся наша тревога, страх, ожидание, надежда были общими. Только тогда я среди своих был! Больше это никогда не повторялось.

— Видишь, Исаич, а ты от истории отказываешься. Кошмар, говоришь, от которого пытаюсь избавиться. А поучаствовал в истории — и уже не один, сразу среди своих оказался. Может, если бы ты и дальше от неё не прятался, всегда бы со своими был.

Школьников задумался и как-то пригорюнился, подпёр голову рукой и, подняв на вилке половину яйца, принялся её изучать, будто надеялся обнаружить скрытый смысл.

— Нет, не по мне это. Недавно по случаю 40-летия тех событий показывали по телеку старую запись путчистов. Я смотрел на них и видел стариков с трясушимися руками, едва живых, что-то там едва лепечущих... Стариков, вставших против течения истории, против неотвратимой лавины... А перед ними зал, полный молодой шпаны, каким и я тогда был, и молодая красивая тёлка их спрашивает: «Вы понимаете, что совершаете государственный переворот?» А они понимают, что жить им всего ничего осталось. Они вообще всё уже понимают. И вот теперь, когда я по возрасту гораздо ближе к ним, чем к себе тогдашнему, я думаю: может, и не стоило на ту баррикаду лезть? Все лезли, и я со всеми. Что я тогда мог понимать? Мне же всего шестнадцать лет было.

Проходившая мимо официантка с подносом пива подмигнула на ходу не то Бусыгину, не то загрустившему Школьникову. Она была заметно старше большинства других, сновавших по залу, на вид совсем девочек.

— Видал? Как думаешь, это она от себя лично подмигнула или потому что официанткам так вообще полагается? Для завершения образа?

— Не знаю, — сокрушённо развёл руками Семён Исаевич. — Душа официантки для меня за семью печатями.

— А мы сейчас узнаем.

Пётр Андреевич подозвал её, заказал ещё пива и сосисок, потом спросил, как её зовут и не согласится ли она хоть недолго передохнуть от своей тяжёлой работы за их столиком. Официантку звали Тамара, она сказала, что сейчас никак не может к ним присоединиться, но через полчаса её смена заканчивается и, если они ещё не уйдут, она с радостью примет предложение таких интересных мужчин. Через полчаса Бусыгин со Школьниковым прикончили ещё одну порцию пива с водкой, и вскоре рядом с ними из гулкого тумана, в который начал сливаться для них зал ресторана, возникла Тамара. Она успела переодеться во что-то розовое и открытое и была в этом розовом и открытом так хороша, что удивление в больших глазах Школьникова, вызванное тем, что он успел начисто забыть, кто она такая, сменилось испугом. Пока он изо всех сил шевелил бровями, фокусируя на ней взгляд, Бусыгин взялся его представить.

— Вам выпала, Тамара, редкостная удача познакомиться с удивительным человеком. Рекомендую: Семён Исаевич Школьников, последний из сыновей Сиона в Москве и во всей России!

— А это... а это... — Школьников хотел в ответ откомендовать Бусыгина, но не мог найти подходящего эпитета, всякий казался ему недостаточным, — великий... грандиозный... потрясающий писатель!

Не зная, верить ей или нет, Тамара переводила взгляд с одного на другого и на всякий случай рассмеялась.

— Это лишнее, Сёма, — скромно улыбнулся Пётр Андреевич. — Достаточно сказать «настоящий писатель». Вероятно, последний настоящий писатель. Вон моя старая книжка стоит, — кивнул он в сторону книжного шкафа. — Только это подделка, как и всё тут у вас. Фотография книги, а не она сама.

— Ну почему же всё подделка? — обиделась Тамара. — Совсем не всё. Такой телевизор у моих родителей был, я по нему всё детство сказки смотрела. Клянусь, он настоящий!

Большая слеза выкатилась из её глаза и упала в заказанный ей Бусыгиным бокал вина. Она ещё продолжала всхлипывать, когда для неё принесли деликатесное мясное блюдо со сложной подливкой, и только пережёвывание антрекота её успокоило. От слёз Тамарина красота слегка отсырела, кое-где подтекла, сделалась проще и как будто доступнее.

— Самое настоящее здесь — это вы, Тамара. — Пётр Андреевич наклонился и поцеловал ей руку.

Школьников попытался последовать его примеру, но промахнулся и клюнул своим орлиным носом пивную кружку. От столкновения с кружкой с него чуть не упали очки, но в последний момент он успел подхватить их и очень тщательно, морщась от усердия, закрепил на переносице.

— А можно мне спросить, для чего последнему из... Как вы сказали?

— Сыновей Сиона, — подсказал Пётр Андреевич.

— Да, для чего вам ватка в ухе?

— Понимаете, в чём дело... у меня прободение барабанной перепонки. Без этой ватки я слишком всё слышу. — Семён Исаевич двумя пальцами осторожно извлёк ватку. — Слышу разговоры за всеми столами, близкими и самыми дальними, голоса на кухне, машины на улице. Вот сейчас над нами аэротакси пролетает... А ещё выше самолёт. Слышу, как бьётся ваше сердце, Тамара. Это большое сердце, оно бьётся гулко. А Пётр Андреевич вообще весь гудит, как турбина. Похоже, что ваши сердца бьются наперебой, будто хотят достучаться друг до друга, но вы их не слышите. А я всё слышу, но это тяжело. У меня от этого голова распухает...

Школьников мучительно улыбнулся и поместил ватку обратно в ухо. Пётр Андреевич взял Тамарину руку и приложил к своей груди.

— Слышите, Тамара? Моё сердце хочет до вас достучаться.

Тамара не отняла руки, её глаза удивлённо расширились.

— Слышишь, Тамара?

Она кивнула:

— В самом деле, как турбина.

— Это моё сердце тяжело дышит от усталости. Врачи говорят, что это шумы в сердце, стенокардия и так далее, но я-то знаю: оно устало от одиночества! Я одинок, как единственный глаз у идущего к слепым человека! Знаешь, кто сказал?

Тамара закивала, не сводя глаз с Бусыгина, но оказалось, что её кивки означали лишь готовность к сочувствию:

— Вы?

— Я бы обязательно так сказал, если бы задолго до меня этого не написал Маяковский.

— Я так и подумала. Маяковский.

— А что же не сказала?

— Не знаю.

Когда всё было допито и съедено, Школьников вышел по нужде и Пётр Андреевич, тяжело поднявшись, отправился за ним следом. Пока тот мыл руки, Бусыгин подошёл сзади.

— Слушай, Исаич, а поехали к тебе? Тут больше делать нечего, скоро они закроются. С Тамарой я уже договорился, она согласна. Поехали, а? Я бы вас к себе пригласил, но у меня дома супруга, это не вариант, сам понимаешь...

Школьников начал было бормотать, что у него не убрано, ему неудобно, но подняв глаза к зеркалу над раковиной, увидел нависшую над ним фигуру Петра Андреевича с раскрасневшимся от выпитого лицом громовержца и понял, что возражать бесполезно. Всё будет так, как решил Бусыгин, иначе быть просто не может. Ему остаётся только согласиться.

Они уже вызвали такси, когда с левой руки Бусыгина раздался знакомый Школьникову писк. На этот раз он не хотел прекращаться, сколько Пётр Андреевич, рыча от ярости, не жал на кнопки, и не унимался до тех пор, пока Бусыгин, вконец рассвирепев, не шархнул браслетом о стол.

Семён Исаевич жил в небольшой однокомнатной квартире, заваленной книгами так, что её и без того скромные размеры уменьшились в два, если не в три раза. В крошечной прихожей было не развернуться и не раздеться втроём без того, чтобы не тереться друг о друга, поэтому Бусыгин с официанткой вошли в комнату совсем сблизившимися, обменявшись прикосновениями, после которых слова уже не нужны. Вертевшийся между ними Школьников проскользнул первым и принялся поспешно убирать раскиданную по стульям и стопкам книг одежду, задвигать подальше от глаз пузырьки с лекарствами и тарелки с засохшей едой, торопясь скрыть следы своего обитания здесь, будто в самой его одинокой жизни было что-то постыдное, что не должны были видеть посторонние. Пока Пётр Андреевич распаковывал купленные по дороге напитки и припасы, Тамара осматривалась среди книг почти испуганно. Вероятно, она никогда не видела их в таком количестве. Она осторожно потрогала несколько корешков, но снять их с полки не решилась. Вместо этого открыла лежавший сверху альбом с фотографиями античной скульптуры, полуобнажённых богинь и нимф, дриад и вакханок. Но не успела перелистать пары страниц, как Школьников вырвал альбом у неё из рук и задвинул на самую верхнюю полку, до какой смог достать. Поняв, что заглянула туда, куда ей не полагалось, Тамара с виноватым видом протянула Семёну Исаевичу забытые им на спинке кресла носки. Он схватил их и, не придумав, куда деть, яростно скомкал и засунул в карман.

— Не суетись, Сёма, — постарался успокоить его Пётр Андреевич. — У тебя тут хорошо. Лучше и не надо. Садись к столу, тяпнем.

Школьников послушно сел. Выпили, деловито закусили, и в комнате сделалось уютно, разве что немного тесновато. Всё-таки Тамара и особенно Пётр Андреевич были слишком крупными для небольшого пространства, остающегося в жилище Школьниковова свободным от книг. В сравнении с Бусыгиным комната Семёна Исаевича выглядела почти игрушечной, а после первой рюмки ему даже показалось, что его гость обладает такой мощью подлинности, что рядом с ним всё остальное, не исключая его любимых книг, уменьшается и съёживается, превращаясь в рисованный задник. Поднимая тост за Тамару и её красоту, которая непременно спасёт если не мир, то его,

Бусыгина, а вместе с ним и литературу, что, по сути, то же самое, что спасти мир, так как без литературы ему не жить, Пётр Андреевич воздвигся над столом головой под потолок, заслонив лампу и угрожающе раскачиваясь. Школьников смотрел на него снизу вверх, втянув шею в плечи. Потом Тамара заметила стойку с компактными и потребовала музыки. Её желание было исполнено, и две большие фигуры принялись тяжело переминаться посреди комнаты в медленном танце. Тамарина голова лежала на груди Петра Андреевича, прижимаясь к ней ухом, точно вслушивалась в гул его сердца. Когда Тамара вышла по своей женской надобности, Бусыгин наклонился к Школьникову.

— Слушай, Исаич, хочу тебя попросить об одном одолжении.

Тот кивнул, демонстрируя, что заранее согласен.

— Можешь погулять пару часов где-нибудь?

— Запросто. И даже не пару часов.

Уже из прихожей, торопливо одевшись, Школьников уточнил:

— Приду утром. Так что можете не торопиться.

Когда утром, переночевав в гостинице, Семён Исаевич открыл дверь, из комнаты до него донёлся низкий рычащий звук, принятый им за храп Бусыгина, но пока он раздевался, рык сменился стоном, и стало ясно, что происходит неладное. Он обнаружил Петра Андреевича возле кровати на полу с потным белым лицом, с прижатыми к груди руками.

— Больно мне! — хрипел Бусыгин. — Тесно! Воздуха нет. Открой окно, Сёма.

— Сейчас, сейчас. — Семён Исаевич торопливо открыл форточку, потом, видя, что этого мало, распахнул всё окно. — Что с тобой? Что случилось?

— Конец мне, Сёма. Грудь давит, дышать нечем. Наверное, сердце. Подыхаю.

— А где Тамара?

— Почём я знаю? Сбежала, пока я в отключке лежал. Может, решила, что я уже помер, незачем ей со мной возиться.

— Что же ты в «скорую» не позвонил, как очнулся?

— Телефон в плаще, Сёма. Мне до него никак не добраться. Я даже на кровать лечь не могу. Всё, это конец.

Пётр Андреевич говорил с трудом, слова вырывались из него с хрипом. Язык плохо его слушался, и некоторые слова были едва различимы.

— Сейчас вызову «скорую», всё будет в порядке, потерпи минутку. Видишь, каково оно в нашем возрасте с официантками связываться?

Школьников набрал номер «скорой», сказал адрес.

— Ну вот, через пять минут они приедут, может, через десять.

— Спасибо, Сёма, спасибо, душа-человек, — Бусыгин дотянулся до руки Семёна Исаевича и слабо её сжал. — Только я думаю, это напрасно. Всё к тому, что пора мне. Я своё дело сделал. Книга закончена, теперь можно и отдохнуть. Больше мне тут делать нечего.

— Да погоди ты умирать, Пётр Андреевич! Скоро врачи будут, в два счёта тебя починят! Сейчас и не таких выхаживают! С того света возвращают! И захочешь умереть, не дадут.

— Знаю, знаю... Теперь так просто отсюда не выберёшься. Может, и не стоило их вызывать. Дал бы ты мне спокойно уйти... Вот только очень больно в груди... Зачем это? И голова кружится. Куда-то ты уплываешь...

Влажные пальцы Петра Андреевича сильнее вцепились в ладонь Школьниковова.

— Здесь я, здесь. Никуда не уплыл. Потерпи. Приедет «скорая», вколет тебе обезболивающее, всё сразу пройдёт. Знаешь, какая у них теперь аппаратура? Мёртвого на ноги поставят. Кстати, обезболивающее и у меня где-то было...

Школьников хотел выйти на кухню, поискать лекарство, но Пётр Андреевич так сжал его руку, точно боялся, что умрёт, как только останется один.

— Аппаратура... техника... роботы... А душа из мира уходит! Уходит душа! Что нам делать в мире без души? Скажи, зачем нам такой мир? А мы ему зачем? Скажи мне, Семё, может, ты знаешь?

Зрачки Бусыгина напряжённо дрожали, удерживая уплывающего Школьниковова в поле зрения. Что бы он ни говорил о том, что ему пора, глаза на обескровленном лице с провисшей кожей и проступившими под ней костями черепа хотели жить и отчаянно метались в глазницах.

— Откуда мне знать? Ты у нас писатель или я? Тебе и знать, а моё дело маленькое...

— Твоё дело теперь самое главное! Ты должен сделать так, чтобы «Кровь и судьба» была издана. Понял, Семё? Это моё тебе завещание.

— Подожди ты с завещанием, Пётр Андреевич! Не торопись! Успеешь ещё завещать и перезавещать. Всё ещё успеешь.

В подтверждение слов Семёна Исаевича раздался звонок в дверь.

— Вот и «скорая», а ты умирать собрался.

Школьников высвободил руку из разжавшихся пальцев Бусыгина и пошёл открывать врачам.

Через полторы недели Семён Исаевич навестил Петра Андреевича в больнице. Незадолго перед Школьниковым к Бусыгину приходила жена, и теперь он сидел в постели, обложенный её гостинцами, методично уплетая варёный картофель и колбасу, сыр и творог, запивал их чаем и громко при этом хлюпал, не стесняясь двух других соседей по палате. Он явно уже привык к простому больничному быту, где стесняться не принято. Выглядел Пётр Андреевич не ахти: лицо исхудало, обвисло, под глазами набрякли мешки, так что если раньше он казался Школьникову немолодым, но ещё крепким мужчиной, то теперь перед ним был жадно жующий, усыпанный крошками старик. Не переставая жевать, он указал Семёну Исаевичу на свободный стул у постели, положил в тумбочку принесённые им мандарины, жестом предложил угощаться. Когда его рот, наконец, освободился, стал рассказывать об уходящих и возвращающихся болях, о больничных порядках, процедурах и уколах. Говорил Пётр Андреевич с усмешкой, призванной отделить его от этой однообразной тягомотины, но усмешка на обвисшем блёклом лице была не слишком убедительна, серая больничная тоска наложила на него свой отпечаток. И всё время, пока он говорил, между ними висел незаданный вопрос. Наконец, Бусыгин не выдержал:

— Что там ваш главред, вернулся из отпуска?

— Нет ещё, но уже скоро, — как можно убедительнее сказал Школьников и, заметив во взгляде Петра Андреевича недоверие, повторил, — скоро.

— Где он прохлаждается? Сколько можно прохлаждаться, когда всё катится в пропасть? Я это теперь ясно чувствую, Исаич: мир без души долго не протянет! Самоуничтожится! Я по ночам, когда сердце заходится, всё иначе вижу. Через боль многое по-другому ощущается. И тебя, Исаич, сейчас совсем по-другому понимаю. По-настоящему.

— Да что во мне понимать, Пётр Андреевич? Что во мне непонятного?

— Не скажи, Исаич. — Бусыгин прищурился, будто, глядя на Школьникова, видел сквозь него. — Когда человек так один, как ты, это не просто... Знаешь, боль бывает острая, её легко таблеткой снять, кеторолом или ещё чем, а бывает, особенно ночами, тянет и тянет, ноет и ноет... И никакое обезболивающее не поможет, и никто здесь не придёт, зови не зови. С такой болью ты всегда один на один. Тогда и понимаешь, что такое настоящее одиночество. Я в такие ночи всегда о тебе думаю.

— Ну, спасибо, Петя, — Семён Исаевич был так тронут, что впервые забыл про отчество. — Спасибо, но ты на мой счёт преувеличиваешь. Я ведь привык давно. Я бы и не смог, наверное, иначе. Со своими мне всегда тесно было, больно они на меня похожи. Не все, конечно, но многие: народ Книги, сам понимаешь. Теперь его и вовсе тут не осталось. А другие и есть другие, то есть чужие. Так что мне нормально, иначе, я думаю, и быть не могло.

— Кто знает, Сёма, кто знает. Но я ещё напишу о тебе, вот только выберусь отсюда и напишу. А знаешь, мне тут предложили «Кровь и судьбу» в сценарий переделать — хотят фильм по моему роману снимать! Представляешь?!

— Отличная, мне кажется, мысль, — неуверенно предположил Школьников. — Кому это она в голову пришла?

— А вот у Сергея Петровича сын режиссёр. — Бусыгин кивнул в сторону скрытого за газетой соседа справа. Тот вопросительно выглянул из-за газетного листа, и Пётр Андреевич подтвердил: — О вас говорю, о вас. Точнее, о вашем сыне. ВГИК окончил, пару криминальных сериалов уже снял. Мой роман за трое суток прочитал, не отрываясь. Теперь хочет из него тоже сериал сделать.

— Ты, надеюсь, согласен?

— Ещё чего! — Бусыгин так возмущённо встряхнул головой, что заходили ходуном провисшие щёки. — За кого ты меня, Исаич, принимаешь? А стиль, над которым я столько бился, по десять раз каждую страницу переписывая?! Мои метафоры, мой язык, мой ритм, мои мысли, наконец! Моя философия! Всё пойдёт в корзину. В кино всему этому места нет, оно же плоское, как ладонь. Тем более сериал, Сёма! Я же писал по молодости сценарии, я знаю, что им в кино нужно: голый сюжет и диалоги, не книга, а её скелет! Собственными руками ободрать свой главный роман до скелета — ну уж нет!

Сосед справа громко зашуршал газетой, без слов демонстрируя своё несогласие. Укрытый газетой от гнева Бусыгина, он издавал из-за неё разные звуки, комментируя ими разговор, происходивший без его участия: покашливал, хмыкал, кряхтел, возмущённо скрипел пружинами матраса. Наконец, не выдержал.

— Между прочим, и «Войну и мир» экранизировали, и «Братьев Карамазовых»! Не по одному разу! И ничего!

— Вот именно — ничего! — парировал Бусыгин. — Пусть сначала издадут как полагается, целиком и без купюр, а потом уж пусть что хотят делают, хоть сериал снимают, хоть балет ставят! Но сперва должна книга выйти, такая, как я написал!

Сергей Петрович вновь скрылся за газетой, недовольно пробурчав что-то вроде:

— Как знаете, ваше дело. Было бы предложено.

На кровати слева лежал человек, отвернувшийся к стене, с головой укрывшись одеялом. То ли пытался спать, и голоса ему мешали, то ли просто никого не хотел видеть и слышать. Из-под одеяла видна была прядь седых волос, а снизу выглядывала коричневая пятка, не подававшая признаков жизни. «А может, он уже того? — подумалось непривычному к больничной обстановке Школьникову, — умер?»

— Он вообще живой? — спросил Семён Исаевич у Бусыгина.

— Живой, что ему сделается. А может, и неживой. Кто его знает? Хочешь узнать — дёрни его за пятку, сразу поймёшь. Он, правда, малость не в себе был, так что за реакцию я не отвечаю.

Пятка оставалась неподвижной — человек под одеялом явно не слышал того, что о нём говорилось. Школьникову сделалось не по себе от возможной близости смерти. В палате стоял странный запах: сквозь аромат дезодоранта пробивалась не сильная, но отчётливая вонь не то пота, не то слежавшейся подгнивающей кожи. Школьникову казалось, что яснее всего этот запах доносится слева, от спрятавшегося под одеялом больного. Может, так и пахнет оставленное душой тело, думал он и старался не глядеть в ту сторону, но взгляд сам собой соскальзывал туда, неодолимо притягивался смертью. Зато Петра Андреевича запах совсем не смущал, даже не уменьшал аппетита. Достав из тумбочки апельсин, он предложил его Школьникову, а когда тот отказался, деловито очистил и впился, причмокивая, в сочную мякоть.

Эта коричневая торчащая из-под одеяла пятка долго не шла у Семёна Исаевича из головы. Особенно навязчиво вспоминалась она вечерами, когда, придя с работы, он сидел у окна с книгой и, забыв о ней, неотрывно глядел в рано наступившую ноябрьскую тьму, шевелящую едва различимыми в ней ветками чёрных деревьев. Или когда, уже раздевшись перед тем как лечь в постель, замечал в зеркале или в том же ночном окне отражение своего хлипкого тела в трусах и майке и против воли представлял его накрытым с головой одеялом на больничной койке, с торчащей наружу пяткой. Ведь так оно, скорее всего, и будет, никуда не денешься. Ему становилось мучительно стыдно за своё жалкое голое тело перед людьми, которым придётся с ним возиться, перекладывать с места на место, вскрывать, чтобы установить причину смерти, копаться в нём, потом зашивать снова... Одно утешение, что сам он этого уже не увидит. Но всё равно стыдно, стыдно! Семён Исаевич застывал на краю постели, тёр ладонями колени, иногда грудь или плечи, будто жалел их и хотел утешить. Бывало, что, передумав лечь, брёл на кухню, чтобы пожевать что-нибудь перед сном. Укладывался он обычно поздно, часам к двум. В такое время, думалось ему, в больнице, где лежит Пётр Андреевич, давно погасили свет, и если Бусыгина снова мучают его ночные боли, то, как сам сказал, он думает сейчас о нём, о Школьникове. Эта мысль удивляла и поддерживала Семёна Исаевича, как будто даже расширяла пространство крошечной квартиры, раскрывая его в сырые дали ноябрьской ночи, где на другом конце города большой и несомненный писатель помнил о нём, видел его своим мысленным взором. Вот только что ему делать с бусыгинским романом, который вернувшийся из отпуска главред наотрез отказался печатать, а у Школьникова не хватило смелости сказать об этом Петру Андреевичу? Больно плохо он выглядел, мог ведь и не пережить. Сперва главред почти поддался на уверения Школьникова, сказал, что поднимет вопрос на собрании акционеров издательства, но оттуда пришёл с категорическим отказом: «Романов мы больше не печатаем: что кончено, то кончено. Мы коммерческое издательство, а не благотворительная контора. Пусть публикует за свой счёт». Семён Исаевич понял, что ничего не выйдет. Главного редактора он ещё смог бы переубедить, но против собрания акционеров был бессилён. И рано или поздно, сколько ни откладывай, придётся рассказать об этом Бусыгину.

В следующий раз Семён Исаевич пришёл в больницу, когда Бусыгин уже готовился к выписке и находился поэтому в приподнятом и тревожном настроении.

— Прижился я тут, — объяснил он Школьникову, — привык. Когда врачи рядом, оно спокойнее: в случае чего помереть не дадут. Но говорят, всё, полежал и хватит, дальше домой иди долечиваться.

На кровати слева сидел с планшетом нестарый ещё темноволосый мужчина, очевидно, сменивший прежнего соседа, прятанного под одеялом. Семён Исаевич хотел спросить, какова судьба обладателя коричневой пятки, выписался он или всё-таки умер, но передумал. Какое ему, в сущности, дело? Любые вопросы выглядели уходом от главного, ответа на который ждал от него Пётр Андреевич.

— Я всё, что мог, сделал, Петя... — сказал Школьников, и Бусыгин сразу всё понял, отвернулся к окну. Его губы немо и яростно зашевелились на опустевшем лице. Больше можно было уже ничего не говорить, но Школьников продолжал, чувствуя, как с каждой фразой нарастает напрасность его слов, как перестают они что-либо значить:

— Главреда я практически убедил, он уже готов был издать, но над ним же ещё директор, потом собрание акционеров, а это всё люди, которым плевать на литературу, им важна только прибыль, только деньги! Больше ничего их всерьёз не интересует.

Пётр Андреевич продолжал молча жевать губами, переваривая поражение.

— Главред сказал, пусть печатает на свои. А ведь это же дельная мысль, Петя, правильная мысль. Пруст всё на свои деньги издавал, и Кьеркегор, и даже Виктор Шкловский поначалу. Многие великие, прежде чем мир их понял и признал, издавались за свой счёт. Ничего в этом стыдного нет, даже наоборот...

Бусыгин перевёл взгляд от окна на Школькова. Взгляд этот был нехорошим. В левой руке он сжимал один из принесённых Семёном Исаевичем мандаринов и стиснул его так, что по пальцам потёк оранжевый сок.

— Да что ты мне со своим Прустом! Что ты меня учишь?! Думаешь, раз ты своего Пруста от доски до доски прочёл, все теперь тебе ноги целовать должны?! Я ж тебя насквозь вижу! Ты ж потому и не уехал, чтобы всех здесь поучать! Там-то умников и без тебя хватает, там тебе поучать не дадут, а здесь пожалуйста, здесь все уши развесят, только научи нас, Сёма, как жить, как книги издавать, как баб еть! Мы же тут тёмные, без тебя совсем пропадём. Даже запятые в своих книгах правильно поставить не умеем, один ты у нас знаешь, куда их втыкать. Ты ж тут хранитель языка, без тебя его сохранить некому!

На морщинистом лбу Семёна Исаевича заходили от волнения кустистые брови, но он ничего не сказал.

— Я тебя раскусил, Сёма! Дезертир ты, вот ты кто! Думаешь, за своими книжками от истории спрятаться. А здесь тебе прятаться легче, потому что история не твоя и тебе до неё дела нет. Только вряд ли у тебя это получится. Тут история такая, что возьмёт тебя за кадык раньше, чем ты пикнуть успеешь. А обо мне не беспокойся. На нашем сраном издательстве свет клином не сошёлся. Я ещё найду, где меня с распростёртыми объятиями встретят. Я у себя на родине не пропаду!

— Зря ты это, Пётр Андреевич. Напрасно. Я ж думал квартиру свою продать, если тебе денег на издание не хватит, а ты... Смотри, сок у тебя на штаны течёт.

Бусыгин увидел, что сок раздавленного мандарина стекает с руки на его тренировочные, образовав на них большое тёмное пятно. Выругался и вышел в туалет приводить себя в порядок. Пока он там возился, Школьников попросился с соседом справа Сергеем Петровичем, как и в прошлый раз скрывшимся за газетой, на всякий случай извинился, ещё немного помялся, пожал плечами и ушёл.

— Прости, Исаич, не спишь?

Молчание в трубке.

— Не слышу, спишь, нет?

— Сплю.

— А, ну спи, спи. Только ты это... извини меня. Погорячился я малость. Наговорил тебе всякого... Не принимай близко к сердцу.

Молчание.

— Не примешь? Ты пойми, полжизни я этот роман писал, а ты мне: издавай на свои. Ну как тут было не сорваться?

— Понимаю.

— Понимаешь? Ну, слава Богу. Я уж думал, всё теперь, обида навсегда. А ты ж мне жизнь ведь спас. Если бы ты тогда «скорую» не вызвал, я бы уже, наверное, червей кормил. А так из дома тебе звоню, жена к моему возвращению шей наготовила, как я люблю, наваристых. Приезжай в выходные, накормлю.

— Спасибо.

— Приедешь, нет? Ну ладно, до выходных ещё долго, ты подумай. А я, знаешь, согласился «Кровь и судьбу» в сценарий переделать, как ты советовал. Для начала. Говорят, как фильм пройдёт, следом сразу роман издадут, и после фильма его в десять раз лучше будут покупать. Говорят, теперь всегда так делают. Это правда?

— Случается.

— А в первой же серии, Исаич, я для тебя роль придумал. Рассказ про тебя писать у меня сейчас времени нет, нужно быстро сценарий сделать, но в нём я тебе место нашёл! Увидишь!

— Нет, ну зачем это? Никакого у меня нет желания смотреть, как кто-то меня на экране изображать будет! Да и что там изображать...

— Зачем кто-то? Сам себя и сыграешь. Лучше тебя никто тебя не сыграет. Прославишься, Сёма!

— Ну что ты, какой из меня актёр...

— Ты погоди, не спеши отказываться. Может, это твой шанс. И играть тебе ничего, кроме себя, не нужно. Роль небольшая, но запомнится. Вот закончу, пришлю тебе, сам убедишься. А пока не закончил, говорить не о чем. Ты вроде спать собирался? Тогда всё, не смею задерживать. Приятных сновидений!

— Ну как, прочитал? Понравилась роль?

— Не знаю...

— Что значит «не знаю»? Что тут не знать? Там же всё как ты рассказывал: баррикада в августе 91-го, где впервые встречаются мои герои, и один из её защитников толкает речь о свободе, о том, что настал переломный момент истории, мы не отступим, пусть танки, пусть ОМОН, пусть давят нас, пусть вяжут! И так далее, и тому подобное. Ты же читал, что я тебе пересказываю? Такую речугу тебе накатал, зрители плакать будут.

— Да не произносил я никаких речей. Мне же всего шестнадцать лет было.

— Сейчас-то тебе, извини меня, не шестнадцать. Сейчас-то тебе побольше. Можешь ты теперь пару исторических фраз из себя выдавить? Тем более что я их все за тебя написал?

— Нет, Петя, ни к чему это. Нечего мне больше на баррикаде делать. В одну реку нельзя дважды.

— Это в жизни нельзя, а в кино запросто. Они так всё восстановят, что ты забудешь, какой год на дворе. Просто провалишься в 91-й, в свою молодость!

Туда, где все свои. Ты же мне сам говорил, что это только там было и больше никогда уже не повторялось.

— Не повторялось и не повторится. Я даже фотографии свои терпеть не могу — сразу вижу, до чего определена моя судьба и никуда мне от неё не деться. А ты хочешь, чтобы я в кино снимался.

— И не я один этого хочу. Режиссёр тоже уверен, что лучше тебя никого для этой роли не найти. Я как ему сказал, что ты последний еврей, так он сразу загорелся: снимать тебя немедленно! Так что соглашайся, Сёма, не тяни резину, я всё равно от тебя не отстану. А деньги в кино такие платят, каких ты в своём издательстве в глаза не видел!

— Ну и ладно. Не видел и не надо...

— Ты за пятнадцать минут на экране больше заработаешь, чем за год своей корректурой! Но даже не в деньгах дело. Ты же войдёшь в историю, Сёма! История ведь не то, что было, а то, что осталось. Короче, как мы снимем, так и будет!

— Ну и пожалуйста, только без меня. Нечего мне в этой вашей истории делать. Один раз поучаствовал, хватит.

Это был не последний звонок. Пётр Андреевич был не тот человек, кто легко отступает от задуманного. Он звонил снова и снова, обычно поздно вечером, иногда за полночь, и убеждал, уламывал, соблазнял деньгами, славой, местом в истории, но даже разбуженный посреди ночи, едва ворочая языком, Школьников был неколебим: нет, нет и нет. Без меня. Упрямство Семёна Исаевича выводило Бусыгина из себя, казалось абсурдным капризом старого неудачника, он не видел для него никаких оснований, кроме окаменевшей привычки к своей незаметности в роли борца за правильную пунктуацию, фанатика запятых и кавычек. Привыкший добиваться своего не мытьём так катаньем, Пётр Андреевич не уставал расписывать масштабы проекта, размер выделенного под него бюджета («миллионы, Сёма, миллионы!»), толпы массовки, талант актёров, красоту актрис.

— Столько молодых шикарных баб в этом кино — ты, Исаич, даже представить себе не можешь! В вашем издательстве вам такие и не снились!

Но всё было напрасно. Школьников продолжал вежливо, но упорно отказываться. Однажды утром он проснулся от странного шелчка входной двери. Семён Исаевич не любил вставать рано и повернулся на другой бок, чтобы ещё поспать, но дверь комнаты отворилась, и в неё один за другим вошли трое широкоплечих мужчин, показавшихся сжавшемуся под одеялом Школьникову просто громадными, непонятно, как они вообще смогли поместиться среди его книжных завалов. Старший сказал, что они сотрудники сериала «Кровь и судьба», им велено доставить Семёна Исаевича на съёмочную площадку, никакие возражения не принимаются, так что одевайтесь поскорее, время поджимает.

Пока Семён Исаевич, с трудом попадая в рукава и штанины, натягивал одежду, непрошенные визитёры, деликатно от него отвернувшись, изучали книжные полки. Один принялся небрежно перелистывать большой том Бродского, другой погрузился в чтение Межирова. Старший предложил кофе, Семён Исаевич обрадовался возможности задержаться, но оказалось, что кофе уже готов и принесён в термосе.

— Горячий, — недовольно отодвинул от себя чашку Школьников.

Старший взял её двумя пальцами, с минуту дул на кофе и вернул Семёну Исаевичу. К кофе был предложен бутерброд с бужениной, от которого Школьников, поморщившись, отказался. Тогда старший развернул его и стал с нескрываемым удовольствием уплетать. Семён Исаевич пошёл умыться, но, не дойдя до ванной,

кинулся к входной двери и выскочил в тапках на лестничную площадку. В то же мгновение сотрудники сериала оказались рядом с ним и, пыхтя, завернули ему руки за спину. Один успел ловко поймать свалившиеся с носа Школьниковы очки.

— Семён Исаакович, ну что же вы? Мы вам доверяем, а вы... Не вынуждайте нас прибегать к грубому насилию.

— Я вам не Исаакович, а Исаевич! Уберите руки! Немедленно!

— Руки мы уберём, но вы смотрите... Ведите себя прилично.

Внизу у подъезда, распугав местных подвальных кошек медленно вращающимися лопастями, на выпавшем с утра снегу их поджидал вертолёт кинокомпании.

— Ну наконец-то, Семё, наконец-то! Все тебя уже заждались!

Распахнув объятия, Бусыгин бросился навстречу Школьникову, в то время как доставившие его сотрудники на два оборота заперли за ним дверь павильона. Следом за Петром Андреевичем подошёл скромный молодой человек со следами творческих терзаний на худом измождённом лице и представился режиссёром первого сезона. Протянув Школьникову листок со словами роли, он закричал в мегафон:

— Внимание, всем приготовиться! Скоро начинаем. Всем быть на своих местах!

Посередине павильона была сооружена громадная, в три человеческих роста, баррикада, построенная из перевернутого на бок троллейбуса, на который были навалены железные решётки, куски деревянных заборов, ржавые металлические щиты, пруты, доски, балки и даже одна опрокинутая телефонная будка. («Где они взяли телефонную будку?» — изумлённо подумал Семён Исаевич. Он уже лет сто нигде их не видел.) На верхней точке хребта этого ошестинившегося железом чудовища развевался на искусственном ветру красно-сине-белый флаг, а под ним, держась правой рукой за древко и слегка выставив вперёд ногу в сетчатом чулке, стояла девушка в чёрной кожаной мини-юбке с разрезом, мгновенно напомнившая Школьникову другую, когда-то сказавшую ему, что здесь остаются одни неудачники. Не то чтобы они были похожи, эта, уже достаточно известная молодая актриса, была по-киношному красива (хотя и та за прошедшие годы сделалась в памяти Семёна Исаевича неповторимо и неодолимо прекрасной), но дело было не во внешности, а в чём-то другом, общем для всех девушек девяностых, воплощённом в стоящей на баррикаде: в какой-то неистовой наивности. Она была в этих её сетчатых чулках, вздыбленной причёске, делающей её похожей на пуделя, в самой её вызывающе картинной позе — прямо «Свобода» Делакруа, осталось только расстегнуть кофту и выставить напоказ обнажённую грудь. Рядом с ней стояло с десятков парней в варёных джинсах, косухах с заклёпками или спортивных костюмах, всё их внимание было обращено на неё. Очевидно, это и была главная героиня романа, а теперь фильма, и Семён Исаевич помнил, что, если только Бусыгин не изменил сюжет, ничего хорошего её впереди не ждёт. Перед ней, глядя в её бессмысленно распластанные прекрасные глаза, ему нужно будет произнести свой текст о свободе и переломном моменте истории, написанный для него Бусыгиным. Нет, это было невозможно.

— Петь, извини, я же не помню наизусть этой твоей речи. Как я её буду говорить?

— Да какая разница, говори что хочешь, потом тебя озвучат, всё подгонят, теперь это в два счёта делается. Главное, сказать с выражением, чтобы по лицу было видно, что ты хоть сейчас готов под танки.

— Я не хочу под танки. Я, Петь, отлить хочу. Где у вас тут туалет?

— Подожди, сейчас тебе покажут.

Пётр Андреевич подозвал проходившего мимо осветителя и попросил проводить Школьникову. Тот повёл его по лабиринту коридоров в дальний конец павильона,

и, когда Семён Исаевич закрыл дверь уборной, сел ждать, чтобы проводить обратно. Ждал три минуты, пять минут. Потом неуверенно позвал:

— Вы скоро?

Ответа не последовало. Осветитель подёргал дверь, но она была заперта изнутри на шеколду. Через десять минут позвонил режиссёру, через пятнадцать тот уже стоял под дверью вместе с Петром Андреевичем и ещё несколькими членами команды.

— Сёма, открывай! — с трудом сдерживая ярость, потребовал Бусыгин. — Открывай сейчас же!

— Открывайте, Семён Исаевич, — вторил ему режиссёр.

— Лучше открой по-хорошему, — угрожающе произнёс один из доставивших Школьникова сотрудников.

Из туалета не доносилось ни звука. Тогда Бусыгин отступил на несколько шагов и ринулся на дверь. Удар получился такой силы, что она распахнулась, а Пётр Андреевич, пролетев сквозь туалетную комнату, впечатался в противоположную стену. Обе туалетные кабинки были пусты, но в стене, в которую влетел Бусыгин, была дверь в ещё одно помещение — небольшую подсобку, где был свален ненужный реквизит. Там было открыто окно, в него влетали и ложились на искусственную траву, бутафорский плющ и пластмассовые цветы крупные снежные хлопья. Подойдя к подоконнику, Пётр Андреевич увидел пересекающую заснеженный газон косую цепочку следов.

— Удрал-таки, гад! — услышал он за спиной голос привёзшего Семёна Исаевича сотрудника.

Пётр Андреевич, не оборачиваясь, понимал, что сотрудник стоит рядом, но голос его доносился как будто издалека. От резкого нерассчитанного усилия сердце билось тяжело и глухо, в ушах возник тонкий пронзительный писк, а в глазах потемнело. Пётр Андреевич прислонился к стене, постарался поглубже вдохнуть холодный законный воздух, но его не хватало. Там, за окном, всё, что он видел, обернулось своим негативом, потонуло в тёмном сиянии. Белое до рези в глазах снежное пространство, через которое ушёл Школьников, сделалось чёрным, утратило очертания, угрожающе приблизилось. Бусыгин поспешно достал из кармана упаковку с таблетками — теперь он с ними не расставался, — непослушными пальцами выковырял одну из оболочек, сунул под язык.

Скоро ему полегчало, писк в ушах постепенно стих, чёрное сияние погасло, и снег вновь стал белым. Но тошнотворный страх нового приступа остался, покрыв лицо и тело холодным потом.

— Догнать? — предложил сотрудник. — Ещё успеем. Не мог он далеко уйти.

— А может, без него начнём? — неуверенно предложил режиссёр. — Все остальные в сборе, можно снимать.

— А, чёрт с ним, — ещё слабым голосом согласился Бусыгин. — Пусть катится к трёпаной матери, раз он такой. Обойдёмся без него.

На цепочку белых на белом следов за окном, быстро её заметая, ложился свежий снег.

Пётр Андреевич, режиссёр и все остальные вернулись на съёмочную площадку, и съёмки первого сезона сериала «Кровь и судьба» начались.

Дмитрий Трибушный

Костры, невидимые миру

* * *

Что человечит человек?
Что человечит человека?
Куда-то шёл печальный снег
Из девятнадцатого века.

Толпились улицы, сады,
И думал путник одинокий:
«Как будто Божии Суды
Случились с нами раньше срока».

Все собираются и ждут
Предела, выверенности, края.
Я был в гостях, я нёс уют,
Прощальный свет другого рая.

Что человечит человек?
Я, как и все, спешил к ответу
Сквозь утренних равнин разбег,
Другой внутри другого света.

* * *

Оставить даром небо птицам.
Землёй надёжно укрыться,
Как первозданной тишиной
И всё оставшееся время
Внутри, наедине со всеми,
Смотреть, как прорастает семя,
Зачем-то названное мной.

Трибушный Дмитрий Олегович — священник, поэт. Родился в 1975 году в Донецке. В 1997 году окончил филологический факультет Донецкого национального университета, в 2002 году — Одесскую духовную семинарию. Автор шести книг стихов, в том числе «В пространстве, предназначенном для рая» (Донецк, 2023) и многочисленных исследований, посвящённых богословию, религиозной философии, истории старчества. Живёт в Донецке.

* * *

Схиархимандриту Гавриилу (Стародубу)

Переплелись дороги узкие,
И все ведут к иному Риму.
Хвалю вас, стихотворцы русские,
Костры, невидимые миру.

У нас морока, околесица,
Распутица и раздорожье,
А вы наверх по горней лестнице
Взбираетесь неосторожно.

И мы, пожалуй успокоимся,
И всё Создателем простится,
А вас и там запишут в воинство,
Святой Руси святые птицы.

Донецкий Псалтырь *Псалом 1*

Боже Авраама Исаака Иакова
Господи Гомера Данте и Маркеса
Отверзающий уста рабу Своему Рильке
Вслушивающийся в тревожные медитации Малера
Умирающий ныне на бульваре Пушкина
Закрывающий Собою мишени на бульваре Шевченко
Огради улицы Шекспира и Гейне
От снарядов изготовленных в Германии и Чехии

Псалом 2

Боже Авраама Исаака Иакова
Сосчитавший звёзды волны
И дни нашего жертвоприношения
Воскреси Господи раба Твоего Пифагора
Воздвигни из праха ученика Твоего Гильберта
Посвяти тех кто собирается стать совестью нации
В Твою священную нумерологию
Объясни неофитам что восемь знак бесконечности
Бесконечной совести распятой в четырнадцатом
А не с опозданием на восемь лет

* * *

Кто-то же должен
Принять эту тьму и тяжесть.
И Господь приходит за надеждой
К Иову:
«Может быть, ты
Не потребуешь объяснений,
Не будешь задавать вопросы,
Принимая эту тьму и тяжесть —
Мою любовь?»

Денис Колчин

Позвоните майору Кебедову

Рассказ

1

Степь здесь сухая, вся в солончаках. Сушь и пыль, сквозь которые пробивается редкая трава, тянутся на восток, до самого синего моря. Только в стороне, в пойме Терека, покрытой сетками каналов и усеянной прудами, по глазам лупит буйство зелени — садов, пастбищ и огородов, окружающих многочисленные посёлки, выросшие на местах кутанных хозяйств. В старину горцы арендовали там у кумыков земли для летнего выпаса скота, возводя пастушьи временки. Из тех временок и народились новые, нигде не учтённые аулы.

С юга на север край пересекает дорога. Она стартует свороткой с федеральной трассы около Хасавюрта, ползёт мимо Бабаюрта и исчезает далеко-далеко в тростниковых низменностях. Параллельно, иногда почти прижимаясь к ней, стучит железка. Её проложили в 1941—1942-м для отправки горючего из Баку в Астрахань и далее вверх по Волге, в обход захваченного немцами Ростова-на-Дону. Немцев давным-давно разбили. Война завершилась, потом заявила другая — тягомотная, непонятная, похожая на каспийский ветер: резкий, надоедливый и очень холодный.

Уцепившись за трассу и железку, на берегу Терека торчит городок под названием Кизляр. В переводе с тюркского сие означает «красный обрыв». Кизлярка — так именовалась мелкая речка, впадающая в Терек. В честь неё прозвали основанную рядом крепость. Постепенно кизлярский посад расширялся, саму крепость упразднили, и в начале XXI столетия город представлял собой типичный постсоветский предкавказский урбанистический ландшафт: слои частного сектора, обступающего кварталы измученных жизнью панелек, раскиданных на подступах к историческому центру с парком, церковью, мечетями, музеем казачества и татарской слободой.

Чуть западнее, за шоссе, продолжалась волнистая, выбеленная солнцем степь. Она дилась до горизонта, обширная и пустая, днём иногда посещаемая овечьими отарами. А ночью — маленькими ватагами лихих людей на старых легковушках.

Колчин Денис Сергеевич — поэт, журналист. Родился в 1984 году в Свердловске. Окончил журфак УрГУ. Работал военным корреспондентом в Крыму, Дагестане, Карабахе и на Донбассе. Автор книг стихов: «Подготовительный курс» (Екатеринбург, 2017), «Фронтир» (Екатеринбург, 2021) и нескольких книг прозы в жанре нон-фикшн. Печатался в журналах «Урал», «Звезда», «Знамя» и др. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

На заре второй, нудной, войны подобных ватаг было много. За ними в степь устремлялись группы спецназа и «вертушки». Шёл забой непримиримых. Когда накал страстей снизился, война изменилась, спрятавшись в пойме Терека, в бывших станицах и крепостях, в Кизляре. А степь осталась огромным безмолвным пространством, нависающим над судьбами обитающих вдоль её нечётких границ.

2

После Крыма я четыре года периодически — за свой счёт, находясь в отпуске, — ездил в Дагестан военкором. Писал про теракты, спецоперации, зачистки. Про «эскадроны смерти», состоявшие из сотрудников силовых ведомств. Они похищали подозреваемых в причастности к подполью, пытали и отправляли на зону или в расход, выдавая за убитых в перестрелках боевиков. Это был один сплошной кошмар, но так вершилась история. И потому я отдавал предпочтение кошмару. Впрочем, рано или поздно наступало время полёта домой, на Урал, к скучной, рутинной офисной работе.

Помню, очередная летняя спецуха отгремела на окраине Каспийска. В частном секторе, на улице Алиева, менты заблокировали коттедж. Внутри сидели двое моджахедов с жёнами и детьми. Взрослые сдаваться отказывались. Тогда туда привезли родителей джихадистов. Старики уговорили сыновей отпустить девушек и малышей. Как только ухтишки с мелкими выбежали за ворота, их горе-мужья сыпанули по ментам свинцом и очень быстро дом превратился в густой, заметный издали костёр. Зафиксировав произошедшее в блокноте, я отчалил в Махачкалу, где жил в гостинице, и вечером встретился с местным правозащитником Сиражуддином, знакомцем моего друга Ершакова.

В модной кафешке напротив отеля было многолюдно. Молодая смеющаяся публика распивала разные виды кофе и чая, сметая круассаны, булочки, блинчики с джемом и чудушки с маслом и сыром. Сиражуддин, повесив синий пиджак на спинку стула, рассказывал о текущей работе: о сопровождении уголовных процессов по делам о терроризме, юридических баталиях с прокуратурой, бумажной волоките в ГУФСИН, ленивых следователях и запуганных родственниках обвиняемых.

Я спросил, что именно он мог бы выделить из доступного массива историй. Мой собеседник призадумался. Город медленно проглатывала тьма, и по проспекту неслись красные и оранжевые колесницы, сотканые лучами света автомобильных фар. Наконец, Сиражуддин очнулся и посоветовал обратить внимание на Кизлярский район.

3

Война протекла туда лет пятнадцать назад. Когда империя обрушилась на раздражавшую её своими набегам Ичкерия, несколько десятков здешних уроженцев из числа чеченцев, ногайцев и кумыков по-тихому собрали вещички и «откочевали» за Терек. Уходили ночами, чтобы никто не заметил. Но все соседи знали. И молчали. Возвращаться начали через полгода-год. Половина легла в землю, а остальные либо затаились в степях и поймах вдоль реки, иногда нападавая на тыловые колонны, либо, так же по-тихому, огородами, пробрались домой и не высовывали носа.

Федералы перво-наперво взялись за тех, кто партизанил. Степи и поймы наполнились раскатами взрывов и стрёкотом перестрелок. Постепенно гром стихал, молнии исчезали и новостные сводки пучило от снимков обгоревших автомобилей

и автоматов, камуфлированных бородатых мертвецов с брошками и ожерельями из мух на свежих ранах. Разумеется, этим не ограничилось. Распутывая клубки теневых социальных сетей, спецы из «конторы» всё чаще интересовались районом. Их страшному любопытству не было предела. Родственники, друзья, да те же соседи... Бесчувственная машина познания молола всех, сортируя, как говорилось выше, своих жертв по могилам и колониям. И тогда возникла ответка. Не казавшие носа откопали стволы, сговорились, позвали кое-кого из двоюродных-троюродных братьев и одноклассников и огрызнулись.

Так появился подпольный джамаат. Они отслеживали милиционеров и чиновников и убивали их. Чаще, конечно, милиционеров. Чиновникам присылали флешки с требованием поделиться доходами — «на джихад». Те, как правило, делились. Несогласных чуть позже находили расстрелянными во дворах и подъездах или тлеющими в почерневших остовах собственных машин. Данное правило относилось и к бизнесменам, довольно быстро разобравшимся, что к чему.

В тамошнем РОВД от всего этого охренели. Особенно от резко возросшего уровня потерь. Очухавшись, попытались отыгаться: шерстили адреса, устраивали засады, прессовали знакомых и родню боевиков. Иногда даже получалось завалить или задержать кого-то из джихадистов. Впрочем, впечатляющего эффекта не наблюдалось. Общий счёт сохранялся прежний — в пользу джамаатовских. За каждого «двухсотого» они забирали жизни двух или трёх патрульных, постовых или участковых на окраине города или в каком-нибудь ближайшем селе.

Тогда за район решили взяться всерьёз. Во-первых, возле города поставили базу внутренних войск (ВВ). Вэвэшники, имея возможность привлечь авиацию и артиллерию, с энтузиазмом принялись за дело. Просторы усеяли блокпосты, по дорогам мотались колонны, а между сёлами, по лесополосам и буеракам, разведгруппы в поисках замаскированных блиндажей и лагерей. Порой рейдовые команды натыкались на боёвки моджахедов — крошили друг друга в упор, а потом вызывали «огня», и обозначенную координатами точку перепахивали НУРСы, мины и снаряды.

Во-вторых, к теме вновь, на сей раз более плотно, подключилась «контора». Её оперативники набрали сотрудников из районного центра противодействия экстремизму и предприняли определённые движения. Буквально среди бела дня стали пропадать те, кто был связан с моджахедами узами крови или дружбы. Случалось, пропадали по два-три человека за раз. Случалось, велед за пропажей кого-либо спецназ внезапно, и не беря пленных, заходил на адреса, где укрывались целые группы подпольщиков с жёнами. Но чаще исчезнувшие просто пополняли графу с пометкой «ушёл и не вернулся». Что могли в этих условиях предпринять загнанные в угол обстоятельствами и собственным поведением мужчины, в мирное время жившие между мечетью и спортзалом, а затем, в силу различных причин угодившие в трясины войны? Только одно — применить оружие массового поражения.

Но поначалу не срослось. В городе, на пустыре, в специальных вагончиках жили командированные ставропольские омоновцы. К ним отправили потерявшего братьев тридцатилетнего парня, увешанного взрывчаткой. По какой-то причине детонирующий механизм сработал раньше времени, и несчастного разорвало в ста метрах от цели. В следующий подход подготовились лучше. К дежурившему на дороге экипажу ДПС подъехало заминированное авто и взорвалось. Погибли двое правоохранителей и прохожая. На месте стала собираться толпа, прибыл глава РОВД. В какой-то момент из соседнего переулка вышел дядька, одетый в милицейскую форму, и подорвал себя. Поражающими элементами — гайками, болтами, обрезками арматуры — скосило пару зевак и семерых стражей порядка, в том числе — упомянутого начальника райотдела.

И затем гремело без остановки. Крупная спецоперация — в качестве реакции атака смертника. Следующая крупная спецоперация — опять атака смертника. В «конторе» и МВД крепко задумались. Надо было отыскать некое филигранное средство, которое позволило бы радикально изменить баланс на поле боя, заваленном трупами. И такое средство нашлось.

4

Шамилю было около двадцати пяти. Невысокий, худощавый. Стандартный. Весной, или летом, или ранней осенью в Махачкале, ближе к вечеру, выйдите в городской сад или на бульвар Стальского, или на Родопский бульвар. Там таких много. Сидят на скамейках компашками, обсуждают поединки борцов, авто, работу. Свои мужские дела, короче говоря.

Яркие цвета не любил. Предпочитал джинсы с кедами или кроссовками и футболки с толстовками. Лучше серые или тёмно-синие. А толстовки — непременно с капюшоном. И без принтов желательно. Нечего в глаза бросаться. На зиму вытаскивал чёрную короткую, как раз по фигуре, дублёнку. Она не сковывала движений, удобная на улице и в машине.

Конечно, учился. В электромеханическом колледже, на автомеханика. Оплачивали родители. По утрам ходил на пары. Потом в качалку возле дома. Его бывший одноклассник, профессиональный кикбоксер, арендовал и привёл в порядок подвал и собрал знакомых ребят заниматься. Разумеется, не бесплатно. Давал им простейшие приёмы. Но тренировались не как специалисты, а больше для поддержания формы и настроения. В драке все эти хуки и апперкоты вряд лигодились бы, но для молодцеватого вида — самое то.

Впрочем, в плане оплаты колледжа он тоже старался. Подрабатывал на рынках и стройках, устроился в школу ночным сторожем. Затем приняли в автомастерскую. Неплохо зарекомендовал себя и уже не прыгал с места на место в поисках копеечного вознаграждения. Правда, из школы не сразу уволился. Какое-то время ещё ходил туда для подстраховки — мало ли в мастерской не заладится. Но, слава Аллаху, проблем не возникло.

По пятницам посещал мечеть. Хотел жениться — ему нравилась одна соседская девушка, — но денег на приличный калым не имелось. Накопить не получалось. Заработанное уходило на еду и ежедневные нужды. Любил автомобили. Думал взять в кредит, например, подержанный Volkswagen или Hyundai. Но куда там...

Одним словом, плыл по течению. О причинах особо не задумывался, наперёд не планировал. Внешние обстоятельства оставались фоном, на который он практически не обращал внимания. А зря. Эти обстоятельства в итоге сыграли с ним злую шутку, поломавшую его маленькую, затерянную на степной окраине, жизнь.

5

В нём журчало множество кровавых ручейков. Прапрадед по отцу в начале XX века оставил родной аварский аул и в поисках работы приехал в Кизляр. Здесь и обосновался. Трудился пастухом и перегонщиком скота. В Гражданскую дрался за красных, а в конце 1930-х встал к стенке. Сын его чинил башмаки, потом разный сельскохозяйственный и домашний инструмент. Войну прошёл в инженерном подразделении. Прошёл еле-еле, надорвал здоровье и долго-долго мучительно умирал.

Внук всю жизнь отпахал на электромеханическом заводе. А правнук — на коньячном. Иногда употреблял, но как-то умудрился не спиться. В супруги они брали кумычек, чеченок и девушек из таких же бывших горских семей.

Их родовой аул лежал далеко и высоко. При Деникине селение разорили белые, во время восстания Гоцинского — сожгли красные, а дальше постепенно, но неуклонно добивала советская экономическая политика. К середине века ухватившееся за склон хребта гнездо бросили. Прапрадед там не появлялся. Какая-то тёмная история, связанная с набегом карательного отряда большевиков, проложила между ним и односельчанами пропасть, в которую со временем сползло всё: отношения, воспоминания, душа селения. Жуткое в своём запустении, оно возвышалось где-то там, — затерянное в угожьях семейных намёков и недомолвок, возле облаков, на просторах каменного волнистого ковра.

В 1990-х, летом, они с отцом, навещая родственников, проезжали мимо. Остановились. Поднялись наверх. Побродили по развалинам. Не найдя ничего, кроме руин, стачиваемых солнцем, ветром, дождями и снегом, вернулись. Да и что ещё можно было там увидеть? Изредка, уже в 2000-х, доходили слухи о том, будто аул хотят объявить туристической достопримечательностью, немного подреставрировать и показывать приезжим из России. Мол, экзотика. Но дело ограничилось разговорами. Лишь иногда туда заглядывали отдыхающие «дикарём», выкладывая у себя в соцсетях фоточки, сделанные на фоне осколков старины и мусора, оставленного их любопытными предшественниками.

Родителям было не до прошлого. Как принялось колошматить при Горбачёве, так и не отпускало. Мать числилась бухгалтером в разных магазинах, подвизалась в кооперативах. Отец держался за предприятие. И если во второй половине 1980-х городу подложили свинью, переключив завод на выпуск соков, то уже в следующее десятилетие производство коньяка возобновили, и он, заменив рубли, стал спасителем многих семей — верующих и неверующих. Порой в их приватизированной двушке алкоголь занимал всё свободное место. Бухло — полезная вещь. В пригородных станицах три или четыре бутылки запросто менялись на продукты.

Старшего сына после такой «прекрасной» жизни, поднатужившись, отправили в Махачкалу на юридический. Средний вообще рванул за горизонт — смотался в Астрахань, поселился там в Больших Исадах, включившись, при помощи земляков, в рыбный бизнес. А младший, как водится, остался при отце и матери. Кто-то должен обеспечивать их на старости лет.

Родня у них была изрядная. И в Дагестане, и в соседней Чечне свои люди имелись. Но самым важным числился дядька по матери, являвшийся замначальника в территориальном отделе милиции. Но тут как посмотреть — с одной стороны, авторитетный человек. С другой — в самом начале списка «приговорённых» здешними подпольщиками. В него уже и стреляли, и бутылки с горючей смесью в окна дома бросали, и машину взорвать пытались. Правда, бомба почему-то не сработала. Иными словами, должность интересная, но больно уж опасная по тем временам.

6

Школа Шамиля торчала на окраине, в частном секторе. Двухэтажное здание из серого кирпича, сооружённое то ли в 1950-х, то ли в 1960-х. Невзрачное и приземистое. Там учились родители. Туда же они отвели всех сыновей. Те не стали отличниками, довольствуясь тройками и четвёрками. Дружили с ребятами, дрались. Летом

отрабатывали, вытаскивая из школьного подвала разный хлам. Как-то раз нашли там большие портреты Ленина и Сталина и древко с позолоченным наконечником. Изображения вождей революции прислонили к стене и ради смеха принялись метать в них обрётённое «копье».

В школе у него имелся приятель Багаутдин. Такой же шупленький, но гораздо общительней. Мама приятеля преподавала физику, а папа путешествовал по стройкам. Учёба у Багаутдина шла совсем не ахти, он постоянно списывал, но товариществу не изменял и однажды свернул челюсть какому-то семикласснику, решившему прессануть Шамиля. Потом Багаутдина записали в секцию карате, и он регулярно демонстрировал новые приёмы Шамилю, которого на спорт пока ещё не тянуло.

В колледж Багаутдина взяли каким-то чудом. Правда, на другое направление — подготовка специалистов по работе на нефтяных и газовых месторождениях. Они продолжали общаться, но теперь, в основном по выходным. Будни были принесены в жертву образованию и подработкам. Впрочем, как выяснилось позже, у Шамилевского приятеля имелось ещё одно важное дело.

Какой-то из двоюродных братьев Багаутдина связался с «джамаатовскими». Как говорится, увяз коготок — всей птичке пропасть. Но ведь брат. Значит, надо помогать. И Багаутдин помогал. Носил флешки и записки по названным адресам. Таскал в лес продукты, медикаменты и одежду, оставляя в условленных тайниках. Передавал, пряча у себя дома, из одного отряда в другой оружие и боеприпасы. Наблюдал за тем или иным «объектом», когда просили.

А потом случилось то, что должно было рано или поздно случиться. Багаутдин стал «нелегалом» — присоединился к подпольщикам. Скрывался где-то в городе, затем перебрался на село. Вместе со всеми бегал по зарослям, иногда участвовал в убийствах ментов. Шамиль о нём толком ничего уже не знал. Так, иногда долетали обрывки слухов. Но не более того. Родители Багаутдина подали заявление о розыске, а вскоре его фото украсило специальный стенд в РОВД, пополнив коллекцию снимков участников джамаата.

Новоиспечённого моджахеда хватило ненадолго. Всё закончилось через месяц, после ухода «в лес». Их обложили в Муцал-ауле — Багаутдина и ещё одного джихадиста. Они прятались у сочувствующего. Незадачливых повстанцев то ли отследили, то ли сдали. Хозяин помещения не собирался к гуриям и, прихватив жену и детей, выскочил на улицу. А вот гости вытащили «калаши». Дабы ускорить процесс ликвидации, осаждавшие строение вэвэшники подогнали пару БТРов, и те обратили домовладение в пылающее решето.

7

Официальное опознание длилось несколько месяцев. У погибших взяли образцы ДНК и отослали на экспертизу в ростовскую лабораторию. Одновременно обратились к родственникам «пропавших». На самом деле, силовики знали, кто сгинул в Муцал-ауле, но требовалось соблюсти все формальности. Ничего хорошего близким Багаутдина это не сулило. Но события развивались закономерно. Каждое действие имело определённые последствия. Особенно на Кавказской войне.

Родителей шахида стали регулярно дёргать на допросы. Квартиру обыскивали. Потом взялись за остальных. С пристрастием отнесли к двоюродным и троюродным братьям и сёстрам. Дальше на очереди оказались соседи по этажу, дворовые товарищи, бывшие одноклассники и однокурсники. Оперативники выявляли пособническую

базу. Раз гражданин обнаружился на тропе террора, значит, ему кто-то содействовал. Кто-то не чужой.

Добрались и до Шамиля. Вызвали. Он явился. Рассказал, что учились вместе в школе и колледже. Затем периодически общались. Ничего подозрительного не замечал. О своей теневой жизни Багаутдин не говорил. «Ну, хорошо». Отпустили. Через неделю опять вызвали. Опять интересовались. Попросили поведать о том, как поддерживал приятеля, куда носил ему продукты и лекарства. «Ничего я ему не носил». — «Ну, как это не носил, когда есть показания свидетелей». — «Каких ещё свидетелей?» — «Неважно. А оружие где хранил?» — «Кто?» — «Ты». — «Ничего я не хранил». — «А сейчас хранишь?» — «Нет». — «Точно?» На сей раз отпустили утром.

Отмазал его дядька. Сходил куда надо, поручился за племянника. Мол, парень ни при чём, прослежу за знакомствами, дабы не вляпался в какую-нибудь историю, так-то он нормальный, дружбу с бородатými не водит, оступился немного, но ведь никто не застрахован, а я сколько лет уже работаю, всегда рядом, вы только скажите, а парень ошибки не повторит, вот увидите. «Ну, ладно», — ответили и по-византийски ухмыльнулись.

Шамиль немного успокоился. По-прежнему работал, посещал зал, но внутри, чуть ниже солнечного сплетения, поселилось чувство дискомфорта. Странная тревожность, заставляющая напрягаться, повергающая в депрессию. Она давила на живот, царапала остеохондрозные рёбра, лишала аппетита и лелеяла свою сестру — паранойю. Шамиль не понимал, как избавиться от них. Стал пропускать тренировки, задерживаться в мастерской. Словно ожидал чего-то нехорошего.

На закате лета дядька предложил ему зайти в гости. Беседовали во дворе двухэтажного коттеджа из красного кирпича, рядом с Toyota серебристого цвета. Дядька умел вертеться и обеспечил свою семью приличным жильём и авто. Кратко обсудили здоровье старших, а дальше, как бы между прочим, он сказал Шамилю, что того, всё-таки, хотят закрыть. Шамиль вздрогнул. Сидевшая в груди тревожность лопнула ядовитой волчьей ягодой и разлилась по всему телу. Да-да, к сожалению, вопрос не удалось решить до конца. «И как теперь быть?» Его охватило смятение, перерастающее в панику. Дядька взял паузу, кашлянул в кулак и, отведя взгляд, выдал: «Знаешь... есть один способ».

8

На тот момент в джамаате было человек тридцать. Плюс примерно полторы сотни сочувствующих. Из них треть — в Кизляре, прочие — по ближайшим станицам и селениям. Чем дальше — тем меньше. В определённый момент казалось, что боёвка близка к разгрому. Но моджахедам удалось перегруппироваться и наладить регулярную поставку свежей крови. Кто-то постоянно погибал, но рекруты не переводились. Всегда находились молодые мужчины, желающие за кого-то отомстить, или юнцы, насмотревшиеся джихади-роликов в интернете.

Командовал ими тридцатипятилетний Фахрутдин, среднего роста, коренастый, с длинной курчавой персидской бородой, в профиль похожий на воинов со старинных иранских барельефов. Скорых решений не принимал, но если уж на чём-то остановился, сдвинуть его было невозможно. До ухода «в лес» кем только ни работал: охранником на рынке, универсальным трудягой на стройке, грузчиком на складе. Устраивался туда, где платили без проволочек. В мечети, во время рейда, угодил под раздачу. В ментовке били всю ночь. Рано утром выбросили за ворота. Он еле-еле добрался

до молельного дома. Пожилой помощник имама вызвал врача. Тот осмотрел стонущего Фахрутдина: «Ну, потерпи-потерпи...» «Да сколько же ещё терпеть?» «А что, надоело?»

Надоело Фахрутдину, надоело ещё кому-то, надоело Багаутдину. «Лес» выглядел решением всех проблем, но на деле оказался источником новых и, по большому счёту, билетом в один конец. Кроме того, за мёртвых расплачивались живые. Родителей Багаутдина изводили допросами и обысками, уволили. Они выживали благодаря помощи родственников и знакомых, хотя круг последних резко сократился после смерти сына. Иногда к ним заглядывал Шамиль поддержать по хозяйству, но всё неизменно заканчивалось разговорами допоздна, слезами Багаутдиновой матери и потерянным взглядом отца.

Зато у Шамиля продолжалось по-прежнему. Работа, зал. В гости зааживал дядька — на обед или на ужин. Пока старшие беседовали, Шамиль ковырялся в тарелке. Изредка ловил на себе выжидающий дядькин взгляд и еле заметно кивал. После еды провожал до машины. «Ну, как дела?» — интересовался тот. «Дела идут». «Надо бы поторопиться». «Почему?» «Люди беспокоятся. А их беспокойство тебе не на пользу». «Знаю. Я стараюсь». «Молодец. Ты, главное, помни, что я всегда прикрою». «Да. Спасибо».

Тут надо отметить, что старикам Багаутдина старался подсобить не только Шамиль, но и однокурсник их погибшего сына. Паренька звали Магомед. Иногда они с Шамилем пересекались, и Мага сидел за столом, скорбно опустив голову, тихонько размешивая сахар в чае, словно боялся оборвать шёпот матери товарища, изведённой горем. Вечером, уже выйдя на улицу, оба какое-то время шли вместе, обсуждая, что ещё можно сделать для родителей покойного.

Как-то раз Мага позвонил и попросил помочь: сам он, якобы, приболел, а надо отвезти продукты впавшей в нужду верующей семье, живущей в пригороде — ничего сложного, просто передать пакет. Шамиль согласился, тем более позже, находясь в маршрутке, полюбопытствовал, но не обнаружил внутри подозрительного — только шоколадки, говяжьих консервы, печенье, упаковки чая. По указанному адресу калитку открыла полная пожилая женщина в цветастой чадре. Она пустила Шамиля во двор, но не в дом, взяла у него пакет, поблагодарила и скрылась в дверях. Больше никто не появлялся. Шамиль постоял пару минут и отправился восвояси.

Дальше — больше. Мага ещё несколько раз просил его о подобной услуге. Сам отговаривался по-разному: то плохо себя чувствует, то некогда, то надо куда-то за город срочно ехать. Шамиль соглашался. Причём порой вновь оказывался возле знакомой калитки. Постепенно ему явился параллельный мир, где люди жили по собственным правилам, имели особые суждения и отношения с теми, кто был снаружи, — прежде всего, с властями и силовиками. Изначально его сторонились и чурались. Но со временем привыкли. Мужчины кидали ответный «салам» и похлопывали по плечу. Девушки секунду смотрели на него, чтобы в следующее мгновение отвлечься на какое-то дело, а затем вновь легонько уколоть чёрным смеющимся зрачком.

Когда ему озвучили задание, он уже не удивлялся. Поручили проследить за хозяином автомойки, который после очередной спецухи — на адресе шахидами стали трое «братьев» — обнаглел и перестал сдавать на джихад. Шамиль, снабжённый фотографией клиента, устроился с телефоном и чашкой чая в соседней кафешке так, чтобы подходы к «объекту» было хорошо видно. Строптивый коммерс оказался рослым толстым мужиком в джинсах и кожаной куртке. Он приезжал на работу примерно к десяти, а потом, в течении дня, то уезжал, то снова возвращался. На графике и подловили. Шамиль скинул инфу, а на завтра вредного бизнесмена расстреляли возле автомойки.

9

В общем, так и таскался. Принеси-подай. Еда, лекарства, одежда. Отремонтировать машину, перегнать машину. Перепрятать стволы, перегнать машину со стволами или машину со взрывчаткой. За кем-нибудь присмотреть. За кем-нибудь несговорчивым. Или слишком активным в погонах. Или без погон. Дабы неповадно было мешать «братьям» и «сестёр» обижать. Аллах всё видит. А от ангела смерти не спрячешься. Ни у себя дома, ни в пункте милиции. Но ближе к зиме ему захотелось более серьёзного. Сколько ещё «волонтёрством» заниматься? Ну, правда?

Фахрутдин не сразу ответил, но взял на заметку. Спросил Магомеда. Мол, что думаешь? Ты же привёл. Мага сказал, вроде человек подходящий, косяков за ним не замечено. Когда Шамиль в очередной раз притащил на условленный адрес сумку с запасами для переправки «в лес», заранее подъехавший Фахрутдин позвал на кухню. «Знаю про твой вопрос. Тема хорошая. Но нужно проверку пройти». «Какую?» «Мента завалить». У Шамиля в груди сжалось. Страх студёной водицей побежал вокруг сердца. На мгновение вспомнилась та встреча в дядькином дворе. «Хорошо». «Джигит», — добродушно улыбнулся амир.

В качестве жертвы выбрал участкового — долговязого парня, примерно одного с ним возраста. Ссутулившись, тот шёл на работу, одетый в гражданское: коричневые туфли, джинсы, чёрная куртка. С тёмно-зелёным рюкзаком за плечами. Форму не надевал. А зачем? Хочешь жить, — не выделяйся. Но на районе участкового, конечно, знали. Особой прытью в делах он не отличался, не доставал никого придирами или подозрениями. И на том спасибо. Но принадлежность к силовой системе сама по себе являлась не только шансом, но и приговором.

Сказавшись на работе заболевшим, Шамиль тщательно изучил маршрут. Держался поодаль. Вот участковый покидает подъезд, пересекает двор, сворачивая на улицу, нарезая тротуар метровыми шагами. Идёт мимо панелек, магазинчиков и киосков. Ждёт зелёного сигнала на перекрёстке, берёт левее, сквозь тенистую аллею, и огибаёт шлагбаум на КПП. Днём обедает на работе или с коллегами в кафешке. Вечером проделывает обратный путь. Всё стандартно.

Ствол ему передал Магомед. Это был воронённый «макаров», маленький, тяжёлый, охлаждавший ладонь. Магазин полный. Отливающие розовым патроны. Восемь штук. «А как пользоваться?» «Завтра покажу». Утром уехали в пожухлую осеннюю степь. Ветер бил наотмашь. Под подошвами ботинок хрустела жёлтая мёртвая трава. Стреляли по жестяным банкам. Бах. Бах. Бах. Бах. «Не торопись. Бери чуть ниже». Бах. Бах. «Не торопись, говорю». Бах. Тишина. Бах. «Ну вот. Попал».

Убивать решил вечером. Сидел в сквере, дожидаясь. Пристроился уже после перекрёстка. Дистанция — метров пятнадцать-двадцать. Какое-то странное, непривычное спокойствие охватило его. Затем появилась мелкая дрожь. Мелкая, нарастающая, потливая. Футболка взмокла, взмокла изнутри куртка. Сзади подуло — словно холодным лезвием провели по вспотевшей шее. Наконец, поворот во двор. Участковый вильнул за угол. Шамиль ускорился, расстегнул куртку, вытащил из-за пояса ПМ, догнал долговязого у крайнего подъезда и разрядил пистолет почти в упор. Он даже не заметил, как милиционер упал. Вышедшая из подъезда тётка с мусорным ведром дико заверещала. Шамиль уставился на неё и спустя секунду вылетел на улицу, перебежал дорогу и нырнул в противоположный двор.

10

На работу он уже не вернулся. И домой тоже. Родители хватились к вечеру. Бегали по знакомым. Потом подали заявление о пропаже. Дядька обещал помочь с поисками. Демонстрировал заботу, внимание и усердие. Сидел с ними. По телефону отдавал строгие приказы подчинённым. Отец всё куда-то рвался: на осенние окраины, проверять переулки, заглядывать в подвалы и на чердаки. Мать ревела не переставая.

Но Шамиль находился в потустороннем мире. Его приняли по-дружески. Накормили, налили чаю. Пистолет не забрали. Потом вместе смотрели новости. Корреспондент обводил рукой злополучный двор. Представитель РОВД что-то бубнил в камеру. Моджахеды смеялись, ломая лепёшки, осторожно прихватывая горячие чашки. К ночи некоторые ушли огородами. Шамилю постелили на полу в комнате с ещё двумя «братьями». Он долго ворочался, не в состоянии заснуть, и вырубился за полночь под песенку степного ветра, приникшего снаружи к старым разошедшимся окнам.

Так предстояло провести ближайшие месяцы. Ему хотелось домой, но он понимал: сейчас пути назад нет. Впереди — неизвестность. Его объявили подозреваемым в убийстве участкового, а потому Шамиль даже на хозяйском дворе не появлялся лишний раз. Мало ли, с улицы заметят. Мало ли, донесёт кто-нибудь. А тогда ворота вышибут, забор развалят, домик «разберут» по кирпичику и под развалинами похоронят всех без разбора — и «братьев», и «сестёр». Впрочем, это могло произойти в любое время. В одном Кизляре примеров было более чем достаточно.

На зиму акции не прекращались. Городскому подполью зелёнка не нужна. Хотя её и по району особо не наблюдалось. Дела стандартные — «обработать» ночью блокпост, открыть огонь по ДПСникам в упор из проезжающей тачки, убить выстрелом в затылок милиционера на рынке, отправить флешку коммерсу или чиновнику, забросать бутылками с коктейлем Молотова торгующий алкоголем магазинчик, навестить поздно вечером гадалку или знахарку и выбить ей мозги. Иногда моджахедам не везло — блокпост прицельно огрызался, ДПСники успевали отреагировать и в ответ нашпиговать машину нападавших свинцом, милиционера на рынке прикрывал коллега, коммерсант или чиновник начинал выпендриваться, магазинчик с бухлом не загорался, а на адресе у гадалки или знахарки сидел племянник с дробовиком.

К середине весны укрылись в пойме. Жили в блиндажах. Передвигались зарослями. Если требовалось куда-то отъехать, неслись в темноте через поле к припаркованной на обочине машине с выключенными фарами. Набившись в салон, колесили просёлочными дорогами между лесополосами — от лагеря к лагерю. Порой тачка тормозила на окраине хутора и шофёр превращался в проводника, за которым они, стараясь не шуметь, петляли огородами и закоулками.

Вылазки были под стать. Устраивали пятиминутные засады на маленькие колонны взвэшников или старались подловить одинокий милицейский патруль. Били по окнам сельских ОВД. Караулили в подворотнях сотрудников станичных администраций. Всё также навещали гадалок и знахарок. Иногда в перелесках встречали разведку федералов. Завязывался скоротечный бой. Джихадисты, поливая из всех стволов, пытались оторваться до появления «вертушек». Если не получалось, обнаруженных «вычёркивали» — спецназ брал их на прицел и уже не отпускал, а Ми-24 не позволяли улизнуть.

11

Где-то в июне с ними именно так и случилось. Отряд передвигался в зарослях поймы, перемещаясь к новой базе. У излучины нос к носу столкнулись с разведкой вэвэшников. Сначала даже не среагировали — так и пялились друг на друга, выпучив глаза. А затем из глоток вырвалось «бля!» и «Аллаху акбар!» Бойцы метнулись кто куда, опустошая рожки «калашей». Кто за деревом спрятался, кто за кустом. Но федералов было больше, и потому моджахеды спустя полминуты пустились наутёк.

Ломились напрямик, не разбирая дороги. Пули то и дело сбивали ветки вокруг, шмякались в стволы орешника. Одна угодила Шамилю в правую голень, покаяв кость. Он споткнулся и грохнулся, растянувшись. Двое «братьев» ухватили его под мышки и потянули за собой. Рыча от боли и отчаяния, он пытался ухватить болтавшийся на груди автомат. Штанина и кроссовок набрякли от крови. Рюкзак неудобно волочил по земле. Свинец ложился всё плотнее и плотнее.

«Да пустите! Убьют ведь!» — гаркнул Шамиль, не узнавая собственного голоса. Те, тяжело дыша, остановились и изумлённо посмотрели на него. «Всё, давайте, — сплюнул он, отползая к ближайшему дереву. — Делайте дуа». И они, опешивши, попятились в зелёную тьму. Отвернувшись, Шамиль вскинул автомат и принялся садить одиночными в сторону преследователей. Израсходовав патроны, упёрся лбом в шершавую кору. Боль в ноге накатывала волнами.

Он не заметил, как перед ним выросли трое в камуфляже. «Дохлый, что ли?» — предположил качок. «Шас проверим», — ответил щуплый и пнул Шамиля в лицо. Вскрикнув, Шамиль повалился на спину. Третий, высокий с короткой русой бородой, сдёрнул с него автомат: «Живой вроде». «Да просто зацепило», — удостоверился щуплый, наступив пленнику на дырявую ногу. «Добить надо», — бесстрастно бросил качок. «Ни в коем случае. Пусть конторские им занимаются», — отрезал высокий.

Шамиль повернулся на бок, прижавшись щекой к сухой земле. Вокруг сновали федералы, о чём-то переговаривались. Он попытался подняться, но ему ткнули в подбородок стволом «калаша», потом наспех перевязали рану. Иногда вэвэшники подступали к нему, безучастно глядели и отходили. Наконец, нацепили на руки пластиковую стяжку и куда-то потащили сквозь лес по корням, порой отвешивая оплеухи и награждая пинками.

Его приволокли на кромку лесополосы, закинули в кузов военного грузовика и повезли. Через двадцать минут показался устроенный в степи лагерь: десятки палаток, БТРы, БМП, «Уралы» и УАЗы. Проехав КПП, грузовик затормозил, и Шамиля вытолкнули наружу. Он неудобно упал и застонал, кое-как наложенная повязка пропиталась кровью и частично сползла. Его снова подхватили. Мимо поплыли палатки, камуфлированные ноги в чёрных ботинках, огромные грязные колёса бронетранспортёров. А когда всё осталось позади, лязгнула дверь металлического вагончика, и тяжёлый, удушающий мрак поглотил Шамиля.

Позже к нему пришли. Усадили на стул. Из дальнего угла воняло мочой. Задетая пулей голень ныла, а повязка отяжелела от засохшей крови и сукровицы. «Сам расскажешь, или как?» — «Вы кто такие?» — «Тебе не покуй?» — «Нет». Удар промеж глаз опрокинул его на пол. Нос внезапно онемел. «Позвоните майору Кебедову», — проскрипел Шамиль. «Кому-кому?» — «Майору Кебедову из кизлярской милиции». — «Будет тебе майор». И дальше тумачи посыпались градом. Так продолжалось несколько дней. Из обрывков разговоров Шамиль понял, что джамаат сумел оторваться от вэвэшников, а потому нить его жизни оставалась одной из немногих, которые могли

привести силовиков к Фахрутдину и подпольщикам. Его посещали утром и вечером, задавали вопросы, он требовал майора Кебедова, его избивали, но он упорно, выплёвывая осколки зубов, шепелявил одно и то же: «Пошвоните... маору... Кебедову».

Дядька был гарантом того, что Шамиля не пристрелят после получения нужной информации. С ним в итоге связались. Он сразу приехал, объяснил ситуацию. Мол, племянник мой, ваши коллеги в курсе, не беспокойтесь, всё будет нормально. Слова майора проверили, Шамиля выпустили из вагончика, обработали рану, напоили, усадили с дядькой в палатку, и целый час их никто не видел и не слышал.

12

Пока Шамиль лежал в больнице под охраной, происходило вот что. На военных аэродромах «вертушки» под завязку загружались боеприпасами и, тяжело отрываясь от взлётно-посадочных полос, они брали курс на пойму Терека. Машины появлялись над степным горизонтом в виде чёрных рокочущих точек и начинали сеять смерть, прорежая огнём и железом базы «братьев». Затем разворачивались и шли назад, но вместо них возникали другие, и взрывная карусель продолжалась без остановки.

После авиации за дело взялся спецназ. Группы под прикрытием Ми-24-х высаживались в условленных точках и зачищали разгромленные лагеря. Раненых добивали. Уцелевших гнали на маячившие на границе степи и леса оцепления из других взвешных подразделений и ментов. Это был проверенный метод борьбы с партизанами, и если спецотряды действовали слаженно, а части, в сторону которых теснили «лесных», уверенно контролировали территорию, выживших среди загоняемых не оставалось. А тогда, в силу определённых причин, всё складывалось именно так.

Одновременно загремело в самом Кизляре и пригородах. Спецназ республиканского управления «конторы», усиленный калмыцкими, ставропольскими и московскими коллегами, нагрянул на десяток адресов. В большинстве случаев сопротивления не оказывали. Да и не было там никого, кроме женщин и детей. Зато на трёх «точках» — в двух частных домах и на квартире, — огрызнулись. Силовики попятились, унося раненых, но участь осаждённых не вызвала сомнений. Подкатили БТРы и, под прикрытием гранатомётчиков и огнемётчиков, с помощью КПВТ превратили очаги неповиновения в почерневшие, изрубленные бетонные коробки.

В тот же день погиб Фахрутдин. Серия кизлярских спецух заставила его встрепетаться. Он с парой сопровождающих успел вырваться из города в расположенное неподалёку селцо Новокохановское, где у него имелся запасной адрес. Но когда грязная серая легковушка, вырлив на тихую безлюдную улицу, притормозила и амир уже собирался открыть дверь, по машине влупили с трёх позиций. Водителю размозжило голову расколовшей лобовое стекло пулей. Сидевший рядом боевик получил очередь в открытое боковое окно. А командир, настигнутый куском свинца, угодившим в шею, наполовину выпал из салона, ткнувшись лбом в дорожную пыль.

13

В больнице Шамиля продержали полмесяца. Уколы, капельницы, перевязки, таблетки. Пресная еда. Костыли. Сперва боялся, что за ним придут. Прoberутся ночью, грохнут дежурного мента, накинута пакет и вывезут в степь. Ищи-свищи. Но тяготясь дни шоркали хрустящими бахилами по каменному полу коридора. За Шамилем не приходили, и он устал бояться. Им овладело тоскливое равнодушие. Он просто лежал, часами глядя в окно на газон, металлический решётчатый забор, на девушек и автомобили, или изучая трещины на когда-то белом потолке палаты.

Родителей пустили на вторые сутки. Мать плакала, обнимала и причитала. Отец молча сидел возле и смотрел на сына так, словно знал будущее, — с грустью, любовью и отчаянием, сдерживая трепыхание губ. В стоящей на полу чёрной сумке виднелась домашняя еда: пирожки, лепёшки, банка жирного супа и кастрюлька с котлетами. Дверь оставалась приоткрытой, и сидевший рядом милиционер с автоматом то и дело косился на принесённые яства.

При выписке Шамиля забрал дядька. Подъехал на своей серебристой, поднялся, помог выйти на улицу, поскольку тот передвигался пока на костылях, устроил в салоне. «Ну, ты как?» — «Да нормально». — «Молодец. Работой твоей довольны. Привлекать за участкового не станут. Спишут на Фахрутдина этого или ещё на кого-нибудь». — «Спасибо». — «Тебе спасибо. Ты, главное, не высовывайся. Светиться не надо. Пару-тройку зачисток проведут, добьют недобитых, и всё норм». — «Хорошо».

Дома ничего не изменилось. После еды он торчал перед телевизором или бездумно пялился на лето. Его даже не интересовало, каким образом дядька преподнёс случившееся отцу и матери. Она-то была счастлива — ребёнок вернулся. А вот отец явно подозревал, что история непростая. Ну, подозревал и подозревал. Сейчас рассуждения ни к чему. Всё уже случилось.

К осени стал периодически спускаться на улицу. Мать купила ему трость, и Шамиль плёлся до продуктового, где покупал необходимое и ковылял обратно. Иногда присаживался во дворе на скамейке. Казалось, о нём забыли. В милицию не вызывали. Сигналов от джамаатовских не поступало. Да и от кого бы они поступали? За последние три месяца подполье так перетрясли, что если там кто и уцелел, то лишь попрятавшиеся перепуганные новички, которых не успели взять на карандаш.

Однажды в сентябре он вышел подышать в привычное вечернее время. Только-только закончился дождь, и отовсюду тянуло свежестью. Сидеть около детской площадки не хотелось, и он побрёл вдоль дома, упирая трость в мокрый асфальт. У въезда во двор заметил незнакомую тёмно-зелёную легковушку. У капота, спиной к Шамилю, торчал парень, державший руки в карманах чёрной толстовки. Шамиль прищурился — парень показался знакомым. Он продолжал медленно идти. Парень обернулся, и Шамиль вспомнил Магомеда. Мага смотрел на него пару секунд, а затем вскинул пятерню, мелькнувшую мрачным железом, и выключил свет.

14

Разумеется, о нём не забыли. Поначалу считали, что Шамиля убили тогда в лесу. Но потом кто-то заметил его в больнице — милиционер у дверей палаты в любом случае привлекал внимание, а Кизляр — маленький город. Проверить сведения не составляло труда. После выписки за ним уже приглядывали. Отсутствие суда за убийство участкового добавило подозрений. А когда источник в силовой среде слил вероятный расклад, сомнений не осталось. «Ты привёл, ты и разберись, — велел Магомеду новый амир. — Если не хочешь, чтобы с тобой порешали».

Выполнив поручение, Мага, не дожидаясь расправы — ведь он, вольно или невольно, внедрил в подполье предателя, — погнал на север, в сторону Астрахани и казахской границы. Степь разбегалась по обочинам фиолетовыми силуэтами холмов, огоньками редких посёлков, руслами высохших речек, похожими в ночи на бездонные провалы. Магомед, маленький человечек в жестянке на колёсиках, летел и летел, не снижая скорости, а степь длилась и длилась, обманчивая, словно жизнь, и постоянная, словно смерть.

Максим Гуреев

Платформа Пионерская

Повесть

1

Всегда приезжала на первой пятичасовой электричке в последнем вагоне, потому что отсюда, с края платформы, было ближе всего идти к детскому санаторию.

В вагоне ещё хоть как-никак таилось тепло, хлопья инея на окнах здесь свисали седой щетиной, а печка грохотала на стыках оторванным люком регулятора мощности, но когда выходила из тамбура на улицу, то на какое-то мгновение деревенела совершенно, почти теряла сознание, жмурилась в непроглядной ледяной мгле, сипела, а круглая, как точильный камень луна, тут же заглядывала в открытый рот, вращаясь, чтобы начать шлифовать заледеневшие зубы с характерным отупляющим звуком.

Боже, и так ничего не чувствовала, и так была почти не в живых, а тут ещё этот звук, застревающий в голове, выворачивающий душу наизнанку.

Ёжилась эта душа, трепетала, не находила себе места на пронизывающем ветру, роптала на непроглядную темень.

А двери вагона меж тем автоматически закрывались за спиной, и электричка трогалась, и она тоже, едва шевеля окоченевшими ногами, трогалась с места.

Закрывала открытый рот рукавицей.

Прятала тем самым вход в нору.

Луна, впрочем, не отставала — катилась по рельсам, имевшим загробный кобальтовый оттенок, цеплялась за высаженные вдоль полотна чёрные, словно вырубленные из базальта, ели, вращалась и высекала из окаменевших сугробов искры, освещала своим немигающим светом снежную долину, не было которой конца и края.

— Вот доберусь до кухни и сразу отогреюсь, — производила только ей самой ведомые звуки, бормотала под спудом рукавицы, но губы-то толком не слушались,

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссёр документального кино, снял более семидесяти лент. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Автор множества книг, в том числе «Сергей Довлатов. Остановка на местности» (2020), «Фаина Раневская. История, рассказанная в антракте» (2022), «Чудесный отец» (2022), «Андрей Битов» (Серия ЖЗЛ, 2023), «Даниил Хармс. Застрявший в небесах» (2023). Дважды лауреат премии «ДН». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в журнале — 2023, № 11.

кривились, да и нижняя челюсть обездвижела совсем. Жуткое, наверное, зрелище со стороны.

Одно время у них на Рабочем посёлке в соседней комнате жил такой человек, который не мог говорить, потому что у него была неподвижная нижняя челюсть, он только мычал на разные лады и тряс подбородком.

Мать запрещала настрого:

— Саша — инвалид детства, не вздумай над ним смеяться!

И она старалась не смеяться над ним, хотя все дворовые издевались, конечно, передразнивали его, кривлялись.

Скривилась тропинка от платформы между деревьев и вывела на улицу Санаторную.

Тут-то почти и побежала по хрустящей дороге.

Ноги не слушались, но так как улица уходила вниз в сторону леса, то получалось само собой бежать под уклон.

Ветер кружил юлой.

Вдыхала стужу и выдыхала густой пар.

Платок и брови зарастали инеем.

А вот теперь луна уже пряталась за сугробами, пробиралась, как хищный зверь, таила своё коварное естество и по-прежнему пыталась заглянуть в лицо своей жертве, но скрип точильного камня уже не казался таким невыносимым. Скорее, напоминал назойливое дребезжание станка точильщика-татарина, что всегда стоял рядом с входом на рынок и гундосил: «Ножи точу, ножи точу».

— Не страшно, совсем не страшно, — улыбнулась в горячее, парное подземелье рукавицы.

Бывали, конечно, случаи, когда луна накидывалась на свою жертву, что замешкалась, стала любопытничать и пялиться по сторонам, и отпиливала ей голову, которая потом ещё долго с дребезжанием пустой консервной банки катилась по откосу, превращаясь в снежный ком, а затем и вмерзала в придорожный сугроб.

Хрустел не только снег под ногами.

Хрустели ещё и деревья в лесу, когда от мороза отслаивалась кора, надувалась волдырями и гулко лопалась.

Скрипели деревянные заборы, вытягивались в струну, затем проседали в изнеможении, почти падали на снег в обмороке, но потом снова оживали и каменели, ошестинившись гвоздями.

Она оглянулась — тень от ближайшего фонаря вытянулась и замерла в утренней морозной пустоте.

Сделала шаг, и тень сделала шаг.

Вот так часто бывало, когда шла навстречу свету и посматривала через плечо назад, как бы за собой со стороны подглядывала — могла опережать сама себя, могла запаздывать, могла нависать сама над собой, тогда, впрочем, и вздрагивала, потому что это происходило внезапно, но столь же внезапно и пропадало. А придя домой, подходила к шкафу и смотрела на своё отражение, зажатое между двух створок с потрескавшейся лакировкой. В это зеркало со следами отслоившейся амальгамы по краям смотрелись ещё её бабушка, потом её мать, вот теперь и она смотрится и не понимает, как себя надо правильно увидеть в нём, потому что то, что она видела сейчас, казалось ей каким-то чужим и абсолютно неправильным. Зачем-то открывала, потом закрывала створки шкафа, зажимала сама себя ими, оказываясь таким образом то в заросшем кусками грязного льда переходе из одного вагона электрички в другой,

то посреди комнаты в коммунальной квартире, где за одной стеной всегда орали соседи, потому что они не умели говорить, а умели только орать.

У них всегда такие открытые рты.

Пасти.

А за другой стеной жил Саша, тот самый, который не умел ни орать, ни говорить, а только мычал на разные лады, и над ним нельзя было смеяться, потому как он был инвалидом...

Наконец уличный фонарь оказался за спиной, и по мере того, как она уходила от него, её тень всё более и более удлинялась, заострялась, пока не упиралась в железные ворота детского санатория.

Втыкалась в них!

До хозблока тут уже почти доползла на четвереньках, толкнула плечом дверь, ввалилась в предбанник, где в темноте опрокинула ведро с углём, и оно покатилося, оставляя за собой вихляющий, змеевидный след.

Словно полоз здесь ползал, змей змеился, догонял-догонял да не догнал.

На шум тут же прибежал сторож, он-то и дотащил её до печной комнаты, где она так и осталась лежать на деревянном полу рядом с топкой.

А ведь привыкла же подобным образом цепенеть на полу, завернувшись в пальто или в одеяло, поджав ноги, стуча зубами, а затем переставая ими стучать.

Это случалось всякий раз, когда к ним на Рабочий посёлок приезжали родственники из Воронежа. Сестру матери вдвоём с глухонемой, страдавшей какой-то нервной болезнью взрослой дочерью укладывали на её кровать, и они лежали на ней, как в утробе, сцепившись. Мужа сестры укладывали в коридоре на скамейке, а ей доставалось место на полу у двери.

Ноги забирались под шкаф и там упирались в гантели, оставшиеся ещё от деда.

Голова каталась по полу.

Вот и сейчас лежала в печной комнате на полу и смотрела снизу вверх на тёплую, словно вылепленную из теста, голландку, на мечущиеся по стенам и потолку сполохи, что пробивались сквозь щели от неплотно прилегавшей к створу топки чугунной дверцы.

Вспыхивали, гасли, снова вспыхивали и снова гасли.

Она уже могла шевелить пальцами на ногах, и холод постепенно уходил, придавливая сном, уступая место смертельной усталости, наваливающейся на плечи и глаза, туманящей сознание, в которое входило далёкое и одновременно близкое, разборчивое и в то же время невнятное бормотание сторожа, сидевшего в глубине комнаты у стола и разбиравшего найденный в сарае сломанный радиоприёмник.

По передающему устройству сообщали, что вчера ночью на платформе Перхушково насмерть замёрз участковый Василий Переверзин, ещё передавали, что, работая в бойлерной детского санатория, сторож Максим Старовойтов разбил себе о трубу голову, но ему вовремя была оказана медицинская помощь, и теперь он продолжает свою работу, а в конце сводки новостей сообщали, что сильные морозы продолжатся ещё неделю и есть вероятность отключения электричества.

Открыла глаза — нет, ничего такого слышать она по радиоприёмнику не могла, конечно, просто потому что он был сломан, и внутри у него не горела красная лампочка, как это всегда должно быть у работающих передающих устройств.

Это просто сторож с забинтованной головой не умолкал:

— Вот почино радио, будем новости слушать и музыку. Я в молодости очень, знаешь ли, любил танцевать. На танцы ходил. Другое дело, что не танцевал давно, наверно, и разучился совсем, но слушать музыку всё равно люблю.

— А что это у тебя с головой, Максим Максимыч?

— Да я уж говорил, пошёл вчера в бойлерную, там лампочка перегорела, и в темноте о трубу со всего маху ударился. Приложился, так сказать, аж искры из глаз посыпались. Думал, убился. Слава Богу, Софья Самойловна дежурила, рану обработала, забинтовала. Вот теперь как героический красный партизан хожу, — подбоченился при этих словах Старовойтов.

Наконец она поднялась с пола, сняла пальто, отряхнула его, повесила рядом с дверью, намотала платок вокруг шеи.

В детский санаторий на кухню она пришла работать три года назад.

Работа через день.

Со сменщицей Зориной повезло — не скандальная, отзывчивая, ну и опытная, конечно. Она работала здесь с самого открытия санатория в конце тридцатых. Тогда-то, кстати, платформу 29-й километр и переименовали в Пионерскую. Зорина рассказывала, что раньше летом на платформе перед началом сезона развешивали красные флажки и вырезанные из картона горны. Так как они висели до осени, то выгорали на солнце совершенно, выцветали, под дождём вздувались, но приподнятое настроение детям всё равно создавали, особенно когда раскачивались на ветру, словно на борту военного корабля какого: крейсера, эсминца ли. Да и железнодорожная платформа превращалась в палубу, и все ходили по ней, держась друг за друга, провожали проносящиеся мимо поезда дальнего следования, махали им руками, улыбались.

После войны, когда вернулись из эвакуации, санаторий стал работать круглый год, тут построили новый корпус, новую кухню и провели паровое отопление.

А муж Зориной погиб осенью сорок первого года, попав в окружение под Вязьмой. Она узнала об этом только два года спустя и, по её словам, на какое-то время лишилась рассудка, сошла с ума то есть.

Говорила, смотря в одну точку: «Получается, что, всё это время я писала письма человеку, которого давно не было в живых. Они куда-то уходили, эти письма, их кто-то читал, или не читал, и их сразу выбрасывали на помойку, или просто выкидывали на обочину в грязь, в снег, чёрт знает куда, или сжигали. А я всё писала, рассказывала, как работаю на кухне, какие у нас в санатории хорошие детки, ждала ответа, конечно. Письма не приходили и не приходили, но я думала, что ему просто некогда писать, а его не было в живых, его просто не существовало на свете. Я ведь даже не знаю, как он погиб, — сразу или умирал долго и мучительно, где похоронен, если похоронен вообще, и теперь уже никогда не узнаю. И вот когда я всё это осознала, несколько дней у меня на это ушло, на осознание, то пришла в общежитие, села на кровать и стала все эти письма за три с половиной месяца одно за одним вслух пересказывать, я ж их все наизусть знала. Просто подумала, что если прочитать на бумаге их ему уже не суждено, то где-то там, где он сейчас, он их сможет услышать, наверное, ему будет интересно, ну и чтобы не подумал, что я о нём забыла. Я не забыла, я ничего не забыла! Где-то сутки вот так говорила, не ела ничего, не пила, а только говорила, письма эти пересказывала, не могла остановиться. Потом вызвали врача, конечно, он меня в чувство привёл, на три дня от работы освобождение дал, потому что я охрипла совсем и у меня распух язык. Вскоре всё прошло, разумеется, но с тех пор ни читать, ни писать я больше не могу. Страшные эти буквы ведь, страшные! Бегут куда-то, меняются местами, строчки проволокой, верёвкой ли переплетаются, меняют цвет — это так во сне бывает, — не разобрать ничегошеньки. С тех пор ни одной книги не открыла, ни одной газеты не прочитала.

Меня спрашивают: «Зорина, ты что, читать не умеешь, что ли, вроде безграмотность давно победили?» А я отвечаю: «Да, не умею». Только и разводят руками в ответ, дураки...»

Вот такая сменщица, вот такая Зорина, а ещё у неё красивые большие карие глаза, но почему-то казалось, что в них лучше не заглядывать. Вот и старалась не глядеть на неё, особенно когда она оказывалась рядом, мазала взглядом, отводила глаза, всё больше на руки её смотрела, на волосы, на чёботы, в которых Зорина топталась у плиты...

Теперь смотрит на часы — «шесть утра» указывают они.

Надо идти открывать кухню.

У них дома на Рабочем посёлке точно такие же часы висели, их матери на день рождения когда-то подарили.

Взбиралась на стул, открывала стеклянную дверцу, заводила ключом механизм и закрывала дверцу, успевая при этом разглядеть в ней отражение комнаты, цветов на подоконнике и своё собственное отражение.

Так как в эту минуту не знала, куда ей смотреть, то и выходила в этом нечаянном проблеске какой-то естественной, беспомощной, живой, наверно, такой, какой её видели со стороны — соседи по коммуналке, точильщик ножей у рынка, который «ножи точу, ножи точу», пассажиры в электричке, Максим Максимыч, Зорина или главврач санатория Санджар Эминович Мамедов, к ней всегда обращающийся на «вы» и по имени-отчеству — Татьяна Александровна.

Так вот как её, оказывается, звали — Таней.

Это она специально не называла своё имя при полной луне, чтобы та не украла его и не подменила другим, лжеименем, Ольгой, например, Ларисой или Ириной.

Тане ещё в детстве бабушка рассказывала, что своё имя следует беречь от полной луны, зарослей папоротника в дремучем лесу, воя собак, человека без рук и прокисшего молока, потому что у них есть сила менять имена, особенно когда человек оказывается в забвении или беспамятстве, когда у него закатываются глаза и сам собой открывается рот.

Кстати, имя могло вытечь вместе со слюной на подушку или на воротник и засохнуть!

Вот потому и шурилась сегодня с утра на морозе, потому и закрывала одеревеневшей рукавицей рот, чтобы в него не забрался круглый точильный камень и не отпилил голову вместе с именем, потому что имя в голове содержится.

Выключался, дребезжа, точильный станок.

Ухнул и выключился окончательно.

Вспыхнул свет на кухне, и блёклое рассветное свечение с улицы слилось с резкой электрической вспышкой, растворяясь в ней, и полностью поглотилось запотевшими стёклами. Белые эмалированные плиты-печки, которые в конце своей смены Зорина намывала до блеска, сияли буквально до рези в глазах, как в операционной, водили хоровод на кафельном полу, крепко сцепившись медными поручнями, не отпускали друг друга далеко по привычке, а в воздуховодах возникал и неотвратимо нарастал гул тяги поджига, — это начинался прогрев конфорок.

Кухня наполнялась звуками: шелестом накрахмаленного белья, гудением вентилятора в хлебном боксе, барабанной дробью воды в рукомойнике, воем пламени во всех четырёх топках, как в четырёх разгонных блоках ракеты-носителя, которая выводила на орбиту первый искусственный спутник земли; воображаемыми командами также наполнялась:

- «минутная готовность»,
- «ключ на старт»,
- «протяжка — 1»,
- «продувка»,
- «протяжка — 2»,
- «земля-борт»,
- «пуск».

— Ну, слава Богу, мы эти команды наизусть знаем, — Максим Максимыч стоял в дверях кухни с ведром, доверху набитым мелко наколотой щепой. — Я запуск первого искусственного спутника земли по радио слушал. «Земля-борт», «пуск», и всё загрохотало, как при землетрясении, это значит, что полетела ракета, а потом из космоса стали приходить сигналы, словно металлическая струна на разные лады пела. У нас под Магдагачи в отряде был один китаец Коля, так вот он как раз на таком инструменте играл, эрху называется. Только прикасался смычком — и звук появлялся такой протяжный, жалобный, нечеловеческий, словно издали откуда-то приходил, теперь-то понимаю, что он из космоса приходил. Не по себе становилось, если честно. Куда ведро ставить?

— Да вот сюда и ставь.

Ставил.

Входил в свет висящей под потолком лампочки Максим Максимыч Старовойтов.

Был он родом из Хабаровска, из семьи известного в городе жестянщика Максима Евфимиевича Старовойтова. Сначала учился в Алексеевском городском училище, потом перешёл в гимназию, но вскоре бросил её, так как началась революция и стало не до учебы, отец же к тому времени разорился, жить было не на что, и вот по воле случая оказался в партизанах, в одном отряде с Сашей Фадеевым, который тогда ещё никаким писателем не был. Однажды у станции Ушумун они попали в засаду. Старовойтова ранило, так вот Саня его на себе почти сутки в отряд нёс. А Коля-китаец тогда погиб.

Звуки первого искусственного спутника земли летят через стратосферу...

— Ни разу с тех пор, как Колю убило, эрху не слышал. — Ещё какое-то время Максим Максимыч топчется в дверях, а потом садится на табуретку. — Тань, а ты слышала?

— Нет, Максим Максимыч, не слышала. Где ж мне такой диковинный инструмент услышать? Вот у нас на Рабочем посёлке на первом этаже татары живут, каждый день их гармонику слышу.

— Не, это не то, — Старовойтов трогает повязку на голове.

— Болит?

— Нет, не болит. Хорошая женщина Софья Самойловна, всё сделала, как надо.

— У неё сын в Москве учится на инженера.

— Знаю, а мужа её по «делу врачей» арестовали, он во время предварительного следствия в изоляторе умер, это она мне сама сказала. Потом реабилитировали, конечно. А что с того, человека-то не вернётся...

Таня проверяет огонь, двигает кастрюли по чугунным направляющим, как вагонетки с породой, они скрежещут, гудят, ударяются друг о друга, переставляет их сосредоточенно по кругу, возвращает на исходную, мешает огромным, как совковая лопата, половником ожившее царство, которое ещё совсем недавно казалось мёртвым.

Много думала в последнее время о том, что прошедшее нельзя вернуть, что всё, что было, таким и останется навсегда, а то, что произойдёт, должно произойти.

— Запомни, ничего нельзя знать наперёд, — грозно говорит Тане Ольга Львовна, лёжа на кровати, что стоит посреди комнаты.

Ольга Львовна — это мать матери.

— То есть как это?

— А вот так: можно помнить прошлое, знать, что делаешь сейчас, но будущее — неведомо.

— Ба, а кто-нибудь про него знает, про будущее, или вообще никто?

Ольга Львовна поворачивается на другой бок, и Таня видит в зеркале, как она подкладывает кулак под щеку и закрывает глаза, оказывается как бы между двух створок шкафа.

Мать матери всегда спит днём, спит куда крепче, чем ночью, и поэтому её можно даже катать на кровати по комнате от нечего делать. А однажды Таня выкатила её в коридор и провезла до лестницы на первый этаж. Слава Богу, что соседи ничего не заметили, а скрип керамических роликов по шербатому растрескавшемуся полу все приняли за шипение патефона инвалида войны дяди Миши Павшина из двенадцатой квартиры.

У него не было рук, миной оторвало в 45-м, и поэтому иглу на пластинку он ставил зубами. Треск при этом стоял на весь дом просто ужасающий.

Ольга Львовна боялась дядю Мишу, потому что у него не было рук, но любила слушать его патефон.

Особенно одна песня в исполнении Клавдии Шульженко ей очень нравилась:

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, играй на все лады.
Так играй, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зелёные сады!

Андреем Степановичем звали её мужа, стало быть, Таниного деда, чьи гантели лежат под шкафом.

Тягал их дед каждое утро.

Дышал тяжело.

Майка его покрывалась пятнами пота.

Сопел да посвистывал...

Кухня меж тем помимо звуков стала наполняться и запахами, манное царство пузырилось изрядно, на его поверхности выростали кратеры, плюющиеся обжигающими, поднимавшимися с самого дна кастрюли сладкими ароматами.

— Ладно, пойду дальше радио чинить. — Старовойтов вставал с табуретки и кланялся по-старинному.

— Приходи, Максим Максимыч, тебя интересно слушать, — улыбалась ему Таня.

— Вот когда почию радио, тогда и приду, — звучало в ответ.

После окончания гражданской войны Старовойтов оказался в Москве, где не без помощи Фадеева, уже входившего тогда в силу, он устроился работать электриком в Бахметьевском гараже, что на Палихе. Тогда же он стал жить в Марьиной роще с табельщицей этого же гаража Шарафутдиновой, с которой познакомился на танцах и из-за которой его впоследствии чуть не зарезали блатные. Два месяца Старовойтов пролежал в больнице, вышел инвалидом, едва мог передвигаться, и всё недоумевал, как же это его, красного партизана, выжившего под пулемётами Колчака и интервентов в Приморье, чуть не убили в Москве, в проходном дворе недалеко от Сущёвского вала. Просто немыслимо! Просто чёрт знает что!

На фронт его, разумеется, после этой истории не взяли, и всю войну он прошёл в роте противопожарной обороны Коминтерновского района Москвы.

— Приду-приду, куда ж денусь, — приговаривал Максим Максимыч и возвращался в печную комнату к своему радиоприёмнику, ремонт которого, честно говоря, затянулся, ведь начал он его ещё прошлой весной.

А вот весну Таня не любила!

Так ещё с детства повелось.

Ей всегда казалось, что всё — умершие зимой деревья в лесу, промёрзший до самого дна пруд с рыбами внутри, скамейки во дворе, бездомные собаки, поливальные машины — не должно оживать, а оно оживало, и от этого становилось страшно, потому что Таня точно знала, что покойники не могут снова начинать дышать.

Вот, например, её дед Андрей Степанович Малозёмов, который умер, когда она была ещё совсем маленькой.

Умер, и всё, раз и навсегда.

Теперь о нём можно было только вспоминать, говорить.

Вот, например, о нём ходили слухи, что то ли сквозь него, то ли из него проросла яблоня, когда он, будучи в изрядном подпитии, уснул у себя во дворе во время майских праздников прямо на земле. Дерево, впрочем, оказалась дичком, но плодоносило при этом так, что осенью засыпало своими кривыми, рогатыми плодами землю ровным салатого оттенка ковром, и пройти к дому и не поскользнуться в этой кислой пузырящейся жиже не представлялось никакой возможности.

Вот и скользили, благо что ходили в резиновых сапогах по непролазной грязи, потому что рядом шло строительство железнодорожной платформы.

Но в конце концов яблоню всё же спилили и сожгли, а вскоре после этого не стало и самого Малозёмова.

Деда похоронили на Кунцевском кладбище.

Так вот, не мог же он ожить и снова заявиться на Рабочий посёлок, не мог, как на старых фотокарточках, улыбаться и обнимать свою Олюшку. Он просто ушёл навсегда, и уже без него продолжалась совсем другая жизнь, хотя Ольга Львовна часто повторяла: «Вот если бы Андрюшенька был рядом...»

Так и все погибшие зимой от мороза или голода, судорог или невозможности вдохнуть колючую стужу должны были исчезнуть навсегда, но они почему-то не исчезали, а продолжали своё призрачное существование среди переживших зиму, или появившихся на свет впервые.

В конце апреля пруд, как правило, оттаивал.

На Рабочем посёлке это было целым событием. Всплывали спящие рыбы и пузырящиеся водоросли, что двигались по поверхности вспененной вонючей воды. Собравшиеся на берегу радовались, кричали, отпихивали палками от берега обломки грязного, начинённого чёрными листьями льда и ждали, когда же рыбы проснутся и откроют глаза.

Нет, не могла всего этого Таня видеть, потому что знала наверняка, что рыбы-то эти — дохлые.

— Как они могут открыть глаза, ну как? — сама себя спрашивала шёпотом, а рыбы как назло начинали шевелить плавниками, двигать жабрами, пускать пузыри, попукивать, может, даже, впрочем, глаз не открывали.

Отворачивалась и шла домой, проваливаясь в лужи, сгребая оттаявшую глину, выдирая носками бот пуки прошлогодней травы, а вслед ей несло:

— Гляди, а Танька-дура испугалась! Иди-иди отсюда, идиотка чёртова!

Так и шла-шла, не оглядываясь.

Заходила в подъезд и тут останавливалась, чтобы перевести дыхание.

Оглядывалась по сторонам — на неё пялились почтовые ящики, частично прибитые к стене, частично прикрученные проволокой к перилам лестницы, номера квартир, идущие вразнобой, были выведены криво, от руки.

Мать просила её проверять почту, потому что ждала писем от сестры из Воронежа и от подруги детства из Покрова, сама довольно часто писала им и сердилась, когда ответ задерживался.

Таня перевешивалась через перила и заглядывала в щель почтового ящика, запихивала туда ладонь и елозила, скребла ногтями по изнанке фанерной дверцы.

— Сегодня опять ничего... вот тебе и вся весна!

В начале восьмого на кухню заглянула дежурная по столовой Лиза Савченко — худая, длинная, коротко стриженная, в безразмерном халате, криво подшитом снизу, и синих рейтузах.

— Дашь поесть? — Рейтузы затопотали-задвигались, поднялись и опустились, снова поднялись и опустились, видимо, от нетерпения, а из-под халата вывалились колени в сгустках шерсти.

— Садись. — Таня захохотала крышкой, выпустив в потолок целое облако густого манного духа, и стала извлекать из глубин царства несметные богатства. — Заодно и попробуешь.

— Вкусно, ой вкусно как... — Лицо Савченко сжалось, и она заплакала. — Сейчас умру от этой вкусноты.

— Не обожгись смотри.

Лиза часто заглядывала так на кухню во внеурочное время и просила её покормить.

Она была блокадница.

Все знали, что у себя в общежитии в Одиново она хранит запасы пшена и гречки, что в феврале сорок второго она похоронила всю свою семью, а её младшего брата Серёжу съели.

А ещё все знали, что в душевую она всегда ходила одна, потому что не могла видеть голые человеческие тела, — ведь мимо её дома на Среднем проспекте в Ленинграде их на грузовиках отвозили на остров Голодай хоронить. Брезент срывало ветром, истрёпанная одежда разлеталась в разные стороны, и она сквозь мутные стёкла видела одну и ту же картину.

Деревянные рамы тогда шелушились, царапали руки, а медные задвижки скреблись, как мыши.

Лиза помнила, что у них в доме до блокады жили мыши, которых она с братом Серёжей втайне от родителей подкармливала перловкой. Мыши приходили, подьедали рассыпанную за шкафом крупу и благодарили.

— Спасибо, — благодарила Савченко, — ох и вкусная у тебя, Танька, каша, — облизывала тарелку и ложку и несла их к раковине, на которой масляной краской было выведено «посуда».

В дверях останавливалась, подтягивала сползающие рейтузы.

— Это болезнь, Таня, понимаешь, я ничего с собой не могу поделать. Ты не смотри, что я такая худая, мне ещё в Ленинграде врач сказал: «Будешь есть за всех твоих, пока не наешься». Не наелась ещё, видно, уж прости. У меня с того февраля провалы в памяти приключаются, иногда кажется, что это меня на грузовике вместе со всеми на Голодай везут, в братскую могилу. Меня везут, холодно, а я, голая,

лежу среди трупов и кричу, что ещё живая, но меня никто не слышит, только брезент бьётся на ветру да колёса грохочут по мостовой. Я однажды летом, когда уже встала и смогла ходить, дошла до Ксении на Смоленское, это у нас рядом... Знаешь, кто такая Ксения?

— Нет, не знаю.

— Святая наша, она всем помогает, а мне не помогла.

— Почему?

— Не знаю. Наверно, потому что не то я у неё попросила.

— А что ты попросила?

— Еды. Я у неё еды, Таня, попросила. А она не дала. Да ведь она ей и не нужна, еда эта, она же святая, а я об этом как-то не подумала, — Савченко развела руками и выпятила нижнюю губу, отчего её узкое бледное лицо ещё более вытянулось, подалось вперёд, а нос заострился. Птичий нос, только из парафинового хряща и состоящий.

— Ладно, пойду я, — синие рейтузы вытянулись в струну, начали пятиться, и дверь на кухню в ту же минуту захлопнулась за ними, как крышка на кастрюле шлёпнулась, как эмалированная дверца топки плиты-печки притворилась, как створка выкрашенного белой краской шкафа с посудой с грохотом запахла.

Таня подошла к окну, открыла его — ледяной воздух ворвался на кухню, расплескав занавески по потолку.

«Так и захлебнуться в этом потоке недолго», — подумала она и вспомнила, как ещё пару часов назад смеялась в рукавицу и говорила, что ей не страшно, совсем ничего не страшно. И правильно говорила, потому что теперь на улице почти рассвело, а солнце, курясь над неровно обкусанной гребёнкой леса, осветило слабым немигающим, не оставляющим после себя теней светом двор санатория, покрытые инеем гипсовые изваяние пионера с горном и школьницы, читающей учебник, железные ворота, засыпанные снегом скамейки, выпускающие из своих внутренностей дым кирпичные трубы, плывущие в морозном мареве, как беззвучные аэропланы.

Аэропланы эти в результате уплывали куда-то вниз, за зубчатую линию горизонта, за верхушки чёрных деревьев, что и в ветреную погоду были абсолютно неподвижны, а сейчас, когда дым восходил в небо вертикально, и подавно оставались незыблемыми.

Солнце же поднималось всё выше, но не грело нисколько, лишь жгло холодом да слепило огромным прожектором, а предметы на пути его вечного сияния увеличивались в размерах, прирастали острыми тенями, медленно двигающимися вслед за небесным светилом, переваливаясь через сугробы и железнодорожную линию, через платформы и посёлок, через заборы и пешеходный мост над путями.

Точно такой же мост был и на Рабочем посёлке. Таня хорошо помнила, как местная шпана залезала и плевалась с него или бросала пустые бутылки в проезжающие внизу поезда. Однажды, кажется, это было на ноябрьские праздники, проходя под мостом, паровоз специально выпустил чёрный, бурлящий, какой бывает после взрыва авиационной бомбы, дым, а когда он рассеялся, унёсся пепельными лохмотьями вслед ушедшему товарняку, лица хулиганов оказались черны от копоти, как у эфиопов, а кое-кто зашёлся истошным кашлем.

«Так им и надо, дуракам, — ехидно думала про себя Таня, — так им и надо».

Как только закрыла окно, занавески сразу же и упали, беспомощно повисли на выкрашенном зелёной краской карнизе, безжизненно распластавшись на подоконнике. И уже потом, после завтрака, она соберёт в столовой тарелки, отнесёт их на мойку, а чистые ложки разложит в металлические кюветы, которые стоят тут же на подоконнике и теперь укрыты занавесками, как саваном.

Подумала, что на удивление все утренние страдания забылись совершенно, а ведь ещё несколько часов назад они казались невыносимыми, хотелось плакать и кричать от боли и холода, а сейчас — хотелось смеяться и петь, например: «Эх, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады!»

— Всё поёшь, голуба-душа? — В дверях кухни снова появился Максим Максимыч и, хитро улыбаясь, проговорил: — Почти почини-и-и-ил всё ж таки, скоро танцевать с тобой будем, Танька!

2

Голубятню Лёша Раев держал в конце четвёртой линии у самого леса на заболоченном участке, который ему как строителю посёлка выделили перед самой войной.

Голубятню он соорудил из списанных стройматериалов и собирался тут жить вместе со своими питомцами, которые, как ему виделось, сидели бы у него на голове, ворковали бы, шелестели крыльями, любопытствовали.

Однако вернуться сюда он смог только в конце сороковых.

Участок к тому времени зарос густым непролазным лесом, да и от построек почти ничего не осталось.

Пришлось всё начинать с начала.

Помогал сын, конечно. Общими усилиями они поставили голубятню с пристройкой и печкой. А так как в это время у сына родился ребёнок, Раев оставил им свою комнату в коммуналке на Басманной и окончательно перебрался сюда.

Голубей собирал по всей Москве у людей знающих: в Тушино был у дяди Серёжи Тюпича, на Преображенке — у рыжего Алфёрова, на Белорусской — у братьев Цисельских, а у самого Моисея Гальперина с Таганки приобрёл красавца и злодея двухчубого немецкого барабанщика по прозвищу Саваоф, который, конечно же, знал, что он красавец и злодей.

Саваоф строго зыркал по сторонам, бывало, что и дубасил попавшихся ему на пути нерасторопных сизарей и прочих обитателей голубятни пониже сословием. Его боялись и уважали.

Вечерами же, когда все утихомиривались на своих насестах, барабанщик любил заглядывать к хозяину и беседовать с ним.

На строительство дачного посёлка для сотрудников народного комиссариата внутренних дел Алексея командировали в тридцать седьмом году в должности инженера-проектировщика.

Сам не понимал, почему выбор пал на него, потому что никакого отношения к комиссариату он не имел и проектировал исключительно промышленные постройки. Даже пытался объяснить налысо бритому человеку, словно бы выдавленному из наглухо, да самого подбородка, застёгнутой гимнастерки, что тут, видимо, произошла какая-то ошибка и никакого отношения к гражданскому проектированию он не имеет, но разговаривал Раев с пустотой, овеществлённой бликующим в свете настольной лампы теменем. С валуном округлой формы, обтёсаным прибоем и просушенным солёным ветром разговаривал.

Склонившись над столом, человек что-то записывал, иногда, впрочем, он прерывал своё занятие, достигал подбородком левого плеча, при этом лоб его багровел совершенно, человек начинал покашливать, раздувать ноздри, тянулся-тянулся старательно, закрывая глаза, даже замирал на какое-то мгновение в таком

противоестественном положении, а потом как ни в чём не бывало возвращался к заполнению многостраничного формуляра.

«У него, наверное, нервный тик после контузии или ранения в шею приключился», — думалось.

— Подпишите, — наконец, произносила пустота.

Раев ставил подпись, совершенно не узнавая в нарисованной пером расплывшейся закорючке своих фамилии-имени-отчества, однако этот иероглиф и был отныне согласно установленному документу им самим. В момент подписания иероглиф оживал, плыл перед глазами, но мог и содрогнуться от падающих рядом с ним, как фугасные бомбы, круглых печатей.

На следующий день Раев в сопровождении двух офицеров и рослого ушастого мужика в прорезиненном плаще, представленного ему как бригадира стройки, уже бродили по лесу в районе платформы 29-й километр, размечали деревья, соотносились с картой, искали ориентиры, курили.

Начинал накрапывать дождь.

К середине лета строительная площадка здесь была расчищена от леса, а к началу осени появились первые деревянные дома. По типовым немецкими проектам их строили заключённые, для которых в лесу был возведён временный лагпункт.

По внешнему виду это были зажиточные крестьяне — неспешные, немногословные, из тех, о ком говорят «тяжёлая кость», ходили слухи, что на стройке работают этапированные из Калужской области старообрядцы.

Дождь усиливался меж тем, начинал раскачивать ветки, барабанил по рубероидным навесам и брезентовым тентам, а порывы ветра хлестали изо всей силы моросью по лицу, отчего бороды старообрядцев намокали, и по ним текла вода.

Сидели молча, терпеливо пережидая дождь...

Вот и Саваоф тоже терпеливо ждал, когда Раев заварит свой чай и начнёт с ним разговаривать.

Ничего ему не оставалось, как поводить пепельным зобом, передним чубом шевелить, как усами, а задним, — как воротником, который приходится поднимать в сильные морозы, ну и гомонил ещё что-то на своём голубином языке.

Кстати, вот на этом самом голубином наречии умел разговаривать отец Раева — Алексей Раев-старший, который ещё во время русско-японской войны служил на военно-голубиной станции в Порт-Артуре в звании поручика, а вернувшись домой, построил у них во дворе на Басманной голубятню, которую в двадцатых годах приписали к секции голубеводства при Осовиахиме, а его обязали заниматься с детьми из окрестных домов этим самым голубеводством на общественных началах.

Раев-старший рассказывал, что этому языку его в Порт-Артуре научил один местный китаец, которого звали Колей. У него, разумеется, было своё китайское имя, но он крестился и принял имя Николай в честь Николая Чудотворца, потому что, выходя в море, бывал не раз им спасён, крестообразно перепоясанный белым омофором с изображёнными на нём крестами, а также львом, тельцом, орлом и ангелом.

Коля очень жалел, что у него не растёт борода, потому что если бы росла, то он непременно бы отпустил и стал совершенно похожим на Николая Угодника.

Смеялся, конечно, шутил благоразумным разбойником.

Говорили о нём, что после революции он вроде бы подался в красные партизаны.

Вот китаец сажает голубей себе на плечи и голову, начинает раскачиваться, приговаривая:

вращайся-вращайся
кружись-кружись
лети-лети
не далеко и не близко
не низко, не высоко,
шепотку корицы бросаю по ветру
шепотку перца бросаю против ветра
ветер приходит с моря и уходит в горы
ходи по песку и по камешкам,
а по насесту не ходи
солнцу отвечай,
а луне не отвечай...

Про луну голуби, конечно, знали, потому что когда наступало полнолуние, они чувствовали себя дурно, били крыльями в своих коробах, боялись, что за ними придёт кот, который никогда не спит, или лис, который тоже никогда не спит, прячется в соседнем лесу, злодей, и сожрут их, расшвыряв по голубятне всё то, что от них останется: пух, перья и кости.

Отвечали голуби Коле:

кружимся-кружимся
летаем-летаем
не далеко не близко
не низко не высоко
не быстро
не медленно
видим на море корабли
чуем запах пороха
чёрный дым из труб до неба поднимается
быстро идут корабли
гудят протяжно
вращают-вращают воду
кружат-кружат её.

— Это они так про японцев нам докладывали, — пояснял сыну Алексей Петрович, — а мы тут же с донесением в штаб, мол, так и так, японец близко, береговая батарея к бою. — Разводил руками: — Ну, мне до Коли, конечно, далеко было, но кое-чему он меня всё же научил. Например, уже у нас в Москве на Басманной я отправлял своих белых анатолийцев и белозобых воронежцев на Благовещение к Никите Мученику. Объяснял им, что в голубе Дух Святой снизошёл на Матерь Божию и подал тем самым Ей Благую Весть, а они понимали меня, слушали, кивали головами в ответ, потом взлетали и кружили над Никитой Мучеником...

Ну вот и дождался Саваоф-долготерпеливый.

Алексей Алексеевич садился к столу, затынутому вытертой по углам клеёнкой, ставил перед собой стакан с чаем:

— Так вот, эти люди со стройки называли себя старовеерами. Всегда работали молча, редко переговаривались, охрана относилась к ним с уважением, матерных слов в их присутствии себе не позволяли даже водители лесовозов. Строители сами разгружали брёвна, тесали их, пилили под размер, у каждого был свой личный топор, с которым никогда не расставались.

— Опиши, на кого они были похожи, — елозил по клеёнке от нетерпения Саваоф.

— Ну что тебе сказать, — они ни на кого не были похожи. Когда я наблюдал за ними, то думал, что они живут в каком-то другом времени и здесь оказались случайно.

Их выражение лиц, белёсые, немигающие глаза, размеренные, словно навсегда заученные, жесты происходили из какой-то другой жизни, о которой я, например, ничего не знал. Слышал, конечно, читал что-то, но ничего не знал толком. Из них я общался только с их старшим — степенным немногословным мужиком по имени Пётр, а фамилия у него, если не ошибаюсь, была Морозов. Однажды, дело было уже поздней осенью, мы пошли с ним обходить линии посёлка. Я показывал ему проект, что-то говорил о сроках, а потом как-то незаметно наш разговор перешёл на голубей. И лицо Петра внезапно изменилось — посветлело, что ли, прояснилось, глаза ожили, он даже смеялся, когда слушал мой рассказ о том, как голуби моего отца кружили над Никитой Мучеником, потому что знали, кто такой Дух Святой.

А потом он рассказал о себе.

Был родом из Боровска, что на берегу Протвы, куда его предки ещё при Петре Первом бежали от сотников.

Рассказ его был красочен и точен, а многие детали, упомянутые невзначай, делали меня свидетелем тех давно минувших событий. Он словно бы жил и здесь, и там одновременно, а передо мной в тот момент как бы предстояло два человека.

Одного звали Петром, а другого — Саввой — его далёкий предок.

Вот Савва Морозов стоит на берегу реки.

Идёт густой мокрый снег.

Он заходит в воду, отталкивает от берега лодку, переваливается в неё, и течение тут же подхватывает их, начинает крутить, разворачивая перед очередным извивом русла, вспенивая серую илистую воду.

Над рекой стоит туман.

Деревья, что нависли над водой, укрыты белыми бесформенными хлопьями, под тяжестью которых ветки прогибаются и трещат.

Когда Савва достигает середины реки, к берегу, от которого он только что оттолкнулся, подъезжают всадники. Они спешиваются, что-то кричат беглецу вдогонку, угрожают, а дин из них достаёт штуцер и стреляет из него в непроглядное снежное марево.

Какое-то время хлопок висит в воздухе, но потом оседает на воду вместе со снегом, и течение уносит его вслед за собой.

— К Пафнутию поплыл, демон, — щерится один из всадников, открывая беззубый свой рот, в который с неба тут же проваливаются ошмётки мокрой снежной каши.

— Не доплывёт, стремнин много, — отвечает ему тот, кто стрелял, и прячет штуцер в плетёную из дранки кобуру у седла.

— Вот что за люди такие, — откликается третий всадник, — стреляешь в их, в острог сажаешь, а им всё нипочём.

— Они и не люди никакие, — сплёвывает беззубый. — Они — демоны. Им *сотона* силы даёт, вот они и не умирают, даже в огне не горят. Я сам видел, когда мы их скит под Тобольском окружили. Всё горит ясным пламенем, а они нет.

— Горазд ты врать, Дрынов. — Третий всадник подходит к воде, поднимает с земли размером с ладонь булыжник и со всей силы швыряет его в реку.

— Вот тебе крест, Василий Дмитриевич, своими глазами видел этих чертей неопалимыми!

Откуда-то из туманной дымки раздаётся всплеск воды.

— Бесплезно с тобой говорить. — Василий Дмитриевич забирается на лошадь. — Поехали обратно, сотнику скажем, что он утонул.

Всадники топчут тропу вдоль берега, перемешивая песок с прошлогодними водорослями и топляком, а потом заезжают в провал длинного, исполосованного языками грязного снега оврага и исчезают в нём.

Лодка та неизвестно чья была, просто прибило течением, с ней повезло, конечно, но худая оказалась, потому уже вскоре, пройдя несколько поворотов реки, Морозов сидел в воде по шиколотку.

Не замечал, как чудом проходил стремнины, вернее, не понимал, как это получалось у него, ведь не имел вёсел, чтобы управлять лодкой. Всё по воле течения совершалось, надо думать, — по воле Божией то есть. Успевал Савва только хвататься за нависающие над водой ветви, стряхивая на себя снег, подбирался подобным образом ближе к берегу, подальше от глубины, драл руки в кровь, но когда наконец выбрался из лесу на равнину и в излучине поймы на горизонте в серой курящейся дымке увидел колокольню Пафнутия на Истерьме, то лёг без сил на банку и стал смотреть в небо.

Нет, ничего не мог разглядеть в этой кутерьме, потому как снег, валивший из низко идущих облаков, забивал глаза, и в конце концов их пришлось закрыть.

Темно-темно стало.

Так и на глубине, где живёт Поддонный царь, темно-темно.

Лодка качалась и трещала при разворотах, впрочем, всё это теперь происходило как бы уже и во сне, потому что не мог Савва видеть ни пологих берегов, ни костров, горящих в долине, ни деревянных покосившихся мостков, ни людей в сермягах, стоявших по берегам.

Когда они увидели лодку, то побежали за ней, а на отмели подтащили её баграми, выволокли едва живого человека, лежащего на деревянной поперечине, завернули его во власяницу, посадили у костра и ничего у него не спросили, потому что всё и так знали, ведь тогда в Боровск бежали многие.

Кто как: кто по воде, кто пешком через леса. Пришлые селились в землянках рядом с монастырём, терпеливо ожидая благословения Пафнутия, что лежал в гробу, а над ним денно и ночью читались разрешительные молитвы.

Первое время Морозов жил в курной избе при монастырской солеварне, потом его перевели на хоздвор, куда за ним и пришёл низкорослый одноглазый монах с лохматой, пегой, словно перемазанной в глине, бородой, и повёл его к Пафнутию.

— Не дерзай, не вздумай дерзать, — повторял всю дорогу монах, — строг нынче старец, многое знает и про многое ведаёт, а ты плачь и не дерзай, раб Божий.

Савва хорошо запомнил, как тогда он лёг на каменный пол рядом с гробом, как его накрыли епитрахилью, и он услышал глухой, едва различимый голос, повелевший ему идти в рощу за Истерьму и строить там дом.

С тех пор Морозовы и жили в том доме...

Савва.

Василий.

Игнат.

Александр.

Пётр.

— Огромный дом был, не чета этим, — усмехнулся Пётр. — Бывало, что и горел, конечно. Заново отстраивали. Всякое бывало. А теперь в нём вот новая власть школу устроила.

К весне, когда основные работы в посёлке были завершены, староверов этапировали куда-то под Ленинград, а заканчивать объект были оставлены

вольнонаёмные рабочие, строившие к этому времени недалеко от платформы детский санаторий...

Двухчубый немецкий барабанщик Саваоф спит, и ему снится, как он летает над посёлком, над железной дорогой, садится на крыши домов и телеграфные столбы, описывает круги над лесом, с опаской посматривая вниз, потому что знает, что снизу за ним наблюдают из своих нор различные зубастые звери, которые только и ждут, чтобы наступило полнолуние.

На линиях уже зажгли свет.

Непонятное время суток какое-то: то ли ранее утро после душной дождливой ночи, когда от бревенчатых стен поднимается пар, то ли первые осенние сумерки, и в посёлке пустынно, а в некоторых домах уже горит жёлтый свет, хотя на улице довольно светло.

Здесь Алёша Раев привык ложиться спать рано, не дожидаясь темноты, просто задергивал занавеску и выключал настольную лампу.

Вот и сейчас лёг, но вспомнил, что забыл закрыть калитку, не поленился, пошёл и закрыл её на щеколду, затем вернулся, проверил печку — тёплая — и снова лёг.

Скорее всего, не запер её сегодня днём, когда ходил на станцию за молоком, его продавали местные, пристроившись под самодельным деревянным навесом.

Некоторые помнили Алексея Алексеевича ещё до войны, когда он работал здесь, на объекте, здоровались уважительно, и он отвечал, многих даже знал по именам.

На обратном пути, обходя посёлок со стороны первой линии, неожиданно стал свидетелем следующей картины: прямо в воротах детского санатория заглохла продуктовая машина, шофёр, чертыхаясь, сидел под капотом, а женщина, скорее всего, санаторский повар, разгружала её. Раев подошёл и предложил помочь.

— Спасибо, если можно, тут быстро, — улыбнулась женщина. — Вон к той двери, мимо памятника.

Раев хорошо помнил, как в санаторий привезли эти гипсовые изваяния пионера с горном и читающей школьницы. Он тогда как раз был на соседнем участке и имел возможность наблюдать, как его снимали краном с грузовика и устанавливали на кирпичном постаменте.

Обходил их сейчас так близко, что даже мог прикоснуться, заглянуть в их лица, но ничего, кроме пустоты выражения в закрашенных белой масляной краской глазах, при этом не находил, как и тогда, когда видел перед собой темя налысо выбритого человека в гимнастёрке.

Оступился и чуть не выронил деревянный поддон с хлебом, тут же и услышал:

— Вообще-то раньше Максим Максимыч всегда помогал, а сегодня, как назло, лежит, разогнуться не может — спина. — Женщина открыла дверь, и они оказались в печной комнате, откуда по узкому коридору прошли на кухню. — Вот здесь ставьте. А вы знаете нашего Максимыча?

— Наслышан.

— Он в гражданскую на Дальнем Востоке воевал, был ранен, а в войну служил в противопожарной обороне где-то на Сущёвском валу.

Потом снова вышли на улицу и направились к машине.

— Меня — Алексей зовут, а вас?

— Тамара Зорина я, — проговорила женщина как-то неуверенно и едва слышно.

— Будем знакомы. — Раеву показалось, что ей не хотелось называть своё имя, что произнося его, она испытывала какое-то лишь ей ведомое неудобство, словно оно вызывало у неё воспоминания, которых она избегала.

«Вот зачем назвала свою фамилию?» Спросила сама себя и поняла: а потому что сделала это по привычке, автоматически, ведь чаще всего к ней обращались по фамилии, и она называла её с большей охотой, чем имя.

Нет, никогда, наверное, не смогла бы стать другой, не знала, почему в её жизни всё сложилось именно так, как сложилось, и есть ли в этом её вина, не чувствовала себя способной что-то изменить, коль всё шло так, как шло по раз и навсегда заведённому распорядку: санаторская кухня через день, домашнее хозяйство, уборка поселкового клуба, где подрабатывала и куда её пускали на дневные киносеансы бесплатно. Тут она смотрела на мерцающий экран в полупустом зале, не отрываясь. Многие картины знала наизусть, конечно, потому что пересматривала их по нескольку раз, дословно помнила диалоги героев, вместе с которыми полушёпотом напевала их любимые песни.

Потом выходила на улицу и шла домой.

Спать ложилась рано, завтра к шести утра уже нужно было быть на смене, да и сил к концу дня не оставалось никаких.

Задёргивала занавеску, лежала с открытыми глазами, а потом засыпала, абсолютно не понимая, когда произошёл этот переход из одного состояния в другое.

Точно, вернулся со станции и забыл закрыть калитку. Был в какой-то рассеянности, что ли, которую можно объяснить только тем, что продолжал вести с Тamarой воображаемый разговор, был сосредоточен на нём, боясь пропустить хотя бы одно её слово, потому как, не расслышав его, сказанного негромко, в полузабытьи, тихим бормотом, повествование теряло всякий смысл, превращалось в набор разрозненных воспоминаний, которые, вполне возможно, рассказчику были важны и о многом говорили, но слушатель не мог понять их значения в разъятом временем потоке сознания.

Итак, Раев старался вспомнить эти слова, но у него ничего не получалось.

Слова-смыслы ускользали, рассыпались на буквы, видоизменялись, наплывали друг на друга, обретая черты совершенно неразборчивые, ровно как и подпись, поставленная им под формуляром при свете настольной лампы в присутствии человека, страдающего нервным тиком.

Впоследствии, как известно, эта подпись превратилась в оживший иероглиф, один из тех, что Алёша видел на старых фотокарточках Порт-Артура, привезённых отцом с русско-японской войны. Иероглиф трепетал и содрогался под ударами японской корабельной артиллерии, — снаряды ложились совсем рядом, расшвыривая чёрными клочьями землю вперемешку с вырванными с корнем деревьями и обломками каких-то построек. Во время одного из таких обстрелов и была уничтожена военно-голубиная станция вместе со всеми её обитателями.

Вернувшись на кухню, Зорина ещё долго сидела у плиты, боясь признаться себе в том, что продолжает вести с Алексеем разговор.

Например, такой:

— Меня Тамара зовут.

— А тут, случайно, санаторий не имени Лермонтова? — смеялся Алексей в ответ. — Максим Максимыч, Тамара, помните, как у Михаила Юрьевича:

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нём были всеильные чары,
Была непонятная власть...

- Нет, это не про меня.
- Почему вы так думаете?
- Да потому что нет у меня ни власти, ни всесильных чар.
- Вы просто убеждаете себя в этом, у вас очень красивые глаза, вы боитесь их?
- То есть как это?
- Очень просто — боитесь себя другую, не так ли?
- Откуда вы знаете?
- Я не знаю, я только предположил.

Предположение, равное знанию. Видимое и невидимое, лежащее на поверхности и скрытое в глубине. Изречённое и то, что нельзя произносить вслух. Всегда знала, что существует этот закон, когда нарушение внутреннего запрета приводит к страданиям. Боялась и соблюдала. Роптала и заперла уста, просто закрывала рот ладонями, когда хотелось проорать что есть мочи о сокровенном и оказаться после этого совершенно беспомощной, обессиленной, растерзанной. Самой собой же и растерзанной, ведь знала о себе всё, именно знала, а не предполагала, что знает. Подбирала слова к этому знанию и не могла их подобрать.

А вот подобрал всё-таки Раев слова-смыслы к её рассказу.

Произнёс одно, а за ним последовали и другие, не в лад, невпопад, но при этом каким-то необъяснимым образом возникла картина целостная, в которой всё соединилось воедино и по времени, и по мысли.

Эвакуация, включённое радио, письма на фронт, почтовый штемпель, воспаление лёгких, зеркало над рукомойником, ответ из военкомата, кафельные стены, распухший язык, электрическая лампа под потолком, сон про майские праздники, платформа Пионерская, зимний лес, палуба прогулочного парохода на Москве-реке, кинокартины «Сердца четырёх» и «Весна», полупустой зрительный зал.

— Да, точно, она говорила, что во время дневных сеансов сидела в зрительном зале почти одна и даже не могла себе представить, как тут может быть по-другому!

Саваоф сопит во сне.

Скорее всего, он видит себя снисходящим Духом Святым от ладони Вседержителя, также наречённого Саваофом или Тетраграмматоном, чьё имя зашифровано в четырёх магических буквах. Ладонь эта светится изнутри, и к ней нельзя прикоснуться, потому что она невещественна, она есть лишь образ ладони, подающей пшено и рис.

Саваоф не раз слышал рассказ Алексея Алексеевича про Никиту Мученика на Благовещение, потому и знал, что голубь есть птица особенная, богоизбранная, могущая совершать чудеса: оживлять умерших, насыпать дождь в засуху, говорить человеческими голосом, предсказывать будущее, входить в огонь и не гореть в нём.

Зорина очнулась.

Подошла к рукомойнику, пустила воду, подняла взгляд на своё отражение в зеркале, висевшем над краном, и со всей силы ударила себя по лицу.

Отражение скривилось, но боли не почувствовало.

Иван Волосюк

Губительные дни

1

В моём взросленье не было кириллиц,
стремящихся к округлости глаголиц.
Я пил из чашки, на меня молились,
я рассуждал в уме: «Смешной народец»,

ценители искусств, миллениалы,
закрылись синтетической печалью.
Какие рты им всем намалевали:
у женщин, как сургучные печати,

у юношей, как бронзовые плашки.
Их треники, надетые на рейвы,
их пёстрые гавайские рубашки
вокруг меня толпились, как деревья.

Но это сад, где каждый плод запрещен,
где чёрточки на глиняных дощечках,
я, принуждённый к разговорной речи,
считал узором, но любил до смерти.

2

Я думал: вавилонцы и шумеры
не жили впрок, из звёзд слагая сонмы,
а просто так рыдали и шумели,
помыслив, что дракон сжирает солнце.

И кто-то праздный на пещерных сводах
нам вывел сцену праведной охоты,
не будущего ради — и свободы,
а оттого, что уголь был и охра.

Волосюк Иван Иванович — поэт, переводчик, литературный обозреватель. Родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтёра. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Юность» и др. Живёт в Подмосковье.

Он претерпел и голод, и болезни,
но не был красотой звероуловлен.
Он пел свои сновидческие песни
на языке святилищ и жаровен.

3

Цветущий тополь на непрочных ветках
развешивал тряпье.
Олень со страхом видит человека,
несущего копье.

В строенье тела линии разрыва,
а кровь пьянит врага,
и кажется, что смерть ещё утяжелила
могучие рога.

А в миг, когда внутри погас огонь псалтири,
зверь падает на бок,
как чёрная фигурка в тире,
весь мир вобрав в расширенный зрачок.

4

Овидий, скорбь твоя не подобает месту,
сарматы наизусть твои учили песни,
раз не было письма,

и уходили вверх до озера Меотов —
там тысячу смертей сыграла, как по нотам,
неспешная война.

Я докопаться мог до кладов и кореньев,
когда б на пласт травы упал мой соплеменник,
прямив чабрец и лён,

и улыбнулся мне застывшими устами,
а я б его зарыл по вечному уставу
в горячий чернозём.

Какой унылый год — тягучий, одичалый,
две тысячи какой — я сам не различаю,
что август, что февраль.

Но бедный мой сосед не справится с позором,
зарубки на столбе оставит робинсонам
и купит календарь.

Я всё тебе открыл, от альфы до омеги,
что телом стал ленив и молча лёг на снеги
для ясности в мозгу.

Что двери запирал, завесил окна в доме,
но спасся от чумы, укрылся при погроме
и вот теперь жи-ву.

И весь я — не умру.

5

«Ты говорил сквозь сон, я думала, что бредишь», —
сказала мать ему.

«Дай, Господи, — просил, — пустых бомбоубежищ
народу моему.

А если хочешь, то пройди по белу свету
и всех освободи».

Двуперстием достал из пачки сигарету,
кивнул мне: «Подкури».

И я спросил: «Отец, давай вот здесь икону
повесим на стене».

А он в ответ: «Прости, я ничего не помню,
что делаю во сне».

6

«Трансцендентальный» — допустимый мат
в Артёмовске, а нас везут к финалу.

И в этот раз, не то, что год назад, —
я в чистой куртке, трезвый, без фингала.

Методіа... Проклятая латынь,
твоих надгробий чёрные перфекты
я принимал, как образы руин,
как страшные тяжёлые таблетки.

Я ждал, когда в губительные дни
росток пробьётся новой Иггдрасили
из пепельной и угольной земли
на стыке не России и России.

Когда в меня стреляли наугад,
я соглашался, в общем, добровольно
расстаться с телом, взятым напрокат,
но так, чтоб сразу: быстро и не больно.

Сергей Прудников

Искушение

Рассказ

Боль была невыносимой.

Кажется, Полина никогда не испытывала такой боли.

Может, что-то похожее чувствуют женщины при родах? Но итогом родовых мучений становится новая жизнь, а здесь — смерть, каждый час, каждую минуту.

Нечто подобное являлось ей в ночных безумных кошмарах. Но и там имелся свет — пробуждение. А здесь — без света. Погасили свет. «Прижмурили» — приходило в голову ей тупое, и роилось потом долго: «Одни жмуры, одни жмуры!» Каких жмуров представляла она? С синими телами, с вываленными языками, с ярко-красными потрохами.

В детстве, классе в шестом, они с девчонками встретили в парке рядом с домом большого страшного мужика с бородой. Мужик распахнул полы пальто, и то, что они увидели — уродливое, противоестественное, — напугало её до остолбенения. Но и тогда имелся выход — возможность убежать.

Некоторые из её знакомых убежали — в Европу, Грузию, Казахстан. Бывшая коллега улетела с концСергей Прудников. Искуплениеи в Канаду. Одна семья — в Новую Зеландию.

Она тоже подумывала о Европе, а конкретно об Австрии, где жили её друзья, догадавшиеся перебраться туда ещё два года назад. Но наступит ли спасение с переездом? — сомневалась она. Не придётся ли и там бормотать утомительное — «одни жмуры, одни жмуры», испытывая новые терзания от непосредственного соседства с теми, кто вынужден искать убежища после того, что развязала её страна?

Накануне их музей собирался с выставкой в Эстонию, — куратором была как раз Полина. Но грянул гром, и проект притормозился. А потом заглох, кажется, — навсегда. По крайней мере, она не представляла, что должно случиться, чтобы Таллинская галерея вновь открыла для них двери. «Как одной краской помазали», — думала она. Точнее, измазали. Да и краской ли? Уж лучше бы приняли. И — допускала она крамольную мысль — конфисковали всё! Примите, заберите, не жаль. Хотите, — сами останемся как добровольные заложники. Есть вещи более высокого порядка.

Сергей Прудников — журналист. Родился в 1982 году в Кызыле (Тува). Окончил исторический факультет Красноярского педагогического университета. Печатался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Юность». Живёт в Донецке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

Она обсуждала происходящее с Жанной, читала посты в соцсетях, листала новости в телеграм-каналах, темнела на глазах и худела, не спала, восторгалась акциями гражданского мужества единичных героев, сжимала зубы, плакала, сидела без сил, лежала без сил, жила без сил, разругалась окончательно с отцом. И всё время задавала один и тот же вопрос: «А что могу сделать я?» Она догадывалась, что может сделать что-то. Час испытаний пробил, завтра станет поздно. «Кто ты?» — бросала она себе в лицо, тёмная и страшная, стоя перед зеркалом в ванной, и отворачивалась в отворачивании, не находя ответа.

Её переполняла ненависть. Сейчас эта ненависть съедала её саму, отравляла как ядом, вытягивала последние соки, доводила до исступления. Не спасали ни работа, ни Жанна, ни общение с матерью, ни переписка с Анной, ни книги, ни тем более концерты, выставки и кино, которые раньше, казалось, способны были держать на плаву даже в самую пасмурную погоду, а теперь — не маячили даже на горизонте.

Она стала переводить деньги. В один из фондов, помогающий детям, старикам, женщинам, объединённым одним словом — «жертвы». «Да кому угодно пусть идут эти деньги! — думала Полина. — Хотя бы и военным, там виднее. Просто буду перечислять копеечку, которая обязательно найдёт своего адресата: тому ребёнку даст чашку горячего чая и булку, этой старушке — тарелку гречневой каши, а той мамочке — билет на автобус, чтобы выбраться поскорее из ада». «Живите!» — приговаривала Полина, отправляя очередную сумму, и это «живите» побеждало на короткое время «жмуров».

Но переводы не выводили из ступора, не уменьшали боли, не спасали. И — понимала она — не меняли ситуации. Борьба с последствиями, спиртовые ватки на теле. Требуется что-то большее. «Кто ты?» — тыкала в зеркало Полина.

Ответ неожиданно нашёлся в слезах.

Она никогда не интересовалась народными традициями: зачем, например, покойников на похоронах оплакивают профессиональные плакальщицы (разве недостаточно скорби родственников?). И не изучала этот вопрос и сейчас, — дабы не натолкнуться на препятствие, что может свести на нет её искренний порыв. Она чувствовала, что нужно следовать инстинктам, слушать сердце. Внутренняя природа толкала её к определённым действиям, и там, именно там, виделся свет.

Она стала плакать. Плакать не за себя, не от собственной боли, а за других, за чужую боль. Становилась после работы на колени, как на молитву, склоняла голову к полу («к долу», — называла она) и отдавала себя без остатка, до капельки, до слезинки, оплакивая их — невинных, убиенных, всех вместе и каждого в отдельности. «Сейчас дело оплакать», — говорила Полина, извлекая из себя знание, о существовании которого не подозревала. Но и не удивлялась открытию, — она следует за сердцем, а сердце не обманет, приведёт, как клубочек в дремучем лесу, к заветной полянке, на которой солнышко, на которой не властна смерть. «Всё ведали предки, всё чувствовали. Но и у нас дверца не заперта», — думала Полина. И верила: от её слёз облегчается боль и страдания тех, далёких, незнакомых, и рассеиваются тучи над ними, и кривая выпрямляется, и ближе становится мирное небо. Слезы изливались обильно, она не просто плакала, но — редела, рыдала, выла.

«Что могу, маленькие, что могу!» — повторяла она, стоя, простоволосая, на коленях, сжимая кулаки, вонзая ногти в ладони. И видела перед собой бойца-богатыря — с русой бородой, большими руками и широкой грудью, в камуфляже, который находит в её горячих слезах, пусть убиенный и неживой, утешение и покой. «Всё сделаю, мой хороший, оплачу, омою!» — продолжала она, не поднимая головы. И видела новобранца-мальчика — совсем зелёного, круглоголового, безусого, пушок

на щеках, светлого, как одуванчик. И видела пожилого солдата — вчерашнего крестьянина, небритое лицо, светящиеся, как у подростка, глаза, золотые, оскалившиеся в щербатой улыбке, зубы, морщинистая шея, загорелая до черноты кожа, тяжёлые трудовые кулаки, вынужденные взять в руки автомат, чтобы защитить родную землю, — она не знала таких людей, но сегодня, вставши на защиту их, она знала всех и вся.

К слезам добавилось — «простите». И она стала просить прощения. Вставая утром на час раньше, она отдавала это время испрошению прощения. «За всех нас, — приговаривала Полина, стоя там же, на “истинно молитвенном” (название родилось само собой) месте у изголовья кровати, перед столом, на котором горела теперь свеча и лежал бантик-ленточка двуцветного флага. — За всех нас, и за...»

«И за меня в особенности, в отдельности!» — повторяла она горячо, потому как знала, что по-настоящему отвечать может только за себя. И ещё потому, что, как ни крути, является («такой уродилась, такой уродили, урод, урод, урод!») частью, крупинкой, куском того огромного и обширного, страшного и беспощадного, что повинно во всём происходящем. «Простите, простите, простите!» — вымаливала она, не замечая бега времени, готовая стоять на своём посту бесконечно, только бы, только бы...

Покаяние было по утрам, плач — перед сном. И как плача теперь не могло быть без покаяния, так и покаяния без плача, они дополняли друг друга и имели, соединившись, вдвое большую силу.

Очередное откровение пришло после особенно сильного плача.

«От себя не убежишь, — тянула она в тот вечер клубочек, нащупывая что-то важное, неосязаемое, невидимое. — Крошка, частица, крупина, кусок...»

«Я — часть того обширного и беспощадного. А значит, в ответе. А значит...» — она лежала в постели, потрясённая той загадкой и испытанием, которые поставило перед ней время.

Спустя день, они пошли с Жанной в джаз-клуб. Последний концерт известного столичного коллектива, решившего эмигрировать всем составом.

Народу собралось много. Полина расположилась за любимым столиком. Подруга здоровалась с приятелями.

«Последний...» — усмехалась горько Полина, не ощущая ни радости, ни тем более релакса, который сопровождал её всегда при посещении этого места, где играли живую музыку, где собирались симпатичные, близкие ей по духу люди.

Потягивая коктейль, она тонула в мыслях, которые и не думали никуда исчезать (в ведь пришла в надежде развеяться). Ей казалось, — собравшиеся похожи на заговорщиков, вынужденных вести подпольную жизнь, свои среди чужих. Встретились, чтобы сообщить: мы есть, мы живы!

Жанна подошла с компанией иностранцев. Все громко хохотали.

«Смеются, — отметила Полина. — А когда вот так же смеялась я?»

Рядом с ней расположился рыжебородый, в красном жилете, шотландец, — она видела его раньше, они, кажется, уже знакомились.

— Пол, — представился полузабытый Пол.

— Полина.

— О! — воскликнул он. — Совпадение.

Она не поняла сразу.

— И не случайно рядом, — Пол коснулся коленом её ноги.

Компания перескакивала с темы на тему, шумела, шутила, спорила, гремела бокалами, — всё как в лучшие времена. Полина оставалась в стороне. И лишь когда

разговор заходил о главном и больном, — включала слух и заливалась краской, под стать жилетке Пола.

Выйдя в уборную, она задержалась на обратном пути у сцены: возвращаться не хотелось. Пол махал ей рукой, улыбочивый, весёлый парень, из той самой категории «своих». Пол и Полина. «Не случайно рядом». У неё давно не было мужчины. И сейчас она с недоумением смотрела на Пола: принимать ухаживания, отвечать взаимностью, флиртовать, даже заниматься любовью с самым дорогим человеком казалось ей странным, неуместным, даже диким. Любовь сквозь слёзы...

Она вернулась, когда все вышли на воздух, — за столиком остался один Пол.

Он перешёл на плохой русский, что-то объяснял, шептал, выкрикивал, не сводя с неё смеющихся глаз, касаясь под столом коленей коленом. Тоже, наверное, долго сидел в одиночестве, в компании таких же рыжебородых.

«У меня ещё дела», — помнила она о вечернем правиле, которое теперь представлялось куда более обязательным. И Полина бежала. Пол порывался проводить, просил телефон. «Нет!..»

...А дома, после плача, стоя у стола на коленях, она вдруг ощутила удар. И увидела в своих ладонях узор, который так долго не складывался. «Надо же, — вглядывалась она. — Начинаешь с малого, и постепенно, шаг за шагом, всё выше и выше. Как просто всё. И — страшно... Но по-другому, наверное, нельзя? Клин клином, страшное страшным. Топчась на месте, глыбы не сдвинешь, дела не сделаешь...»

Полина зашла в ванную, заглянула в зеркало. «Взрослый человек — суть действия, дела», — говорили глаза. И никакие «жмуры» над ним не властны. «Жмуры, — усмехнулась она и выплюнула это паршивое слово. — Пошли вон!»

«Забралась изнутри, — думала она, кутаясь этим вечером в одеяло, и видела, как мечется мохнатое, слепое, беспомощное, не в силах учуять, понять, найти. — Не ждали?! Изнутри будем брать. Из самого что ни на есть нутра. — И выдохнула последнее на сегодняшний день. — Ничтожество!»

О том, что она может являться частицей, крупинкой, частью того, что окружало её, простиралось, закатывалось за горизонт, пугало, отталкивало, казалось непостижимым, неудобным, чужим, а теперь вот и преступно-убийственным, — она не задумывалась никогда. Точнее, со времён далёкого далёка, когда плясала, одетая в смешное платьице и платочек в горошек в окружении переодетых медведей под балалаечку и ложки в детском саду. И читала взахлёб народные сказки, собранные в красивую книгу с жар-птицей на синей глянцевого обложке. И баюкала племянника, но этого она почти не помнит. Чем старше, — тем больше она отодвигалась от того, что окружало, звучало когда-то в сказках, звенело балалаечной струной, стучало деревянными ложками и било в пол лапой медведя-топтыги. Со временем эта возникшая трещина превратилась в окончательную пропасть, преодолеть которую невозможно.

И вот оказывается, что никакой пропасти нет. А она — Полина — плоть от плоти, кровь от крови...

Через неделю снова пошла в тот же клуб. Пошла одна. Она слабо представляла, чем может закончиться вечер, не суливший на первый взгляд ничего хорошего. Но ограничиваться прежними (прилежно исполняемыми, но недостаточными) действиями Полина не могла, не имела права.

Замотанная (так захотелось) в платок, как монашенка, она была не очень похожа на себя и шла, — словно преодолевая встречный ветер, отрываясь от притяжения, которое толкало её обратно. Странное дело: она не замечала никого

вокруг, будто находилась не в водовороте города, а на безлюдной окраине. И ещё не видела света, фонарей, окружающей привычной иллюминации, точно свет горел не для неё.

Клуб оказался заперт. Она не посмотрела в Интернете программу на вечер, потому что не желала соприкасаться с «земным», как она называла любые обыденные дела.

«Почему? — недоумевала Полина, идя назад. — Из-за текущей ситуации? Или клуб — очаг свободной жизни — закрылся, потому как всё закончилось, а подстраиваться нет смысла? И улетели-упорхнули вместе с джаз-блюз-бэндами его владельцы, навесив на дверях большой амбарный замок? А она пришла, дурёха...»

И после, вспоминая этот поход, даже сомневалась: а был ли он на самом деле?

Но первый шаг был сделан — во сне или наяву. Шаг трудный, болезненный, подтачивающий сами основы реальности. Той реальности, которой не должно существовать.

Она представляла, чем мог завершиться вечер, найди она искомое. Пусть бы там снова сидел Пол и его друзья. За тем самым столиком. Пусть бы пошли те «стыдные» разговоры, от которых она так мучилась, и краснела, и бежала. Она краснела бы и сейчас, но не сдвинулась бы с места, не закрылась бы, а принимала всё на себя. Так получалось: она — плоть от плоти. А значит, с неё и спрос!

Пол сидел бы рядом и, выпивая и смеясь, краснолицый, краснобородый, положил бы руку ей на талию (всё правильно). А потом на колено, не меняясь в лице, не прерывая разговора. Она бы взяла его руку и не отдернула от своих холодных коленей, а крепко сжала — до боли, до хруста. И Пол закричал бы, загоревшись глазами, вдруг что-то друзьям, обдав их огнём и винными парами. И полыхнул бы следом немедленно весь стол, как спичка, и весь бар разом.

Круглый стол как блюдо. Большое и вместительное. На него можно лечь, раскинув ноги и руки, и глядеть в тёмный потолок, по которому расходятся тусклые круги. Прочь стаканы и посуду! Вся перед вами. Бейте, рвите, насильничайте, истязайте! Заслужила.

Маленькие мои...

Первым стал голландец. Из Роттердама прилетела делегация забирать выставку, вечером в музее им устроили фуршет. Сначала пили чай, потом вино. Полина отметила: без вина было бы совсем худо. Атмосфера — как на поминках, диалог долго не клеился. Обсуждать сложившуюся международную ситуацию было некорректно, поэтому говорили дежурно о прошедшей (когда-то давным-давно) выставке.

Вино спасло. Исчез барьер, и все засмеялись в полную силу. «Как раньше, — отметила с облегчением Полина. — Наверное, это называется “позволить себе минутку слабости”».

«Полина? Кажется, Полина?» — приезжий куратор, зрелый мужчина, подал ей фужер игристого.

Первое желание — отказаться и убежать. Но вспомнился Пол, её реакция.

«Да», — протянула руку.

Они отделились от остальных. А потом, незаметно исчезнув, поехали к нему в гостиницу.

Полина предполагала, что не будет места ласкам и нежности и, собственно, не желала их. Она не желала вообще ничего, если разобраться. И при этом желала только того, что должно произойти.

Он был предсказуемо груб и бесцеремонен. После быстрого и комканного первого раза и краткого отдыха пошли вольности и столь же предсказуемые эксперименты.

«А так? — улыбался сопровождающий выставки. — А так?»

Она соглашалась.

Её не волновали варианты, позиции, её не волновали те грани, за которые он мог зайти, её не трогала его просыпающаяся звериная сущность (он рычал, заламывал ей руки, рвал волосы, ставил ногу на лицо), от одной мысли о которых она раньше пришла бы в ужас.

«Да», — многократно повторённое про себя и вслух перекрывало любые запреты.

«Да, Полина!» — смеялась она, содрогаясь от толчков и ударов, а гость (или хозяин) входил и входил во вкус.

«Можно, можно всё, — шептала она, растирая слёзы, трясясь руками и подбородком. — Можно и нужно. Только так!» И чувствовала, не смотря на истерзанность, — радость и торжество.

«Я есмь», — знание, открывшееся, пришедшее из глубин, из тех укромных закровов, ключ к которым найдёшь в себе, совершив нечеловеческое усилие, вывернув себя наизнанку, сотворив через муки роды, где рождённое на свет — сокровенное зерно, перед которым любое золото — прах.

«Я есмь земля, плодородие, почва, трава, деревья, воздух, реки широкие, ручьи журчащие, озёра глубокие, моря неохватные, — открывала она в себе день за днём странный нутряной поток, проговаривая вслух то, что, теснясь, выливалось, запертое прежде, наружу. — Колодезь. Двуручка. Изба. Свечка. Прялка. Скалка. Гребень. Решето. Ставенки. Крынка. Каравай. Подкова. Берёза в три охвата, — всё выпрастывалось само, успевай ладоши подставлять, она лежала в такие минуты на постели, распутив волосы, раскинув ноги, согнутые в коленях, будто на родильном столе, голая. — Я — то, от чего бежала, что не принимала, от чего отворачивалась, что презирала. А теперь пришла, а теперь нашла. Частица, крупина, часть. Я — просторы, дороги, вешки, стёжки, каждый бугорок, затаённый уголок, — слова складывались в рифмы. — От края до края, от ёлочки до игопочки, от норки до горки. От рожденья до кольца. От начала до конца!»

И главное: «Я есмь плоть от плоти, земля моя, страна моя!..»

Голландец трудился, втыкаясь в неё, устроившись сверху в полуприсяде.

«А значит, — Полина блаженно улыбалась, нога партнёра скользила по её лицу. — Путь один. Бей, терзай, топчи, — стонала она. — По заслугам, по заслугам! — и билась в такт с воодушевлённым её податливостью и рвением партнёром. — Сильнее, злее. Не жалей. Нечего жалеть! — её захлёстывали слёзы. — Распни меня, распни. Раздави! Надругайся. Самолично на Голгофу иду, сама, — она старалась не обращать внимания на боль. — По-другому никак. Путь один. По-дело-ом! — выдыхала Полина. — Стегай, кровени, мало!.. Выдави силу, лиши силы. Вся перед тобой, какая есть, как на блюде, рви! — хрипела она. — Клин клином. Не жалей, не жалей, не жалей! Вся отдаюсь, без остатка! — и видела испуганных чумазых детей, старушек, бредущих с тележками меж дымящихся развалин, женщин с искажёнными от ужаса лицами, неживых уже солдатиков. — Съесть решили? — всхлипывала она. — Подавитесь! Поперёк горла у тебя встану. Что, не верил, не ждал? — она торжествовала. — Только так!»

И с финальными конвульсиями гостя выдавила из себя последнее: «Ничтожество...»

Она победила.

Акты искупления (а с ними и истязания агрессора, пускания крови, подтачивания изнутри, незаметны никому, но много более действенны, чем даже ракеты и снаряды, знала она, ибо здесь борьба шла на иных, тонких, глубинноприродных уровнях) стали регулярными. Раз в две недели она приносила добровольную жертву. Заглядывала невзначай, без ясной цели, в бары, клубы, где тусили иностранцы, и очередной побратим, воин, не догадывающийся о своей сакральной роли, находил, угадывал её сам.

«Только так», — понимала она, ощущая, что жизнь приобрела иной, более высокого порядка смысл, где всё меньше обыденного, но больше надчеловеческого; она текла по гигантскому потоку, который нёс её, оберегая от препятствий, позволяя не заботиться о завтрашнем дне, помогая исполнять обретённую миссию, предназначение, меняя установившийся порядок вещей.

«Жмуры теперь с другой стороны, — констатировала Полина. — Доигрались, голубчики».

Однажды, идя с работы, она натолкнулась в тёмной арке на двух азиатов. Они как-то сразу, как само собой разумеющееся, взяли её под руки и молча повели за собой. Она сопротивлялась, пыталась кричать, но ей зажали рот, оттащили в какой-то закуток и там, под открытым небом, поставив сначала на колени, а потом в удобную позицию, надругались, ничего не опасаясь...

Полина отлёживалась дома несколько дней, взяв больничный. И размышляла. Она видела, что надругались над ней лично. Но понимала, что столкнулась и с вызовом. Она оказалась не готова, не смогла полноценно отдаться, понести кару, стать добровольным участником.

Она дала себе зарок быть осторожнее. И пришла к выводу, что ничто не должно теперь иметь значения: ни место, ни национальность. Ни её воля. Прочь человеческое. Если ставки, — то крупные. Если бить, — то без пощады. Если выпивать чашу, — то до дна.

Спустя два месяца, за спиной у неё имелось уже пять искупительных актов, включая первого голландца и не считая азиатов.

Плакать и испрашивать прощения она стала реже, иногда — раз в неделю. Одно уступило другому, не разорвётся. Или, если видела в новостях, что маятник колеблется или качается в неправильную сторону (что, кстати, случалось всё реже), то в любой день вставала прилежно у стола на колени и исполняла долг.

На работе жизнь застыла. Ни былой энергии, ни задора, ни жажды открытий, ни желания устанавливать связи, знакомиться, договариваться, приглашать или выезжать самим. Пространство музея скукожилось, стало меньше. Залы опустели. Директор ходила отрешённая, вздыхала, смотрела мимо сотрудниц. К ним направили выставку детского рисунка, посвящённого «подвигу народа в Великой Отечественной войне». На подходе была коллекция из Самары, Борис Рязов из Красноярска.

Анна, уехавшая в Грузию, написала письмо. Не в виде привычного текста в мессенджере, не аудиосообщение, а большое послание на электронную почту, которое на бумаге потянуло бы на пять-шесть страниц.

Анна, с которой они знакомы были с младших классов, уехала в Грузию со своим Тимой почти сразу, в феврале. «Не стала ничего ждать», — думала с восхищением про её поступок в самом начале Полина. Пару месяцев Анна ограничивалась короткими сообщениями и фото (аэропорт — первые шаги по кавказской земле — снимки национальной кухни — найденная квартира — встречи с друзьями). А теперь вот письмо.

«Ехали в неизвестность, страшно до дрожи, — писала подруга. — Эмиграция! Описанная в стольких книгах. А теперь сами: на сходни, и — прощай. Навсегда? Возможно. Но по-другому нельзя. Это наш 1920-й, Полина. Наш Севастополь и наш Константинополь. Не оставили выбора. В окаянные годы живём...»

«А что дальше? Штаты? Европа? Латинская Америка? Тридцать два года — конечно, самое время начинать жизнь с нуля. Спасибо, ненаглядная родина! Ни шанса не оставила».

«Не хочу обратно, не хочу того, от чего бежала! — не скрывала крика Анна. — Забыла, когда видела не оскал, а тёплые, открытые человеческие лица, чувствовала неравнодушные первого встречного. Нашлось место. Оттаиваю, оживаю. К солнцу, как испотанный цветок, тянусь. К себе настоящей возвращаюсь!»

Спрашивала: «Как ты? А мама? А на работе девчонки? Куда ходишь? Или не до тусовок? А кофейню нашу не закрыли? Мне почему-то кажется — закрыли всё!» И: «Трудно, тяжело? Знающие люди говорят: главное — впереди. Представляешь, главное ещё не наступило! А за главным последует одно — гибель, подруга, гибель», — то ли торжествовала, то ли ужасалась Анна.

«Много вопросов, много, — звучало тяжёлое. — Выпьем ли мы когда-нибудь капучино в любимой кофейне? Пройдёмся ли по Чистым? Заглянем ли к тебе, к твоей маме на рыбный расстегай, как в детстве? О, как давно это было! И увидимся ли вообще... Сейчас заплачу» (долгое многоточие).

После паузы: «А сидеть сложа руки не хочется. Оставаться в стороне, вздыхать, вздрагивать, сжимать в слепой ненависти кулаки. Называть себя ничтожеством. Нет, Полина, не хочу-у!»

И ещё: «Спасибо Тбилиси. Спасибо, грузинский народ! За то самое гостеприимство. А если бы не имелось этого варианта? Да, страшно...»

И постскрипум: «Никогда не думала, что настолько будет волновать судьба родины. Больше, чем личная жизнь. Ха! Но если волнуют, — значит, жива».

К прочитанному Полина отнеслась спокойно, без эмоций (эмоций в последнее время оставалось всё меньше). Она увидела, что подруга пока в пути, в поиске ответа, ещё не деятельна. Отсюда так много вопросов и прорывающийся сквозь строки крик. Совсем недавно она завидовала мужеству Анны: решилась, уехала. А теперь смотрела сочувственно: трудно, ищет, понимаю.

«Спасибо!» — перечитала Полина несколько раз горячее. — «А если бы не имелось этого варианта?..»

«Да, страшно», — повторила она вслед за подругой. После дала себе время на размышления. А через три дня отправила ответ: «Скоро увидимся».

Увидеться удалось только через полтора месяца. Дефицит авиабилетов, которые были или распроданы, или баснословно дороги. Вариант сухопутной таможни она не рассматривала: долго. Она понимала, что на работе ей дадут за свой счёт два-три дня, не больше, — на ней висели две выставки. Но особо не беспокоилась.

«Всё сложится», — знала Полина.

И всё сложилось. Директор неожиданно дала ей пять дней. И билеты по приемлемой цене тоже появились.

Путь выдался сложносочинённый, но оказался не в тягость: если долго сидеть на одном месте — в радость любая дорога. Авиаперелёт до Еревана, потом шесть часов на микроавтобусе до Тбилиси.

Ещё в Домодедово она поняла, что поступила правильно: лёгкость, а с ней забытая беззаботность проснулись, едва она переступила порог терминала, услышала

его звуки, почувствовала запахи, захотелось смеяться, бежать куда-то, размахивая сумочкой. Вот что значит сто дней взаперти.

Анна встретила её на тбилисском автовокзале и там же разрыдалась.

— Как? — глядела она на подругу непонимающе. — Как?!

Вопрос был резонным. Ещё в полёте Полина поймала себя на мысли, что месяца два-три назад она ни за что не решилась бы на подобную вылазку, смелых марш-бросков за ней — осторожной и взвешенной — не наблюдалось. Но не объяснишь же Анечке, что она выстрадала, какой путь преодолела. В том то и дело — нет. Всё слишком тонко, чтобы тревожить, вмешиваться, даже дать взглянуть одним глазком. Нельзя.

Пёстрый, по сравнению с Москвой, Тбилиси проносился за окном такси, не позволяя задержать на себе взгляд, и она не тормозила бег, она держала за руку Анну, и Анна держала её, они по-настоящему соскучились, им хотелось насмотреться друг на друга, наговориться, надышаться обрушившейся на них свободой.

Приехали в квартиру, накиннулись с воплями на лежащего у ноутбука Тиму и, так и не попив желанного кофе, унеслись обратно на улицу.

Анна пыталась провести спонтанную, не очень нужную им обоим экскурсию по городу, которого сама толком не знала. Полина поняла только, что это — «Мать-Грузия», в руке её вино для друзей и меч для врагов. Там — Мост мира и красивый большой парк. А где-то за поворотом прячется известный театр марионеток, который Анна с Тимой давно собирались посетить, да всё недосуг.

Страсти поутихли в кофейне. Они грохнулись на сиденья и, конечно, заказали капучино. Последний раз нечто подобное происходило с Полиной во время встреч по окончании школьных каникул с той же Анной, когда хотелось вцепиться друг в друга и не отпускать, заглёбываясь от вопросов, ответов и пережитых впечатлений.

— Мы по разные берега теперь, — впервые спокойно заговорила Анна и схватила Полину за руку. — Не хочу!

Бородатый молодой официант в чёрном фартуке принёс кофе.

— Странная ты, — всматривалась в неё Анна.

— Что?

— Другая.

— Какая?

— Внешне мягкая. А внутри — как твёрдый орех.

Полина чувствовала свою силу. Впервые с Анной она была как старшая. И даже смотрела на неё слегка свысока, чего раньше не бывало.

Они не говорили больше о том, кто на каком берегу, — устали за все предыдущие месяцы от тяжёлой и какой-то бессмысленной повестки. Они болтали о мелочах, которые казались гораздо существеннее всего остального.

После водной прогулки по реке Куре заглянули в ресторан, голодные, как волчицы. Заказали мяса, лобио, хачапури, вина — сначала одну бутылку, потом вторую. Гулять, так по полной, — заслужили!

Целовались врасос. Танцевали. Пытались отвязаться от прилипчивых ухажёров. А может, не пытались, а наоборот. Пели в караоке русские песни. Домой вернулись все измазанные помадой, почему-то с мокрыми волосами, с букетами цветов от знойных незнакомцев, пьяные и дико счастливые. Жизнь торжествует! Всё тёмное, что терзало их на разных берегах, смылось без остатка, — Полина видела, как стекала с неё чёрная то ли вода, то ли слизь. Улетучилось чувство долга, дела, миссии, — они маячили рядом всегда, мешали расслабиться и сегодня, но потом всё исчезло.

«Я тоже человек!» — крутилось в голове. И в этот момент она была прежняя, и совсем не твёрдая, как орех, который разглядела в ней подруга.

Заснули вместе, изгнав с ложа мужчину, провалившись сразу в глухой сон, обнявшись и не размыкая объятий до утра.

Следующий день оказался свежим и светлым, как в юности, когда просыпаешься во время тех самых летних каникул. Первые минуты Полина не могла понять: кто она, где? Разобравшись, ощутила глубокий, пробирающий до дрожи прилив счастья, как оргазм. Как хорошо и правильно всё происходящее! Как здорово заснуть в одежде, наплевав на условности. Как важно ни о чём не думать и никуда не торопиться. Рядом лежала нежная Анна, так же освободившаяся от какой-то чешуи.

Они пили приготовленный Тимой травяной чай за столиком на полукруглом балкончике. Принимали по очереди ванну. Слушали музыку, снова спали.

Вечером Полина отправилась гулять. Отправилась одна, сказав, что ей нужно побыть наедине — с собой, с незнакомым городом, с тем чувством свободы, которое завтра может растаять без остатка.

Она шла цветущими улицами и отзывалась на их запахи и звуки. Миновала театр марионеток, задержалась у афиши с трогательными куклами с большими грустными глазами. На остановках и у рыночных лотков она вслушивалась в чужую речь. Ей интересно было разглядывать лица. Любоваться старыми домами. Трогать деревья. Смотреть на фонтаны.

В конце концов ноги привели её в ту самую кофейню, где сидели вчера с Анной.

Кафе было пустынно — только одна пара обнималась у окна. Она попросила капучино, его принёс вчерашний официант в фартуке.

Вообще-то Полина не собиралась задерживаться, — чашечка, и обратно. Но официант (на его бейджике значилось — Руставели) преподнёс ей бокал вина.

— Кинздмараули-бадагони, — галантно наклонил голову Руставели. — От заведения.

Она кивнула. Если ты приходишь с миром — Мать-Грузия потчует тебя вином.

«Совсем молодой парень, — думала она. — Лет двадцать, не больше. А уже, — она успела оценить его руки, взгляд, стать, — уже мужчина».

Нет, она не рассматривала его как мужчину. Она вообще забыла, когда рассматривала кого-либо как мужчину. И раньше-то осторожно подпускала, а с началом всего этого бардака вообще всё в пропасть покатилося.

Их было двое — жгучих и бородатых, оба в чёрных фартуках. Пара у окна испарилась, за окном поплыли красные огоньки машин. У неё на столике появилась тарелка со сладостями. И второй бокал.

Она отщипнула зёрнышко миндального ореха, положила на язык пару изюмин. К бокалу едва притронулась: она пьяна сегодня даже без вина...

Щёлкнул ключ запираемой двери. Звучащая в камерном зале музыка стала громче. Ей дали руку (вторая галантно заложена за спину). И она приняла приглашение.

Голубой полумрак внутреннего помещения, не менее уютного, чем зал для посетителей. Блестящие барные стулья. Диван, на котором сидел второй безымянный официант, — у него не имелось бейджика.

Начал Руставели, усадив её на барный стул, — она снова отметила его красивые руки. Второй, расположившись на диване, наблюдал. Всё произошло легко и естественно. Руставели был нетерпелив и суетен, пока раздевал её. Но после стал трепетен и нежен.

Второй, сменив первого, напротив, не церемонился, — стегал ладонью по губам и щекам, рвал волосы, хватал за горло, рыча что-то или ругаясь, с его лба на неё падали капли пота.

От стула перешли к дивану: взяли её за руки и за ноги и перетащили, как вещь, мокрые, горячие, ненасытные.

В коротком промежутке всеобщего отдыха набрали кого-то по телефону, и скоро, почти немедленно (Руставели бегал отпирать дверь) появился третий — рыжий, улыбочивый, конопатый, подключившийся сразу, точно только того и ждал, — он единственный, кажется, пытался с ней разговаривать. Она не отвечала.

Принесли начатый ею бокал, сладкое, и она покорно поклевала и попила. Время перевалило за десять (Анна, верно, звонит, не находя себе места, но телефон в сумочке на беззвучном, да и как тут ответишь). Трое, не давая выдохнуть, сменяли друг друга, пили воду, хохотали, принимались собираться — натягивали брюки, надевали рубашки, но потом кто-то, скаля зубы, рвал на себе одежду обратно и возвращался к ней, растопырив руки. За ним, крича и хохоча, бросались остальные, и всё начиналось по новой...

Отпустили Полину за полночь.

Перед уходом она попросилась в уборную. И там долго и пристально вглядывалась в свои мокрые, красные, дикие глаза (на щеке горела пятерня).

Всё верно.

Она приехала сюда, в чужую страну, поблагодарить их — за Анну, за Тиму, за тысячи принятых и не отвергнутых. За поднесённую чарку и не поднятый меч. За человечность, за сердечность. За спасение!

И эта благодарность, знала она, во сто крат важнее даже встречи с Анной.

Она не могла не приехать.

Маленькие мои...

Провожал её до двери Руставели. Одна рука за спиной, в другой подарок — две бутылки киндзамарули-бадагони.

«Спасибо», — прошептала напоследок она.

Улетела Полина на следующий день. Она сумела убедить Анну, что всего лишь перебрала лишнего, не привычная к щедрости и гостеприимству хлебосольных кавказцев. А ушибы, — просто надо быть осторожнее на незнакомых тёмных улицах, где так легко потерять равновесие. Анна, видя, что подруга сияет и ничего страшного с ней и вправду не произошло, — смирилась. «У нас праздник, не забывай. И в эти дни с нами не может случиться ничего плохого, только хорошее», — шептала ей Полина перед сном и утром.

Последние пару часов они провели, гуляя по скверу рядом с домом («Зайдём в ту самую кофейню?» — предложила Анна. — «Нет!!») и близлежащим кривым улочкам («Где же я вчера здесь упала?»). Они не кричали больше, не шумели, не задыхались от восторга и почти не разговаривали. Расставаясь, — не наговоришься.

В Москве у неё оставался один день, который она хотела потратить на отдых после дороги. Но именно в этот день возникло неожиданное желание съездить к родителям. Они не виделись несколько месяцев, аккуратно с февраля. С отцом не общались вовсе, а с матерью только созванивались.

Она набрала маму и сказала, что приедет вечером. И ещё попросила приготовить фирменный рыбный расстегай. Мама чуть не расплакалась по телефону.

Встретили её вечером оба у порога: явилась, блудная дочь!

Встреча напоминала праздник. Мама накрыла в гостиной стол: рыба, картошечка, капуста, грибы, винегрет, конфеты в коробке, торт, фрукты, расстегай, конечно.

Дорогой сервиз, его ставили только в исключительных случаях. Бутылка вина из серванта.

— Эй, эй, не надо! — она вынула из сумки киндзмараули-бадагони. — Я вас угощать буду — настоящим грузинским.

Одну бутылку Полина подарила Анне, вторую вообще-то хотела оставить себе, но не ограничиваться же сегодня чурчелой, тем более папа уважает грузинское.

Мама принарядилась и накружилась. Папа заменил всегдашние спортивные штаны на джинсы и не глядел волком. Все соскучились.

Они пили и ели так, как делали это в последний раз давно, — на каком-то, наверное, дне рождении мамы трёх-четырёхлетней давности, — во время работы у Полины редко получалось, отодвинув дела, нормально посидеть в семейном кругу.

Фоном шумел телевизор, в котором одним глазом был отец. Полина предложила выключить, и отец, помяв пульт, подчинился. Она рассказала про Грузию — в общих чертах, мать с отцом внимательно слушали: они были в молодости несколько раз в Кутаиси у сослуживца отца и с удовольствием вспоминали это потом многие годы. Рассказала про Анну и про то, как ей хочется приехать к ним, увидиться и обязательно отведать, как в детстве, мамино волшебного расстега. Про перемены на работе. Про новые проекты, которыми ей предстоит заниматься. Про политику не проронили ни слова (раньше обязательно кто-то кого-то цеплял — отец или дочь). Вино пришлось по вкусу; отец крутил в руках бутылку и одобрительно чмокал: «Умеют делать. Спасибо, дочь». Было сладко и томно, не хотелось вставать со стула. Папа, когда насытились, включил потихоньку ТВ, и на этот раз Полина не протестовала.

Она пошла и прилегла в своей бывшей комнате и подумала: не остаться ли ночевать, такая нега объяла, ногой не двинешь, так хорошо (ну, и устроила ты себе, Полинка, каникулы). Но поняла — нет. Развеется хмель — и домой.

«Как здорово, что нет прежнего холода, и враждебности, и желания победить, — думавла она, когда обувалась в прихожей. Мама провожала, отец, прилепившись к телевизору, выглядывал половиной туловища из комнаты. — Нет времени на мелкое...»

Приехав домой, отряхнув от пыли на столе всё тот же двуцветный бантик, зажёгши свечу, в белой ночной рубашке, она встала у изголовья кровати на колени. Много дней не испрашивала она прощения и не лила покаянных слёз, а только смеялась. Но не корила сейчас себя за радость. Всё так, как должно. Пять солнечных дней — её награда.

А теперь снова пора постоять. Столько, сколько надо постоять, — она склонила голову долу.

За всех.

За тех, кто причастен вольно — словом или делом. Или невольно — являясь частью, крупинкой, куском. За неё — слабую Полину. За мать — наивную и простую. За отца — тяжёлого и глухого. За Жану безмятежную. За директора трусливого. За Анну и Тиму страдающих. За всех, за всех!..

А следующим вечером, лёжа в постели, она почувствовала, как что-то незнакомое ворочается внутри. Ещё не осознанное, но призывающее к новым действиям. Она прижала руки к грудной клетке, в глубине скреблось оно — слепое, большое, дрожащее, могучее. Она знала, что снова всё поймёт и всё прочтает. Выпустит его наружу и пойдёт вслед. Как бы тяжело ни было испытание, она справится, она сможет.

Полина была счастлива.

Светлана Волкова

Палец

Рассказ

Серый потолок походной палатки качнулся и замер, потом вновь поплыл, и мелкая сыпь прорезей в плотной брезентовой ткани напомнила Косте Баранову пшеничную кашу, которую в далёком детстве варила няня Иринушка. Веранда, подтёки солнца на жёлтом дощатом полу, запах творожной ватрушки и вечно сбегаящая от Иринушки каша...

Морфин переставал действовать, источался, и Костя вновь почувствовал тикающую боль в правой кисти. С этой болью можно было жить, она не резала и не рвала, как, кажется, было совсем недавно: минуту ли, две назад.

Полог колыхнулся, впустил полоску света и уставшего доктора. Из-за его сутулой спины пугливой пичугой высовывалась маленькая сестра милосердия в белом облаке апостольника на голове и с железной кюветкой в руках.

Доктор молча подошёл и сел на низенький табурет рядом с кроватью Кости, сестра верной его тенью встала рядом.

— Константин Алексеевич, давайте-ка посмотрим ваши пальцы.

И не дожидаясь ответа, он выловил из-под одеяла Костину руку и принялся разматывать бинты.

Костя повернул голову и только сейчас заметил, что палатка была огромной; ряды коек с лежащими на них людьми показались ему бесконечными. Боль возвращалась горячими толчками, отдавала в висок лопающимся электричеством.

Усталый доктор что-то говорил, Костя никак не мог уловить смысл его слов — и лишь смотрел на монокль, так похожий на циферблат карманных часов.

— Нам удалось спасти кисть, но...

Это «но» прозвучало как щелчок затвора винтовки. Дальше Костя вслушивался в речь доктора и как замороженный не мог отвести взгляд от его монокля.

— ... Дабы избежать гангрены и сепсиса... Изолировать ткани... Нам пришлось... Нам пришлось... Пришлось... Ампутировать указательный палец... Было сделано всё возможное... Поверьте... В вашем положении, при общем состоянии...

Волкова Светлана Васильевна — прозаик, переводчик, сценарист, родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книг «Голова рукотворная», «В Петропавловске-Камчатском полночь», «Убегучая девочка». Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Лауреат многих литературных премий, в т.ч. пяти премий «Русский Гофман» в номинации «Проза». Участница Мастерских АСПИР. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

Будто разом включили звук на полную. Костя услышал стоны с соседних коек и какой-то гул за тонкой матерчатой стеной палатки. Но громче всех звучал голос доктора: «Нам пришлось ампутировать...»

«Нам пришлось ампутировать...»

«Нам пришлось ампутировать...»

Но это неправда! К чему такое глупое враньё?! Костя знал, что палец на месте, он даже мог пошевелить им — и шевелил, фаланги сгибались, как и прежде...

— Фантомные боли, Константин Алексеевич, — тихо ответил на его мысли доктор.

Бред! Костя чувствовал даже жёсткий заусенец на ногте того самого указательного пальца. Своего *живого* пальца!

— У вас ещё сильная контузия, — доктор передал сестре змеистый бинт, весь в красной чешуе запёкшейся крови. — Но вы человек молодой, всего двадцать шесть лет, целая жизнь впереди. К тому же боевой офицер, мне ли учить вас мужеству? Мы сохранили остальные четыре пальца, это главное. Для полевого госпиталя и тех условий, в которых мы оперируем...

Звук его голоса потонул в шуме в затылке, Костя хотел обхватить голову обеими ладонями, но юркая сестра поймала на лету его правую руку, и Костина кисть затрепыхалась в её маленьких пальцах, подобно потерявшей птенца обезумевшей птахе.

— Не надо бояться, взгляните, Константин Алексеевич!

...И Костя увидел наконец свою опухшую кисть, синюшно-розовую, с жёлтыми йодными пятнами, и судорога прошла по спине от этого странного зрелища.

Указательного пальца не было.

* * *

Сестра молча перевязывала Костину руку чистым бинтом. Ему захотелось назвать девушку Иринушкой, и, хоть она и не смотрела на него, он был уверен, что глаза у неё гранитно-серые. Усталый доктор сидел у койки другого раненого и что-то тихо говорил ему. Раненый плакал.

— Как вас зовут? — спросил Костя сестру.

— Кика.

— Что за странное имя?

— Цецилия в крещении. Но все зовут меня Кика.

— А число? Число какое?

— Одиннадцатое июня.

Жив, и слава Господу! Рука цела — это главное! Оружие можно и левой научиться держать. Или четырьмя оставшимися пальцами! Костя вспомнил непутёвого Иринушкиного брата, матроса, лишившегося по пьяни обеих рук (сунул, дурак, в машинную пасть на крейсере) — так тот наловчился всё делать ногами: и ложку держать, и на балалайке брэнчать. А тут всего лишь палец. Правда, главный, указательный...

«Правый указательный — всем пальцам царь. Другими жертвуй, этот — береги пуше зеницы», — вспомнились слова Иринушки.

Кика продолжала бинтовать кисть.

— Алексей Васильевич — волшебник. Вы уж поверьте. Колдовал над вами всю ночь. Лучший хирург из всех, с кем приходилось работать.

«Да много ли она успела поработать, ведь так юна! — подумал Костя. — С начала

войны прошло меньше года. Небось, наскоро окончила медицинские курсы и сразу, в четырнадцатом, на фронт».

— Много успела, — будто услышала его мысль Кика и льдисто взглянула на него. — Ещё в японскую ассистировала. Я вам, может статься, в матери гожусь.

И только тут он заметил, что серые глаза у неё совсем не девичьи, а какие-то *посторонние*, что ли, не подходящие к гладкому личику без единой морщинки... Как с икон со святыми старицами, с такой холодной колодезной глубиной, что даже оторопь берёт... Похожие глаза были у их старого полкового писаря: тот почти ослеп от ранения в голову, но виртуозно притворялся зрячим, смотрел вроде на собеседника, а вроде и сквозь него...

Воспоминания о писаре всколыхнули в памяти Кости события последнего его боя, конский топот, крики, громяющие со всех сторон выстрелы и железистый запах собственной крови — от рассечённой до кости брови. Он потянулся к упавшей фуражке, и последнее, что запомнил, — была рыжая вспышка взрыва, как раз в том месте, где кокарда, и огненная боль в правой руке...

— А хотите... — Кика наклонилась к самому уху. — Хотите, я принесу вам ваш палец?

Костя уставился на неё. Его отрезанный палец? Зачем? Но губы сами произнесли: — Да. Хочу.

* * *

В палатке было душно, и даже приоткрытый её полог не приносил свежего воздуха. Костю смаривала ватная дремота, он чувствовал, что уплывает куда-то, как вдруг резкий звук заставил его вздрогнуть. Он открыл глаза и увидел, что это Кика поставила металлический лоток на его ящик, служивший прикроватной тумбочкой.

— Ваш палец, сударь.

Она чуть заметно улыбнулась — даже не кончиками губ, а крыльями носа, будто фыркнула.

Костя взглянул на лоток. Там, на белой марлёвке бинта, как драгоценный гномий скипетр на царственной подушке, лежал его палец. Указательный палец правой руки...

Он хотел было крикнуть «какого чёрта!» — но губы не слушались.

— Я приду через пять минут, — Кика повернулась и вышла из палатки.

Костя смотрел на палец и не мог понять, что чувствует. Ещё утром это вот было частью его самого, а теперь лежит перед ним нечто чужеродное, чья-то умирающая плоть. Чья-то — но не его, не его!

Он встал, взял лоток и вышел из палатки. Низкое солнце растекалось по блёклому небу яичным желтком, пачкая облака, и это загнипнотизировало Костю, парализовало. Минуты две он стоял не шелохнувшись, вцепившись здоровой рукой в металлический край лотка и глядя на небо. Потом встряхнул головой, сбрасывая морок, и вновь взглянул на палец.

Палец был белый с серыми штрихами складок на суставах, желтоватым ногтем, с чёрной гангреной метиной и коркой бурой запёкшейся крови у основания, чуть прикрытого марлей. Он показался Косте отвратительным — таким, что его замутило, он швырнул лоток на землю и брезгливо вытер ладонь о рубаху. Палец выпрыгнул из лотка, как скоморошик из балагана, и покатился по мокрой от вечерней росы траве. Костя хотел отвернуться, но не смог отвести глаз от мёртвого пальца.

И где-то у темени изнутри будто клюнула мелкая птица. И зашуршала, заворочалась память.

Он, палец, был убийцей.

Он, палец, нажал на спусковой крючок в тот самый миг, когда рука дрогнула, и шальная мысль, что нет, нет, нельзя, назад, остановить всё, он передумал, передумал, передумал, — пришла слишком поздно. Пуля опередила и мысль, и сердце, и мозг, и даже дрогнувшую руку. Опередила — и попала точно в живот несчастного обезумевшего мужа одной ветреной актрисы со сладким сценическим именем Мадмуазель Карамель и чертами лица, которые он так и не смог запомнить. Муж долго закрывал глаза на многочисленные измены супруги, а потом вдруг приревновал именно юного Костю, успевшего полакомиться роковой Карамелью только один-единственный раз. Воспоминания о том вечере были рваными: звон дверного колокольчика поздней ночью, шорох шагов на лестнице, стоящий в дверном проёме всклокоченный бородатый незнакомец с бесноватыми горящими глазами и нацеленный на Костю пистолет. Да он и держать его не умел, глупый музыкантишка, и ростом был ниже Кости на полголовы, и щуплый, как цыплёнок за двугривенный... И ведь, наверное, пришёл-то всего лишь поговорить, потому что, когда хотят убить — Костя теперь уж знал наверняка — не разговаривают. И шага в комнату он не сделал, словно стеснялся. Костя хотел только припугнуть, достал отцовский наградной револьвер, по счастью (Костиному счастью) хранившийся в незапертом ящике письменного стола, поднял руку...

...Это было первое убийство, за которое его оправдали благодаря усилиям ловкого адвоката, нанятого отцом. «Самооборона» — лучшее из стратегии защиты и лучшее из объяснений с собственной совестью.

Второе убийство палец совершил так же без воли Кости. Произошло оно спустя три года после истории с мужем актрисы.

Стояла белая петербургская ночь, душная и белёсо-прозрачная, как матовое стекло. Костя зашёл к своему знакомому отдать три рубля долга. Этот знакомый, Ваня Снаткин, сын университетского преподавателя философии, находился в возбуждённом нервном состоянии, как если бы проиграл или выиграл в карты, — не поймёшь, от радости или от горя. Причиной Ваниной эйфории была любовь, и Ваня от неё у-м-и-р-а-л.

— Сегодня всё решится, — жарко шепнул Снаткин Косте. — Катя должна дать мне ответ.

— Какой ответ? — равнодушно спросил Костя.

— Согласиться. Или отказать, — Снаткин посмурнел. — Мы договорились: сегодня она скажет, будет ли со мной или выйдет замуж за офицера, тот давеча сватался к ней. Но если... — его голос сорвался, он с силой ударил кулаком по этажерке, и та хрустнула. Кровь расцвела на костяшках пальцев, но Снаткин даже не заметил.

— Если она согласится быть моей и откажет этому офицеру, то зажжёт свечку в окне. Не позже полуночи. Таков наш с ней уговор. Вон там.

Он наполовину свесился с подоконника и ткнул пальцем в направлении тёмных глазниц окон последнего этажа высокого дома, торчащего над бурой черепицей зданий пониже.

Костя знал этот дом, через две улицы.

— Да неужто Катя Матросова?

Снаткин кивнул и ревниво зыркнул на товарища.

Они ещё поговорили немного, и Костя вышел, так и забыв вернуть деньги.

Идти домой не хотелось: уж больно ночь была хороша. И ноги сами понесли его через две улицы, к Фонтанке, к тому самому дому. Катя, Катенька, репетитор по французскому. Он брал у неё уроки по грамматике в последнем классе гимназии и был немного влюблён, как бывает влюблён ученик в молоденькую прелестную учительницу. Верилось, что и Катя испытывает к нему определённую симпатию. Потом Костя окончил гимназию, стал студентом, и тонкий аромат её духов выветрился из памяти, как и сама Катя. Теперь же, стоя напротив знакомого дома и глядя на единственное окно её мансардной квартирки, где она жила с пожилым отцом, он вспоминал, как хороши были Катины алебастровые руки, и разлёт шёлковых бровей, и маленькая, в форме капельки, кофейная родинка у шеи. Она, вероятно, всё так же мила, хотя прошло почти пять лет с момента их последнего урока. Каков этот Снаткин! Влюбился, жить без неё не может. А ведь Костя всегда считал его недалёким поверхностным гулякой... Откуда вдруг такая глубина чувств? И жениться хочет, а ведь Катя старше и не ровня ему. Да и что за романтический бред: сигналить свечкой! Неужто нельзя просто подумать и ответить, мол, да, согласна. Или — нет, не люблю вас, Снаткин, подите вон.

Костя поморщился. Взглянул на дом. Желтушный сок фонарей, почти никчёмных в белую ночь, искажал строгие линии фасада, по-эльгрековски нарочито вытягивая карнизы, наличники и тощие подобия колонн, как вытягивает старательный скрипач ноту из многострадального инструмента. Костя задрал подбородок к небу и увидел Катин силуэт в окне. В одно мгновение он взлетел по знакомой лестнице наверх, к последнему этажу, забарабанил в дверь, хотя знал, что есть колокольчик. Скрипнул засов, и старенький Катин отец, кутаясь в большой домашний халат, появился в проёме.

— Чем обязан, сударь?

— Вы не помните меня? Я брал уроки у вашей дочери пять лет назад, — затараторил Костя, — меня зовут Константин Баранов.

Из-за спины отца появилась Катя со свечкой в руках. Зажжённой свечкой!

— Костя? Папа, это Костя. Проходите же!

Старик распахнул дверь, впустил его в крохотную прихожую.

— Простите за поздний визит! — Костя не отрываясь смотрел на свечку. — Мне нужен французский. Экзамен будет... Очень скоро. Завтра..

— Но сударь, — кашлянул в кулак отец. — Уже глубокая ночь.

— Мне нужно! Сейчас! Subjonctif! — он вытащил из кармана три рубля, не отданные Снаткину, и положил на стоящий рядом табурет.

Отец с недоумением поглядел на него, но деньги взял.

— Что ж, ежели так срочно. Катенька, достань свои учебники, я пока заварю гостю чаю. Да вы проходите в комнату, господин Баранов.

Отец зашаркал на кухню, а Катя подошла к подоконнику, поставила подсвечник, накрыла стеклянным колпаком от сквозняка и задёрнула тяжёлую штору.

— Я не преподаю уже два года, Костя, но раз у вас такая ситуация...

Она была по-прежнему хороша, даже краше, чем пять лет назад, стройнее, и во взгляде её появилось что-то неуловимо манящее, женское, взрослое. Домашнее платье ей очень шло, хотя, вероятно, она его стеснялась, кутаясь в шаль, — в такую-то июньскую духоту. При тусклом свете керосинки, стоящей на столе, Костя всё равно заметил нежный румянец во всю щёку — то ли оттого, что ей было жарко, то ли от волнения, которое Катя не могла скрыть.

— Я должна найти учебник. И таблицы глаголов.

Она нырнула в боковую дверь. Он остался в комнате один. Из кухни доносилось бряканье чашек и тихое бормотание отца. Костя постоял, не понимая до конца, зачем он здесь, и, подойдя к окну, осторожно отодвинул ладонью штору.

...Маленькая свечечка под стеклянным колпаком горела ровно, без копоти, высоко поднимая длинный лисий язык. Костя долго смотрел на огонь. Большая капля желтоватого воска поползла по свечке вниз, Костя протянул руку, снял стекло и... Нет, он не хотел... Совсем не хотел... Но палец! Это он, палец, быстро накрыл пламя и вдавил его в жидкое темя свечи!

Костя рвано вспоминал потом, как, плотно задёрнув штору, вылетел из квартиры, как бежал сломя голову вниз по лестнице, как не мог отдышаться у ограды на набережной, как блестела вода в Фонтанке и как потом долго не заживал на пальце ожог.

...Дня через четыре он случайно узнал от общих знакомых, что Ваня Снаткин повесился, получив от своей любимой ложную весть о разрыве с ним. «Какая глупая смерть», — говорили тогда все.

«Глупая», — соглашался Костя, пряча пальцы в кулак.

* * *

Третье и четвёртое убийства были уже на войне. И пятое. И шестое. Он, палец, совершал их, чётко и хладнокровно ложась на металл спускового крючка, и была в пальце в тот миг какая-то невероятная стальная сила. Косте казалось, что он, палец, удивительным образом хранит его и от смерти, какой-то своей языческой мощью защищая, вытягивая и оберегая. Ему иногда по ночам вспоминались два эпизода. Первый случился с ним в раннем детстве, на даче в Вырице.

— Правый указательный — всем пальцам царь, — говорила Иринушка, обучая трёхлетнего Костю счёту. — Раз. Показываешь пальчик. Это один. Два, показываешь соседний, три...

— Хочу раз! — топал ногами Костя, которому было лень запоминать остальные цифры, и, как ни билась с ним Иринушка, упрямый ученик отказывался учиться.

Однажды днём Иринушка повела Костю вместе с четырьмя его двоюродными братьями и сёстрами к реке Оредеж. Дети играли на берегу, а Иринушка вязала, сидя на одеяле в тени деревьев. В воду входить не разрешалось, и никому в голову не приходило послушаться няню. Иринушка невольно задремала. Костя измазал руки свежим дёгтем, которым рыбаки промазывали лодки, и сидел на песке, разглядывая и нюхая палец. В это время к реке приближался некто Павлуша Рыбин, скопец, сектант, убеждённый бунтарь и просто местный сумасшедший. Павлуша свято верил в близкий конец света и выживание горстки избранных, к которой сам он и принадлежал. В тот день что-то особо не заладилось в Павлушиной голове, и конец всего живого показался ему очевидным настолько, что Рыбин решил не дожидаться его, а умертвиться немедленно. Он надел «парадное» рубище, привязал верёвками на шею три тяжёлых кирпича да и пошёл бросаться в Оредеж, на стремнину, на острые камни. И вот, у самой воды Павлуша вдруг увидел Костю. Божье дитя, рубашечка белая, крестик на тонкой шейке — чистый ангел! Недолго думая, Павлуша подхватил Костю и начал входить с ним в воду. Боженька примет жертву. С младенчиком, подумалось Рыбину, и врата небесные скорее откроются, не иначе ж — с невинным Господним проводником идёт, и дорога в рай будет широка и приветлива.

И быть бы Косте утопленником, если б не палец. Костя распрямился на руках у полоумного раба божьего Рыбина и показал ему пальчик, сказав «раз». Павлуша вдруг замер, остановившись и оцепенев. Это «раз» вкупе с запахом смолистого дёгтя, ударившего в ноздри, детский пальчик, который Костя по какому-то наитию приложил к Павлушиным губам и, имитируя Иринушку, прошипел «тссс», переключили румпель в голове недоутопленника, Рыбин разжал цепкие объятя, и Костя выскользнул из его рук, как обмылочек, больно ударившись головой о прибрежный камень. И то была удивительно малая плата за чудом спасённую пальцем жизнь, и отмаливать бы Косте неожиданный подарок до конца дней своих, но взрослые предпочли никогда больше ему не напоминать о чокнутом скопце. А сам он тут же и забыл. Но Иринушка каждое воскресенье ставила за мальчика свечечку в церкви. И плакала. Вплоть до своей смерти в десятом году.

Павлуша же признался судебному психиатру, под надзор которого он в скором времени попал: «У него пальчик синим светился! Губу мне обжѐг. Ангелочек мальчоночка, только пальчик бесоватый».

Знал бы тогда трёхлетний Костя, что «бесоватый пальчик», точно осмысленное стороннее существо, умное и по-умному злое, будет творить одному ему, пальчику, ведомое, и что никто не сможет изменить единожды задуманное им: ни окружающие люди, ни сам его покорный хозяин.

* * *

Второй яркий эпизод случился в девятом году, в длинный каникулярный отпуск. Костя и его студенческий друг Генрих Шмидт поехали в Зальцбург к родителям Генриха. Там собралась группа молодых легкоголовых студентов, в основном австрийцев, и все дни они проводили в кутежах, пьянстве и волоките за местными барышнями, смешливыми и приторно хорошенькими. Когда пиво и крепкий алкоголь, равно как и женщины, уже порядком поднадоели, Шмидту пришла в голову идея поехать в горы. Костя с воодушевлением согласился. Собралось человек восемь, купили верёвки, альпийские крюки, ботинки на шипах и отправились в ближние Альпы. Шмидты-родители были категорически против, но ни Генрих, ни тем более Костя прислушиваться к их мнению не желали.

Они прошли до середины пути к намеченной точке, и впереди шѐл некто Дитрих, про которого говорили «альпиец». Впрочем, этим почётным званием мог смело именовать себя почти любой, выросший в окрестностях Зальцбурга.

«Прогулка», как молодые люди назвали свой поход, казалась поначалу нетрудной. Лишь внезапный дождь, хлынувший из невесть откуда взявшейся тучи, немного омрачил настроение, но солнце, брызнувшее через пять минут, придало сил. Тропа петляла, жѐсткий кустарник норовил поцарапать ноги, и усталость уже навалилась тяжѐлым мешком на затылок и плечи, а развилка на карте Дитриха, где было условлено сделать привал, всё не показывалась. Вдруг кто-то из группы заметил эдельвейсы на небольшом, как тарелка, уступе.

— Я хочу себе в петлицу, — заявил Генрих и осторожно, боком, как краб по пирсу, начал двигаться к уступу, прижимаясь спиной к влажной скале.

— Я тоже хочу, — Костя рванул следом.

Напрасно им кричали товарищи, молодой задор взял верх, и спустя пару мгновений двое безумцев были уже рядом с уступом. Оставалось сделать всего несколько шагов... Генрих вдруг остановился:

— Баранов, довольно. Можно и отсюда достать.

Он потянулся и сорвал мелкий белый цветок.

— Струсил? — с ухмылкой бросил ему Костя.

Он кивнул на большой голубоватый эдельвейс, росший шагах в пяти от них. Но путь к нему лежал через трещину величиной с половину Костиного роста.

— Ерунда. Перепрыгнуть можно. Перешагнуть даже.

— Я не хочу... — нервно засмеялся Шмидт.

— А я хочу! — упрямо заявил Костя. — Не шевелись, я перелезу через тебя.

И не успел Генрих опомниться, как Костя вцепился в ремень Шмидта и занёс ногу на ту часть уступа, что была у самой трещины. Миг — нога соскользнула по мокрому камню, и Костя сорвался вниз, увлекая за собой в пропасть несчастного Генриха. Оба успели закричать, и их товарищи, которых скрывало узкое, как лезвие, ребро скалы, рванули на помощь, а когда доползли до трещины, то Шмидта уже не увидели...

...Не увидели бы и Костю, потому что ухватиться ему было совсем не за что. Колючие стебли татарника, о которые он ободрал ладони в кровь, были вырваны с корнем и уже летели вниз, догоняя Генриха, и только эхо глотало их шуршащий полёт и выплёвывало вперемешку с криками людей. Но палец! Тот самый палец вновь вершил его судьбу. Палец, палец! — лучше любого альпийского крюка зацепился за корень-петельку сколиозной карликовой сосны, росшей вопреки природной и геометрической логике на почти вертикальном каменном склоне; палец, палец, палец! — вгрызся по ноготь в жёлтое тело скалы, обманул закон гравитации и силу тяжести, вытянул, выудил Костину маленькую жизнь.

...Когда подоспели приятели, фаланга пальца онемела, но держала не хуже профессионального крепежа. Костю подхватили за запястье, рывком вытащили из бездны, и только через полчаса кто-то заметил, что палец всё ещё сжимает выдранный корешок, как фамильный перстень...

* * *

Костя редко вспоминал все эти истории. Но в голове всегда сидели слова Иринушки: «Правый указательный — всем пальцам царь. Другими жертвуй, этот береги пуше зеницы». И Костя берёт, всю жизнь берёт. Грел его в холода в левом кулаке, дул, когда обжигал; крестился им, по какой-то своей схеме соединяя два других пальца в щепоть, но касаясь лба лишь указательным; отправлял им воздушные поцелуи приглянувшимся случайным барышням; закрывал глаза покойникам; подносил им к ноздре раздобытый по великому случаю кокаин; грозил им при споре; пробегал им по строчкам бухгалтерской книги, подсчитывая хозяйственные доходы и расходы; обмакнув в расплавленный воск, скреплял им студенческую долговую расписку; нажимал им на спусковой крючок, неся смерть; доводил им женщин до экстаза и отстукивал на печатной машинке текст книги.

Палец был его альтер эго. И только война помогла Косте это понять.

Год назад, будучи на фронте несколько месяцев, он заметил, что ноготь на пальце врос в мясо и беспокоил. Полковой фельдшер велел осторожно подрезать ноготь, но Костя пропустил момент, и тот начал крепко вращать в плоть, медленно и занудно причиняя лёгкую нарывную боль. Он будто постоянно требовал к себе внимания, зудел, и Костя впервые ощутил панику, ни с чем не сравнимую. Было особенно удивительно, что такую панику не смогла в душе его посеять даже война. Ужас возможной гангрены, живого гниения и липкий страх потерять палец не давали покоя, выливались под утро настоящим кошмаром, и Костя ходил, как живой мертвец, пока

не нашёл в одном посёлке, где квартировал их полк, доктора-татарина. Тот дал ему мазь, чёрную и вонючую, Костя намазал палец, обмотал бинтом на ночь, и произошло чудо: через три дня, когда Костя снял повязку, всё прошло, нагноение сгнуло, но ноготь навсегда отделила желтизна.

* * *

...И вот сейчас Костя смотрел на этот желтоватый ноготь в мокрой от вечерней росы голубоватой траве и никак не мог сложить в голове простое арифметическое действие «один плюс один». Он, Костя, один. И палец один. Вместе они совсем недавно составляли единое неделимое целое. А вот полковой хирург взял и поделил. И что ж теперь?

Если бы это был какой-нибудь другой палец, но не этот, не этот, не этот! Да Костя бы левую руку отдал целиком, только бы палец оставался с ним!

Он, палец, определял Костину судьбу, заставлял бежать, останавливаться, умирать, падать и подниматься. И что же теперь? Нет судьбы?

Его охватило острое желание прикоснуться к пальцу. Он сделал к нему осторожный шаг и, дёрнувшись, отскочил: показалось, что палец сейчас зашевелится.

Уже опускалась вечерняя заря, малиновая и нагая, и мелкие ватные облака, розовые в брюшных складках, нависли низко над полем, гладили пузом высокотравье, и голоса вдруг затихли — птичьи и человечьи. А Костя всё стоял не дыша и смотрел, смотрел на свою мёртвую плоть, не в силах оторвать взгляд. И только когда разглядел в сумерках, как большой продолговатый жук, блеснувший хитиновым панцирем в последних закатных лучах, неспешно залезает на белую фалангу и трогает рогом ноготь, кинулся, схватил палец и помчался с ним в палатку госпиталя.

Кика с доктором стояли спиной ко входу, но сразу обернулись. Задыхаясь от бега и волнения, Костя протянул им палец, как древко маленького флага.

— Пришейте! Христом Богом прошу! Пришейте!

— Идите к своей койке, господин Баранов, — равнодушно сказал хирург и отвернулся.

— Ну вы же можете! — крикнул Костя. — Можете!

— Господь с вами! — Кика криво улыбнулась. — Невозможно это, сударь.

— Вы врётё всё! — Костя сорвался на хрип. — Вы можете! Я... Я денег дам. Сколько хотите? Мой отец...

— Угмонитесь, Константин Алексеевич, — доктор снова повернулся. — Таких операций никто не делает.

— Нет! Вы умеете!

Он всё ещё держал палец на вытянутой руке.

— Реплантиция — предмет футуристический, нереальный, — холодно процедил доктор, и монокль его чиркнул желтоватым отблеском в свете коптящей лампы.

Костя отшатнулся. Бесы, не врачи это, не люди вовсе! Бесы!

Он попятился к выходу, и юная ночь всосала его в свою сизую пасть.

* * *

Сколько он пробежал и где теперь находился, Костя не знал.

Огромная луна смотрела на него немигающим глазом, и это бельмо на чернильном оке неба сводило с ума. Костя часто заморгал, стараясь прогнать морок. В лунном свете поле казалось нескончаемо огромным, а трава была высока и остра. Он лёг и ощутил, как влага проникает сквозь рубашку, и озноб заставляет тело дёргаться.

Звёзды — близки, но от слёз казались нечёткими, размытыми. Вспоминая детство, юность, недавние годы, Косте вдруг подумалось, что всё, что случилось в его жизни, было как-то не очень светло, а кто тому виной, он и не задумывался никогда. Не было любви. Была страсть, мелкая влюблённость, разочарования и обиды, обретения и потери. Да, не любил. И не был любим никем. Даже собственной матерью, которая так никогда и не стала ему близка, а ближе была няня Иринушка, но та умерла, так и не захотев повидаться с ним напоследок. Отец? Редкое общение с ним было Косте в тягость, лишь щедрый ежемесячный банковский чек, который тот присылал сыну, свидетельствовал о некоем с ним родстве. А друзья? Костя хотел припомнить их имена, но так и не смог. Разве что Генрих, да он лежит где-то в альпийском ущелье, и кости его обглоданы птицами, даже могилы нет, лишь деревянный крест, воткнутый между камнями рядом с местом, где он упал.

Под тяжёлыми думами Костю накрывал вязкий сон, но земельный сырой холод пролезал под кожу, перебирал рёбра, как гусяр, и не давал упокоения. Земля вдыхала человеечь тепло и выдыхала седую туманную взвесь.

Наконец, Костя встал — и мгновенно почувствовал, как онемела левая рука, в кулаке которой был зажат палец.

«Всё».

Он прошёл до середины поля, и там, где была проплешина в траве, принялся рыть здоровой рукой землю. Похоронить! Похоронить его! Будет новая, новая жизнь!

Костя вспомнил, что в детстве писал и рисовал левой рукой, но отец наказал Иринушке переучить его, поскольку считал, что левши неполноценны. И Костя переучился. Мучительно, но старательно. И всё в жизни делал правой рукой, хотя иногда и играл на пианино незатейливые пьески, ведя основную линию «неправильными» пальцами.

К чёрту! Как вовремя он вспомнил про это! Похоронить и забыть!

Костя засыпал палец землёй, примял ногой и вдавил пучок дёрна.

Выпрямился. Посмотрел на светлеющее небо. Всё.

...И почувствовал укол штыка между лопатками.

Он знал немецкий, но не успел разобрать сказанных слов. Лишь ответил по-русски «какого чёрта» — и ощутил горячую боль за секунду до того, как штык проткнул сердце.

Немецкий солдат отодвинул ногой тело и с жадностью принялся выкапывать зарытый клад. Когда же вынул нечто продолговатое, осторожно развернул белый саван бинта, то долго смотрел на маленького уродца и не мог понять, что это за сокровище и почему убитый им человек так старательно прятал его. А когда понял, не выронил, а пошёл в каком-то ступоре по полю на алеющую зарю, неся найденное на вытянутой трясающейся ладони и не в силах отпустить этот русский палец.

...Пока шагов через десять не подорвался на ждавшем своего часа шрапнельном фугасе.

Сергей Мальцев

Маша, Медвед и воздушная тревога

Рассказ

— Дяденька, а Миска боится?

— Не знаю. Раньше не боялся. А спроси-ка сама.

— Миска, миска, ты боишься? Дяденька, молчит миска. А как его зовут?

— Да просто зовут — Медвед.

— Ага. А давай, миска Медвед, знакомиться. Я Маса и никакой тлевоги не боюсь, а дома у нас есть кычык Лука, он тоже не боицца тлевоги по телевизору, и его все любят: и папа, и мама, и сестла, а баба Вела не любит — он цветок улонил...

Пассажиры автобуса с интересом наблюдали за беседой маленькой девочки в розовой курточке и большого плюшевого медведя, расположившегося между передними сиденьями. Я часто езжу на этом автобусе и знаю: Медвед (так его действительно зовут) — постоянный член экипажа, его талисман и любимец пассажиров. Я тоже из их числа и поэтому стараюсь попасть именно на этот автобус, «с Медведем».

Совместными стараниями водителей автобуса и пассажиров зверь был одет вполне достойно и по моде нашего приморского города: тельник (тельняшка), лихо заломленная беска (бескозырка), шарф любимой футбольной команды, которую нельзя не любить только из-за названия, и в завершение гардероба столь необходимые в южном климате, даже для плюшевого зверя, изысканные и, кстати, совсем не дешёвые солнцезащитные очки, — летом ему их подарила одна восторженная дама из столицы. То ли административной, то ли культурной — водитель не уточнял. Медвед подарок принял и носит с видом, достойным жителя нашего города, — тоже столицы — патриотической.

Прошло уже четверть часа, как наш автобус застыл на остановке. Причиной тому была очередная воздушная тревога. Скорее всего, наше ПВО зафиксировало пуск вражеских ракет где-нибудь в районе Николаева или Одессы и сработала система оповещения. В каждом телевизоре и в каждом смартфоне на территории города. По этому сигналу весь общественный транспорт останавливается на ближайшей остановке, и пассажиры с завистью смотрят на как ни в чём не бывало проезжающий мимо автотранспорт, не имеющий отношения к общественному. Дальше по замыслу городской администрации мы должны следовать в ближайшее убежище. Но поскольку

Мальцев Сергей Викторович родился в Томской области в 1959 году. Автор стихов и прозы. Живёт в Севастополе. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

эта самая администрация в общественном транспорте из точки А в точку Б не перемещается, то ей и неизвестно, что есть маршруты, где таких убежищ нет (сейчас будет надоевший до оскомины словесный оборот, но он до мурашек подходит). «Нет» от слова «совсем».

Наш маршрут именно такой — большая его часть проходит по территории бесконечных садовых товариществ. Остановка, на которой мы стоим, вообще расположена на берегу моря, а с другой стороны уютные домики, дома и домищи, у которых одна общая черта: капитальные заборы и наглухо закрытые ворота. Да и за ними, даже если впустят, вряд ли есть какие-нибудь подвалы. Короче, спрятаться некуда. Да никто и не собирается. По всему видно, что жителям города-героя прятаться от современной фашистской нечисти неуместно. Народ в автобусе вёл себя будто ничего особенного не случилось. Подумаешь — воздушная тревога. Дело житейское. Только одна бабуля, нет, пожалуй, ей лучше подойдёт это — *элегантная дама*, — одетая в соответствии с вызывающим уважением возрастом, обратилась ко мне, поскольку я сидел рядом:

— Молодой человек, как вы думаете, через час это закончится, или мне такси вызывать? — Затем, кокетливо вздохнув, добавила: — Приглашена в театр, а надо ещё к стилисту... причёску поправить.

Судя по всему, приглашение в театр поступило от кавалера, к которому дама была, скорее всего, безразлична. Я пожал плечами:

— Затрудняюсь сказать. В прошлый раз два часа сидели.

Мой ответ явно даму не успокоил, и она, отправив кому-то сообщение, в следующие полчаса то и дело смотрела на свои часы.

— И когда только у этих сволочей бомбы закончатся? На рынок поехала, думала за час управиться, а теперь... — раздался женский голос сзади.

И тут же его прервал мальчишеский басок, обладатель которого явно хотел казаться старше своего возраста:

— Это не бомбы, мама. Беспилотники. *Скальпы* или *Шторма*. Их с самолётов запускают. Сосед наш, дядя Вася, он же в ПВО, говорил, что сбивать их не проблема. У его расчёта уже десятков на счету. Я решил после школы в Академию ПВО поступать, где дядя Вася учился. Имени маршала Василевского.

— Ох, сынок. Ты школу сначала закончи, седьмой-то класс с двумя тройками вышел. А без математики с физикой в академии делать нечего. Это тебе Василий Игоревич объяснил?

— Ага. Он меня подтянуть обещал. Ты же не будешь против, чтобы он к нам заходил, занимался со мной? И вообще...

— Что «вообще», Коленька?

— Да это... Наш папа погиб, когда я ещё маленький был, а дядя Вася тоже один... А он тебе нравится?

Чтобы дальше не подслушивать такой личный разговор, я надел наушники и запустил плейлист своего смартфона — зазвучали первые аккорды Блэкморовской Temple Of The King. Всё-таки старина Черномор гений... Мураши по коже всегда, когда слушаю эту вещь. Но вот музыка смолкла, и я решил осмотреться.

Несколько пассажиров собрались пойти пешком, видно, до их остановки было недалеко, оставшиеся проводили время по-разному. Двое мужчин вышли покурить, мать с сыном Колей продолжали обсуждать дядю Васю, молодые люди на заднем сиденье дружно смотрели в экраны смартфонов, а остальные просто смотрели в окна. *Маса*, которая Маша, увлечённо рассказывала своему новому другу Медведу

про кыщыка Луку, полное имя которого, оказывается, *Луклеций*, «в честь одного умного дяденьки», и он, кыщык, а не дяденька, тоже «очень умный и милит маму с папой, когда те ссолются», а ещё он любит есть кильку и пить молоко. «А баба Вела поселдица-поселдица и Луку всё-равно полюбит, потому что он холоший». Медвед слушал внимательно и вроде даже кивнул пару раз. Это когда курильщики заходили и водитель вышел ноги размять — автобус немного качнулся.

Далеко над морем показалось белое облачко и вскоре донёсся звук разрыва.

— Сбили! — гордо сообщил Коля, явно чувствуя себя уже чуточку офицером ПВО. Мама же только обречённо вздохнула.

Обогнув автобус, впереди него остановился чёрный внедорожник с буквой Z на двери. Из него вылез стройный мужчина лет шестидесяти и вошёл в переднюю открытую дверь автобуса. Судя по выправке — офицер запаса или даже действующий, если звёзды большие. Но всё равно, дама на правильном пути.

— Наташенька! Ну что же вы! Надо было сразу позвонить, а не эсэмэски слать. Я не сразу их увидел. Давно вы тут?

Я взглянул на мою соседку. Кажется, она помолодела лет на десять. Или больше...

— Федя! Всё хорошо, ну зачем вы приехали, я бы и сама добралась на такси. Зачем утруждать...

Но было видно, что она довольна инициативой своего кавалера. Дама Наталья прошла к выходу, изящно коснувшись валидатора своей карточкой. Маша, сидевшая в обнимку с медведем, помахала на прощанье зажатой в руке плюшевой лапой и с грустью сказала:

— Как говолит мой папа, «отляд не заметил потели бойца».

Пассажиры, услышавшие сентенцию, не смогли сдержать улыбок, а мама девочки насторожённо обратилась к дочери:

— Мария, надеюсь, ты не всё здесь будешь говорить, что слышала от нашего папы?

— Нет, мамочка, папа иногда говолит словами, котолые я ещё не знаю. А что не знаю, не говолю...

Водитель автобуса, пожилой мужчина с добрыми глазами Деда Мороза, философски заметил:

— Киножурнал «Хочу всё знать». Да-а-а, многие знания — многие печали...

И тут раздался звук пионерского горна. Водитель достал из кармана жилетки источник звука, выслушал сообщение и с облегчением объявил:

— Граждане пассажиры! Отбой воздушной тревоги. Враг разбит, и победа будет за нами. Наш полёт продолжается, просьба занять места. Экипаж благодарит всех за выдержку и спокойствие!

Молодёжь на заднем ряду заплодировала. Маша, уже считающая себя, как медвежьего друга, полноправным членом экипажа, гордо посмотрела на мать:

— Как говолил мальчик Тимул, в книжке, котолую мне читал папа: «Всем холошо! Все спокойны. Значит, и я спокойная тоже!»

А папа-то, знающий много непонятных слов, оказывается, наш человек, коли дочке «Тимура и его команду» читает.

Наконец, автобус тронулся. Я надел наушники. Вика Цыганова пела «Огонь перемен»:

...И мы исполняем сакральный приказ
И бьём
По своим городам...

2023 год. Поздняя осень, Донбасс, где-то в районе Авдеевской промзоны.

...Взрыв, ещё один и ещё... Я открыл глаза, спросонья не понимая, где я и что.

С потолка сыпалась штукатурка.

— Север!

Чья-то рука тряхнула меня за плечо, резкая боль отдалась в голове, и я невольно застонал.

— Командир! Ты как?

— Не дождётесь...

Я возвращался к действительности. Надо мной хлопотал крепко скроенный блондинистый Черкес, мой заместитель. Почему у него такой позывной, никто не знает. Сам не говорит, но слышал, что он даже на Кавказе никогда не был. Носит бороду, которая ему не идёт.

— Что там? Как ребята?

— Нормально. С тобой двое трёхсотых: Байкер и Медведь. Ничего серьёзного — осколками малёха посекло. Сами перевязались. А у чубатых жуть что творится. Федералы ФАБами отработали, потом кассетами, изо всех стволов лупят... Танки подтянулись, скоро, помолясь, вперёд пойдём. Это самое, Медведь, когда тебя вытаскивал, говорит, что ты всё про какой-то автобус бормотал и про Машу с ним, с Медведем. А он никакой Маши не знает...

— Да, пожалуй, не знает... не свезло ему. Слушай, Черкес, что такое счастье по-твоему?

Тот задумался, гамма чувств пролетела по его бородатой физиономии, — наконец, что-то вспомнив, улыбнулся и выпалил:

— Дак это, «пошить костюм с отливом и в Ялту». — А потом серьёзно добавил: — Домой вернуться живым, с ногами и руками. Чего ж ещё?

Что тут скажешь? Всё верно — *с ногами и руками*. А в старом советском фильме один парень сказал, что «счастье — это когда тебя понимают». Тоже верно. Только для моих парней лучше быть понятным «живым с руками и ногами».

А что есть счастье для меня?

Понемногу в памяти всплывают, как в кино, кадры вчерашнего боя: колонна танков с крестами и несколько «Брэдли». В небе мечутся коптеры — наши и ихние. Отработал «Корнет» и РПГ-шки. В итоге — минус два крестonosца и пендосовское корыто. Моя «Рапира» врезала и заминусовала ещё один танк, но позиция была обнаружена, и оставшиеся танки заворочали стволами орудий. Успели ещё одному под башню загнать подарочек, и прыжком в укрытие. Больше ничего не помню. Кроме как...

...Последний день перед отъездом в Ростов на сборный пункт нашего «Барса». Попрошавшись с родными, решил ещё заехать на дачу, забрать кое-чего полезного. Сажусь в автобус, здороваюсь со знакомым водителем и киваю Медведу...

Вроде ничего такого особенного... Но мне вдруг показалось, что тот обычный день был счастливым. Не самым счастливым в жизни, конечно. Жизнь-то ещё не кончилась, наверное, ещё будут счастливые дни. Будут...

Крайний разрыв был каким-то очень уж близким, судя по количеству сыпавшейся штукатурки, ещё один, и ещё...

Нет, пожалуй, тот день и был тем самым счастьем. И не испортила его даже воздушная тревога...

Надежда Бесфамильная

Где светла небесная иордань

Высота 254,5. Июль 1943 г. Начало Курской битвы

Таких в России — сплошь и рядом мест,
Где рудники и родники окрест,
Хлебов раздолье — каждого насытишь.
Не всякому в названье дали слов,
Иным досталось дробное число,
Но намертво запомнишь, лишь увидишь.

Две сотни пятьдесят четыре пять
Одним умом Россию не понять,
Нездешнему уму — опасны игры;
Отсюда на восток куда ни глянь —
Рудник, родник — всё лакомая дань,
И прут на высоту стальные тигры.

Там, где от боя плавится июль,
Поплюй на руки и на страх наплюй,
Словами крой, огнём и не инако,
Тебя покрепче танковой брони
От пули фотокарточка хранит
На двести пятьдесят четвёртой с гаком.

Ты вспомни день, когда домой придёшь
И ощутишь в ногах впервые дрожь,
Качнувшись телом в маленькие сенцы...
Корёж броню тигриную, Ванёк,
Тот сам себе возмездие навлёт,
Кто, кровь почуяв, вызверился сердцем.

Бесфамильная Надежда Николаевна — поэт. Родилась в г. Льгове (Курская область). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Работает переводчиком. Автор пяти книг стихов, в том числе «Майский жук» (М., 2016) и «Чашка с незабудками» (М., 2019). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живёт в Москве.

И даже в смерти знай — не подведут,
Потомки, если снова в бой пойдут,
Случись засада вражья окружная,
За каждую земли и жизни пядь
Вновь будут Курск и Белгород стоять,
С высоток вражью силу отражая.

Ржанка. Память войны

На болоте мхов прошлогодних ржа
Да калужниц редкие сполохи,
Здесь, на топях, каждый опасен шаг,
Ты ходи пригорками, поверху.

Сколь ни шупай посохом — всё одно:
Под ногами лишь смерть кромешная,
Здесь и так костей без тебя полно
И железа с войны намешано.

Бурелом да поросль худых осин,
А под ними сплошь безголосица...
Комариный звон надо мхом висит,
Колокольный звон чуть доносится.

Где-то Мга и Луга, Смоленск и Псков
Оживают весной на солнышке,
Только ржанка знай себе вьёт гнездо
На болоте — растить детёнышей.

И далась вот эта ей глухомань —
Не покажется в город на люди,
Где светла небесная иордань
В отраженьях озёрной заводи.

Чьей вдовой была в прошлой жизни ты
Иль сама полегла когда-то здесь?
...Собирает округу за три версты
На молитву протяжный Благовест.

Будет ржанка на птичьём читать Псалтырь
Да о мире людском печалиться.
А война гудит, раздаётся вширь,
Не кончается. Не кончается.

Ноша

Поверни меня к свету, спаси, вразуми...
Всё истощнее время, всё горше и злей.
...Он приходит с мешком, с чем-то вроде сумы
И стоит по ночам над душою моей.

То ли первовиновник вся и всего,
То ль из новых пророков какой имярек,
А в суме у него ничего, ничего,
Лишь больной, злополучно начавшийся век.

Говорит — забирай, эта ноша — твоя,
На себе волоки, ни минуты не стой,
А в подмогу тебе — на ходу лития...
А мешок неподъёмный, хоть с виду пустой.

Говорит: погоди, покурю, не сбегу,
И выходит, с плеча не снимая мешка,
И ищи его, словно иголку в снегу —
Только крап на крыльце от его табака.

Только ветер гоняет открытый мешок,
Раздувает его, многозвучен и сил,
Мне б дожждаться до света того, кто ушёл,
И подробно о ноше его расспросить.

Не дождусь, не усну, до бессонных кругов
Просмотрю все глаза — за окном ни следа,
Только надпись на мёрзлой странице снегов:
Эта темень надолго, но не навсегда.

Сергей Вараксин

Гогель-могель

Рассказ

— А ведь шинель-то моя! — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник.

Н. В. Гоголь. «Шинель»

«Хрум, хрум...» — слышите? — это Абрам Абрамович Башмачкин грызёт сухарь. Он сидит в землянке на снарядном ящике, глаза у него закрыты. Наверху, над брёвнами наката, метёт метель. Абрам Абрамович вспоминает Машу, высокую некрасивую девушку, дочку советского писателя Гомберга.

Он зашёл к ним попрощаться, неловко топтался в дверях и вертел в руках запотевшие круглые очки. Маша сказала: «Снимайте шинель, у вас пуговица скоро отвалится». Абрам Абрамович снял шинель, и Маша унесла её в свою комнату, а они с Владимиром Германовичем пили на кухне чай из чашек с почти прозрачными стенками.

— Заснул, что ли? — подёргал Башмачкина за плечо Нагаткин. — Давай бегом, Печёнкин зовёт.

Капитан Печёнкин вызывал его к себе уже второй раз. Сначала он водкой дышал Башмачкину в лицо, толкал Абрама Абрамовича в грудь и заговорщицки шептал на ухо разные слова, щекоча Башмачкина роскошными будённовскими усами. Абрам Абрамович стоял, держал руки по швам и старался не рассмеяться. Сейчас Печёнкин молча достал из кобуры пистолет и зло посмотрел Башмачкину в глаза.

Эта почти невероятная история случилась то ли на Волховском, то ли на Ленинградском фронте холодной зимой 43-го года. Батальон капитана Печёнкина третий день пытался с боем взять станцию Любица, из которой его выбили части дивизии СС «Мёртвая голова». Печёнкина вызвали в штаб полка и грозились сорвать погоны. Приказ был простой: «Взять назад!» Печёнкину дали неделю срока. Теперь каждое утро вой миномётов будил окрестности, дрожала земля, и чёрные фигурки с криком «ура-а-а!» катились вперёд к деревне. «Та-та-та-та!» — стучал в ответ пулёмёт, и фигурки откатывались назад, а некоторые так и оставались лежать в снегу тёмными холмиками, пока холодный северный ветер с печальным свистом не выравнивал поле. Капитан Печёнкин ругался матом, пил водку и просил подкрепления.

Вараксин Сергей Викторович — член Союза фотохудожников России. Родился в 1957 году в посёлке Чупа (Карелия). Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Рассказы печатались в журналах «Нева», «Урал» и др. Живёт в Петрозаводске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Ну чё, Абрамыч, не сберёг шинель?! — заржали бойцы, когда Башмачкинд вошёл в землянку в овечьем полушубке капитана Печёнкина.

— Идите в жопу, ребята, — интеллигентно сказал Абрам Абрамович, присаживаясь поближе к печке.

Он сложил руки лодочкой, уткнул в них лицо и покачал большой головой из стороны в сторону. Абраму Абрамовичу стукнуло сорок, он был мудр и в данный момент печален. На фронт Башмачкинд попал по недоразумению. Так считала вся первая рота, упорно называя его без «д» — Башмачкин. Что думал по этому поводу рыжий мальчишка лейтенант Нагаткин, неизвестно, но случай с Башмачкиндром произвёл на него такое сильное впечатление, что материться он стал, как совершенный сапожник. Да и у кого, признайтесь честно, от этих дел не съехала бы крыша?

Сам Башмачкинд узнал о необыкновенных свойствах своей шинели три дня назад. Подгоняемый криком Нагаткина, с винтовкой наперевес он бежал к Любице и упал, отброшенный пулемётной пулей назад, и думал, что уже всё — умер. Полежав немножко убитым, он приподнялся на корточки и сначала пополз, а потом побежал вместе со всеми назад и свалился в траншею прямо на лейтенанта, который очень удивился живому Башмачкинду. На следующий день Абрама Абрамовича убили уже два раза подряд: первый, когда он бежал к Любице, а второй, — когда обратно. Теперь вся рота ходила вокруг Башмачкинда, его дёргали за руки, хлопали по плечам, предлагали махнуться, в шутку, конечно, завидовали. Нагаткин лично исследовал шинель, но, кроме одной неуставной пуговицы, ничего странного не обнаружил. «Ни буя не понимаю!» — весело сказал он и, сдвинув набекрень шапку, доложил капитану о происшествии. Абрам Абрамович был доставлен к Печёнкину. Печёнкин выгнал всех из блиндажа и расстрелял шинель Башмачкинда, которая действительно оказалась непробиваемой. После дополнительного тщательного обследования Печёнкин потребовал шинель в обмен на «всё что хочешь».

Теперь, в роскошном полушубке Печёнкина, Башмачкинд сидел, прислонившись к сырой стене, и думал: «Как это всё случилось?»

Они встретились в редакции «Огонька». Башмачкинд принёс статью о Гоголе, и Владимир Германович Гомберг, разговорившись, пригласил его к себе в гости. Тогда Башмачкинд увидел Машу и сразу утонул в её огромных чёрных, с длинными ресницами, глазах. Маше тоже понравился странный смешной Абрам Абрамович. Гомберг снял с полки два томика «Мёртвых душ» и рассказал историю с перезахоронением Гоголя. Это было в 1931 году. Владимир Германович, присутствовавший на эксгумации, не удержался и вырезал из сюртука классика кусок ткани с пуговицей. Тканью он переплёл «Мёртвые души», а пуговицу подарил Маше. Башмачкинд ушёл от Гомбергов потрясённый рассказом Владимира Германовича и, конечно же, Машей, к которой потом не раз заходил в гости.

Башмачкинд вздохнул, выудил из кармана ватных штанов лист бумаги, послунявив карандаш, написал: «Здравствуйте, Маша! Я не смог выполнить данное Вам обещание. Простите меня». Он подумал, дописал ещё несколько строк и сложил листок треугольником.

На рассвете с криком «ура-а-а!» батальон опять штурмовал Любицу. Абрам Абрамович бежал во второй цепи, тоже кричал «ура-а-а!», сжимая в руках винтовку. От станции длинными очередями стал бить пулемёт, и чёрные фонтанчики брызг рассыпались по белому полю. В первой цепи начали падать, вторая дрогнула. Абрам Абрамович, тяжело дыша, ткнулся лицом в землю. Рядом упал Нагаткин, но тут же заорал, озираясь вокруг: «Чего легли! Вашу мать! Вперёд!» Он встал на колени, выстрелил вверх и побежал, загребая снег большими ногами. Башмачкинд бросился вслед за ним, задыхаясь и с хрипом втягивая в себя раздирающий горло воздух. Пули

свистели вокруг Абрама Абрамовича, пытаясь попасть ему в грудь. Комья чёрной земли сыпались на него с неба, гарь забивала нос, грохот разрывов закладывал уши. Его обгоняли справа и слева, кто-то упал впереди него, и Башмачкин с трудом устоял на ногах, успев увернуться. Передняя цепь уже подступала к окраинам станции, стали видны заваленные сугробами низкие окна домов и частокол огородов. Из траншей выбегали немцы. «Давай, славяне! В бога, в душу, мать!» — стонал капитан Печёнкин в шинели Абрама Абрамовича, стреляя в выкатившегося ему навстречу фрица. Башмачкин вцепился глазами в спину Печёнкина и старался больше не выпускать её из вида. Он два раза падал, проваливаясь в воронки, вставал и снова бежал за своей шинелью, пока выскочивший откуда-то жирный немец не воткнул в него штык прямо под брезентовый ремень с медной пряжкой. Сразу стало вдруг тихо вокруг, и всё остановилось для Абрама Абрамовича. Он медленно сполз на колени, стал внимательно разглядывать свой живот, а потом завалился вбок с выпученными глазами.

К обеду Любича была наша. Батальон закреплялся на новых позициях. Командиры взводов опять ругались из-за жилья. Дымили походные кухни. Мёртвых пересчитали, раненых отправили в санбат. Башмачкин пропал без вести. Как ни странно, но похоронная команда нашла только пробитый штык-ножом полушубок, в кармане которого лежало письмо, залитое кровью, и круглые очки в железной оправе. Тело Башмачкина исчезло в неизвестном направлении, как будто его и не было.

Письмо и очки Абрама Абрамовича достались лейтенанту Нагаткину. Несколько с трудом разобранных слов: «...сибо» и «за ...уговицу...» — так возбудили его любопытство, что он решил поговорить с капитаном Печёнкиным. Хмурый Печёнкин послал его к чёрту, и вообще, был пьян беспробудно. Он играл на трофейном аккордеоне «О чём ты тоскуешь, товарищ моряк», а по ночам стрелял в небо трассирующими пулями. Шинель Абрама Абрамовича он не снимал даже в постели, а, просыпаясь, хлопал руками вокруг себя и, нащупав волшебное сукно, опять забывался коротким, беспокойным военным сном.

«Тук! Тук! Тук!» — постучались в штабную дверь.

— Кто? Кто там? — вскочил Печёнкин. Босые ноги прошлёпали по полу, скрипнула, открываясь, дверь.

— Это Башмачкин, товарищ капитан, — испуганно сказал из темноты ординарец. — Вас требует... — добавил он жалобно.

— Совсем охренел! — заругался Печёнкин, взял кобуру и вышел на улицу.

Снег хрустел у него под ногами. Луна освещала двор. Огромный мёртвый Башмачкин висел в воздухе и, улыбаясь, смотрел на капитана.

— Зачем ты украл мою шинель? — ласково спросил он и засмеялся совершенно дурным голосом. Печёнкин пытался вытащить из кобуры пистолет. — Не стреляй, Печёнкин, а то плохо будет, — сказал Башмачкин и погрозил ему пальцем.

Печёнкин достал ТТ и несколько раз выстрелил в Башмачкина. Башмачкин печально вскрикнул и разлетелся на множество мелких шариков, которые, хихикая, как от щекотки, стали лопаться друг за другом.

Печёнкин вздрогнул, проснулся и, помотав головой, всхрапнул, как лошадь.

— Гогель-могель! — выругался он. — Башмачкина сюда из первой роты! — крикнул кому-то в угол.

Ординарец вылетел из блиндажа, на ходу надевая шапку.

— Заснул, что ли? — подёргал Абрама Абрамовича за плечо лейтенант Нагаткин. — Давай бегом, Печёнкин зовёт.

Капитан Печёнкин вызывал его к себе уже во второй раз.

Михаил Кайдаш

Два рассказа

Письма из Энзели

Сухой, жёсткий воздух резал Острогову лёгкие. Стены и пол дрожали под натиском артиллерийских залпов. Сквозь закрытые дощатые ставни в комнату проникал утренний свет, было видно, как в лучах пляшут беспорядочные клубья землистой пыли. Под пушечными ударами они каждый раз пускались в новый бурный танец.

Гомону внутри помещения не удавалось заглушить внешний хаос. В углу комнаты беззубая старуха в тёмно-синем берберовском платье выкрикивала в пустоту бессмысленные оскорбления, перед ней стоял её сын, бородатый детина с разбитой губой. Губа — дело рук Лазарева, огрел его рукоятью револьвера, в дом пускать не хотел. Жить захочешь — и не такое сделаешь, нечего двери запирать.

Лазарев в это время возился на полу с раненым англичанином, то и дело поправляя съезжающее с носа пенсне и вытирая замызганными рукавами вспотевший лоб. Англичанин дёргался, как жеребёнок со сломанной ногой, усложняя докторишке работу. Выглядел он неважно: от формы на нём были одни брюки, разорванная на груди рубаха, из плеча сочится кровь. Китель надеть не успел: снаряд влетел прямо в штаб. Повезло, что вылезти успел: Лазарев заметил и подхватил его у обрушенной стены и потащил за собой. Как добрались до какого-нибудь дома, так церемониться не стали: оборвали рубаху, и давай штопать.

Острогов не перестал дивиться Лазареву и его бесконечному спокойствию. Лицо его напоминало маску, не выражало ровным счётом ничего; он сосредоточенно ковырял у англичанина кортиком в плече, пытаясь достать осколок. Острогова же трясло, он разъярялся собственным бессилием всё сильнее с каждой секундой. За свою жизнь он боялся мало — больше переживал за жизнь Таты с базарной улицы. Он уселся под стеной, между приладил винтовку. От напряжения нога нервно дёргалась.

Мало-помалу грохот стихал, всё отчетливее звучал винтовочный и пулемётный треск где-то вдалеке: не то слева, где дорога из города, не то справа, где болото.

Михаил Кайдаш — преподаватель, прозаик, переводчик. Родился в Донецке в 2000 году. Закончил Донецкий Национальный Университет по специальности «Зарубежная филология», магистратуру Южного Федерального Университета по специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация». Публиковался в сборнике «Мастерская “Арзамас”» и журнале «Вернике и Брока». Организатор ростовского общества изящной словесности «Гетерия». Живёт в г. Ростов-на-Дону.

Острогов прижался к стене ещё сильнее. Так текли секунды, минуты. Может, часы. Каждое мгновение, проведённое в страхе и бездействии, равнялось вечности.

Англичанин перестал трепыхаться и затих. Лазарев шумно выдохнул, встал, неровным движением снял очки и разочарованно сплюнул.

— Это же мы сколько его тащили, а... — пробубнил он себе под нос.

В распахнутую настежь дверь влетел запыхавшийся гонец. Только влетел — и остановился, упёрся руками в бёдра и задышал, как пёс. С воротника кителя спадали тяжёлые капли пота, горлом он хрипел, будто преставится прямо здесь. В комнате появление гонца восприняли с воодушевлением. Его отправили в британский штаб разузнать, что произошло и что делать. Когда это было? Может, не больше десяти минут назад, а может, и в прошлой жизни. Отдышавшись, гонец густо сплюнул на земляной пол.

— Дрянь дело, дай Боже, полный развал. Англичане молчат.

— Как — молчат? — недоумевал Острогов.

— Как убитые молчат. Говорят, телеграф отрезали, связи никакой. Со всех сторон обложили. Чемпейн запросил прекратить огонь, пока ждём, — в глазах стриженного ёжиком гонца закипала злость. Грохот снаружи окончательно затих.

В комнате вдруг закончился воздух. Звуки все затихли, слышно было только как у Острогова в нагрудном кармане щёлкает потёртый брегет. Он вынул его из кармана, посмотрел на время. Часовую стрелку тянуло к девяти часам. Стрелять начали ранним утром, не позже пяти. Четыре часа бессмысленности и неопределённости. Он силился, но так и не мог вспомнить, чем всё это время был занят и что за это время успело произойти.

— Петя, — обратился он к Лазареву, — иди в гарнизон, проверь, кто остался. Раненых на киржимы посадите и переведите на тот берег.

— А если по ним стрелять начнут?

— А их лучше здесь оставить? Выполнять, — зло покосился Острогов.

Лазарев поправил китель, в последний раз наклонился к англичанину. Тот смотрел в потолок пустым, лишённым смысла взглядом. Грубой ладонью Пётр провёл по его глазам, опуская веки. Взглянул на Острогова, кивнул в сторону бездыханного. Острогов в ответ махнул рукой — свои найдут, пусть и забирают, мы здесь положенное сделали.

Прежде чем вернуться в гарнизон, Острогов пошёл на базарную улицу. Тревога душила здравый смысл, и он рассудил — решу, что с Татой делать, и тогда вернусь. В мгновение ока улицы Энзели наполнились людьми. То были не повседневные праздные толпы. Пыльные автомоторы стояли у нескольких домов, расхристанные пехотинцы-англичане сгружали в них ящики, набитые чёрт-те разберет чем: одни тащат оружие, другие — ковры, третьи вообще грузят клетки с вычурно-цветастыми попугаями. Недоумённым лицам вторила одежда. Хорошо, если хотя бы рубашки, большинство были голыми по пояс, с запylёнными белыми торсами. Офицера от солдата отличить возможно было только по выправке. Удивительное всё-таки качество: в одном исподнем держаться, словно ты стоишь на параде.

Где-то поодаль офицер отчитывал непальского субедара, за которым вилась вереница мужчин, женщин и детей с торбами и сумками. Кто-то решил бежать, побросав скарб, прочь из города. Дети жались к матерям, кричали. Из дальних глубин улицы было слышно, как гнусаво надрывался какой-то неведомый музыкальный инструмент. Острогов на ходу нервно теребил антабку потёртого ремня винтовки.

Со стороны моря опять закричали корабельные орудия. Бесперебойный гам голосов усилился стократ, мутно-бронзовые непальцы и индусы в грязных чалмах бросились врассыпную, расталкивая господ-офицеров. Улицы заволокло едкой бурой пылью, жгло нос и глотку, слезились глаза и забивались поры.

Секунда, две, три. В воздухе зашелестели снаряды. От надрывного грохоту у Острогова заложило уши. Футах в пятистах к небу поднялся пыльный столб, загораживая ясное майское солнце. Жить, жить, жить — заклокотало в голове у Острогова, на затылке вздыбились волосы. Тело как будто само собой решило замереть, ноги и руки одеревенели, даже лёгкие, и те — замерли. Дышать приходилось с ощутимым усилием, и каждый вдох наполнял грудь раскалённым грязным воздухом.

Острогов вскинул винтовку и вскочил в первую попавшуюся открытую дверь. В темноте расплывался человекоподобный силуэт, бронзовый, сливающийся с пространством — только два желтовато-белых глаза во мраке выдавали, что это человек. На Острогова бешеным взглядом смотрел раздетый по пояс непалец. Когда глаза чуть привыкли к темноте, его вышло рассмотреть чуть лучше. По тёмно-болотным брюкам было понятно, что он тоже военный. Оружия при нём не было — пыльный «энфильд» валялся в дальнем углу, рядом — разбросанны обоймы с патронами. Винтовку как будто достали для чистки, но вместо этого нашлись другие, более важные дела. Тёмная кожа непальца была изъедена черноватыми рытвинами.

Он что-то кричал Острогову — их языка тот не знал, за пару месяцев в Энзели он едва успел привыкнуть к английской речи. Но даже если бы непалец и говорил по-английски, то сейчас ни слова было не разобрать. От испуга Острогов вскинул винтовку и подвёл указательный палец к курку. Непалец метался, вскидывал руки, как будто угрожая. Острогов не понимал, что от него хотят. Знал только — пока обстрел не стихнет, отсюда он не уйдёт, хоть даже его и похоронят здесь. Опустить оружие он не мог, его как будто что-то удерживало. Он остервенело вцепился в цевьё винтовки и не спускал с непальца глаз.

На спине проступал липкий пот. Грубый материал кителя царапал кожу — Острогов надел его на голое тело, не успев найти ничего другого. Из темноты, не отрываясь и не моргая, в него вперились жёлтые белки глаз. Снова шелест. Снова разрыв. Земля под ногами заходила ходуном, казалось, всё, что есть сущего на свете, — всё подчинено воле этих звуков, этой бесконечной симфонии разрушения, и Острогову места в ней нет, ему дано только подчиниться. Палец соскользнул и вжался в курок.

Непальца отбросило к стене. Брызнула кровь — в темноте она казалась практически чёрной. Обессиленное тело подломилось в ногах, прижалось к стене и сползло на пол, оставляя за собой загадочную абстрактную композицию.

* * *

Обстрел закончился через несколько часов. Стихли выстрелы где-то за чертой города. Острогов смиренно сидел, потирая перевязанную уже затвердевшим от сухой крови бинтом голову и смотрел из окна на море.

До Таты он так и не добрался — не дошёл каких-то трёхсот метров. Аккурат к его приходу на базарную улицу прилетело несколько тяжёлых, глупых болванок. Где Тата, что с ней, он не знал. Её судьба, как, собственно, и его, была отдана на откуп силам, с которыми соревноваться он не мог. Да уже и не хотел.

Там же его и ранило, по той же идиотской случайности — в голову попал шальной камень, отлетевший от стены. Неглубокая, несерьёзная рана, но из-за крови его приняли за едва ли не умирающего, перевязали и увезли в штаб. Последний снаряд

того дня пришёлся на тот самый дом, у которого его ранило. Не отвезли бы — так Острогов бы и остался там.

Англичан в городе не осталось — ушли, забрав с собой все автомобили, грузовики, а заодно прихватив замки от береговых орудий. Непальцы ушли за ними, таща свои пожитки на сутулых спинах ослов. Ослов, потому что лошадей тоже забрали англичане. Почти все русские ушли на лодках через залив. В городе осталось не больше двадцати человек, хоть как-то напоминавших солдат, и все они собрались в гарнизонном штабе.

Штаб больше напоминал бедлам. Разгорячённый Лазарев громко спорил с двумя усатыми моряками, уже не было понятно, о чём: то ли о ахалтекинских скакунах, то ли о кислых щах, то ли о красном наступлении. Пристроившиеся у стола какофонически скребли ложками о днища мисок и сосредоточенно хлебали похлёбку. Заводили песни, кто-то вразнобой играл на украденным в суматохе гайчаке.

Море было наплевательски спокойным, как будто для него и не было всего, что сегодня произошло. Низкие волны гуляли по нему, поблёскивая отражённым майским солнцем. Острогов устало заплакал.

Почему слоны не живут в степи

Проснулся я уже поздним утром. За ночь мы успели проехать всю степную часть нашей дороги и добрались до гор. Ещё не гор, вернее, просто до холмов, для меня же — всё едино. Ничего выше терриконов в жизни я не видел. Природа и города очаровывали меня в равной степени, но по совершенно разным причинам. Природа в сути своей бесконечно хаотична и подвластна только ей одной понятной структуре. Города же пленяют механистичностью, осмысленностью, *з а д у м а н н о с т ь ю*. Голова тяжелеет от осознания причастности человеческой воли к монструозным нагромождениям кубов и пирамид, которые мы умудрились приспособить для своей жизни.

Уронив голову мне на плечо, рядом спал командир. Громкое слово, пожалуй, слишком громкое для этой миниатюрной девчушки с бледными губами в тон коже, но против устава не попишешь.глянул на экран телефона: связь уже практически пропала. В «сообщениях» остывало прощальное послание: напиши, когда доедешь. Дословно, думаю, не выйдет описать чувства, которые возникли у меня, когда я взглянул на него. Как чувствует себя человек, которого утянул в чащу леса блуждающий огонёк?

В наушниках звенела «Винтеррайзе» Шуберта. Кто-то скажет, что не самое подходящее сопровождение для майской жары. Я соглашусь. Соглашусь и добавлю, что я промахнулся не только с выбором самой музыки, но и с её исполнением. Брендель слишком грубо играет Шуберта, слишком механически и жёстоко. Нужно было скачать Йонаса Кауфмана.

Во второй половине дня ярко засияло солнце. Приехали мы к полудню, и горы были затянуты плотной дымкой — дымкой ли? Любой человек испытает бурю эмоций, когда увидит, как облака целуют землю. У меня перехватило дыхание. После этого я отошёл в ближайшие кусты и многозначительно проплевался: на середине дороги у меня сменился сосед, и от нового попутчика исходило исключительное амбре из дешёвой водки и бродящего апельсинового сока. Впрочем, это никак не умаляет красоту, увиденную мной. Сейчас же, спустя несколько часов, когда мы поднялись

на пару сот метров выше и, наконец, заселились, вышло солнце и дало шанс во всей красе рассмотреть горы. Связи не было, теперь уже окончательно. Я с ощущением глубокой безнадежности смотрел на послание.

К исходу первого дня все разбрелись по компаниям. Меня утащили к себе в один из домиков, преимущественно заселённых девушками. Единственные исключения: мой давний знакомый Дёма и его товарищ в подозрительно военной форме. На территории у нас полный запрет на алкоголь. У меня же в сумке бутылка вина и литр синеватого джина. Среди моей компании идут перешёптывания, что в каком-то далёком уголке нашего пансионата есть место, где ловит Мегафон. У меня же МТС. Очередная насмешка судьбы.

Однажды моя девушка рассказала степную сказку о том, как слон пришёл к волку и попросил научить его охотиться. Волк пообещал отвести его в охотничьи места, да только боится, что слон сбежит. Слон предложил волку обвязать шеи друг друга верёвкой, чтобы не потеряться. Волк согласился и повёл слона в амбар с овцами. Там, услышав лай сторожевых собак, слон испугался, чем насмешил волка: «Такой огромный, а собачьего лая боишься!». Слон это хотя и услышал, но уже со всех ног мчался из амбара, и верёвка перетянула волку шею. Волк от боли скорчил страдальческую гримасу. Слон обернулся, увидел это, и подумал, что волк над ним всё ещё смеётся, и в отместку побежал ещё быстрее. Так в итоге слон и придушил волка насмерть. С тех пор слоны в степях не живут.

Всё ещё не понимаю, что это должно значить.

На исходе второго дня все собрались в женском домике. Я пришёл по приглашению своей новой знакомой. Её хоть сейчас на плакат с пропагандой чистоты арийской крови — с её нежно-голубыми глазами и пшёнными волосами. Я уже был достаточно пьян, чтобы вести светские беседы и не чувствовать себя бесполезным придатком компании. Моя новая знакомая примостилась у меня на коленях и визгливо смеялась моим до боли бессмысленным шуткам. Неподходящий смех для её контральто. Шуберта с таким, конечно, всё равно не споёшь.

Мы устроились в беседке поодаль от остальных и курили. Небо было ясным, как бесконечное чёрное полотно, закрывающее огромный фонарь. Мы долго и бессмысленно говорили на разные темы. Разные темы алогичным образом постоянно сводились к сексу. Помню, она сказала, что любит, когда партнёр имитирует её изнасилование. Ну что ответишь? Я не нашёлся. Подумал только, что она похожа на сорокопуга: крохотное создание, чуть больше воробья, но исключительно плотоядное. Когти у него маленькие, поэтому он хватает свою добычу и кидает её на шипы.

Когда мы спускались из беседки, я подал ей руку, чтобы она не поскользнулась. Руку после этого она не отпустила. Ощущая немое напряжение, я всё-таки нашёл в себе силы сказать: не обижайся, ты очень приятная и милая, но у меня есть девушка. Она ответила: всё нормально, у меня есть парень. Руку она всё ещё не отпускала.

Мы расположились на скамейке возле огромного, в половину моего роста, золочёного бюста Ленина. Я сидел на мокром дереве, она сидела у меня на коленях. На нависшем над нами чёрном полотне всё так же поблёскивали звёздные прорехи. Тёмными силуэтами на горизонте виднелись исполинские горы. Знаешь, я очень хочу тебя поцеловать, — вот, что она мне тогда сказала. Как бы это ни было неправильно, мне этого тоже хочется, ответил я.

Я тебя поцелую, если ты загадаешь загадку и я на неё не отвечу.

Секунду я помедлил, прикидывая шансы на то, что моя новая знакомая на самом деле горный тролль из европейских сказок. В этот раз я нашёл, что ей ответить.

Почему слоны не живут в степях?

Я всё ещё до конца не был уверен, хочется ли мне добиться поцелуя, или же я искренне хотел узнать ответ на этот вопрос. В ответ она только рассмеялась и впиалась в мои губы. Это было жадно и долго, бесконечно долго: так ощущается дорога в никуда.

За окном падали грубые хлопья снега, засыпая собой дороги и тропинки. Хотя, казалось бы, какой может быть снег в мае? Я сидел на крыльце своего домика и курил. Курить на территории пансионата запрещалось. У меня же во рту дымилась извлечённая из закровов последняя папироса. Остальные расстреляли строители прошлой ночью.

За завтраком подали сосиски в тесте и местный домашний сыр. Наверное, в жизни я не ел с таким аппетитом. После завтрака отправились в поход. Весь поход мы с моей новой знакомой сохраняли благоговейное молчание — из стыда ли, или, наоборот, из определённого чувства гордости и такта. Держались на расстоянии: молчаливый уговор определил его как «минимум два человека между нами». Я разговорился с её подругой, миниатюрной башкиркой. Теперь я знаю, как по-башкирски будет «красивая луна». Всю дорогу я проверял телефон. Связи не было.

Привал мы устроили у трёх по-чеховски названных водопадов. Борясь со стеснением, я подошёл к своей знакомой. В голове, конечно, я отрепетировал, как должен звучать наш разговор. Всё было идеально, я сохранил лицо и не выглядел в её глазах полным животным. Но, подойдя к ней, смог сказать только одно.

У тебя же связь здесь ловит, да? Дай написать сообщение, пожалуйста.

Во взгляде у неё заиграли нотки разочарования и презрения. Она протянула телефон. По памяти набрал номер и отправил дежурное сообщение: я живой, всё хорошо, связи нет, будет время — позвоню. Вернул телефон. Она, не говоря ни слова, выхватила его у меня и отвернулась.

Зато теперь я знаю, почему слоны не живут в степи.

Олеся Варкентин

Нурия апа

Рассказ

Проводница Альбина заранее договорилась с Валентиной из соседнего вагона, чтобы та встретила на следующей станции её пассажиров. Самой Альбине на этой станции нужно было к мужу, начальнику встречного поезда, чтобы пересадить свекровь.

Нурия апа¹ в свои девяносто кочевала из поезда в поезд от снохи к сыну. Одна дома оставаться она боялась. Словно ребёнок, могла выйти на улицу и заблудиться. А у Альбины с мужем часто рейсы совпадают, и не на кого стало Нурию оставлять. Вот и решили они тогда до отпуска возить её с собой. Часть пути едет в одну сторону, часть в другую. Уже байки про этот маршрут стали ходить. Мол, завелась домовушка-старушка, пассажирам в глаза заглядывает и просит кипяточка да хлебушка. Пока сноха и сын работают, она незаметно ускользнёт из купе, и ищут её потом всем скопом, не поездка — приключение. Условились тогда муж с женой перед пересадкой запирать Нурию, чтобы не искать по всему поезду. Служебное купе для этого оказалось самым подходящим местом: оно закрывается на ключ снаружи, а внутри есть и стол, и сиденье — удобно.

Перед Тюменью — санитарная зона. Альбина сводила Нурию в туалет, помогла ей умыться и переодеться. Потом усадила рисовать, налила горячего чаю и подала печенье «Юбилейное». Пока Нурия отвлеклась на чай, Альбина закрыла двери в купе, чтобы успеть разбудить тех, кому выходить, бельё и посуду принять да и самой к пересадке подготовиться.

Поезда Москва — Владивосток и Владивосток — Москва пересекаются в Тюмени. Поезд из Владивостока прибывает на пять минут раньше поезда

Варкентин Олеся Маннуровна родилась в 1978 году в городе Салехарде, где живёт и сейчас. Окончила Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского по специальности «библиотекарь-библиограф». Студентка 3-го курса Литературного института им. А.М.Горького. Работает старшим научным сотрудником музея Салехарда. Участвовала в проектах АСПИР. Автор сборника «Вдруг рождается стих...» и книги «Сон Тёти Моти». Печаталась в журналах «Наш современник», «Литературный Омск», «Северяне», в альманахах и коллективных сборниках.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Апа — высокоуважаемая и почитаемая женщина в татарском обществе. Означает «мать», «бабушка».

из Москвы, одновременно находятся они на станции всего десять минут. Тюменский вокзал не самый удобный: столько платформ, путей, переходов, не сразу сообразишь, куда идти. Поэтому Альбина заранее собрала вещи свекрови, приготовила бутерброды. Положила в сумку раскраски: страсть как свекровь их полюбила рассматривать да разрисовывать. Сменное бельё положила, носки тёплые — на станции Ишим купила. Подошла к служебному купе — ключ в дверях. Забыла, видно, закрутилась. Открыла — никого.

* * *

— Чистое наказание, — возмутилась Альбина и кинулась по вагону. — Уважаемые пассажиры, никто моей бабулечки не видал?

А никто и не видал. Ночь — все спят. Альбина туда-сюда по вагону пробежалась — нету. Вернулась в купе, вот тебе раз: сидит, горемычная, в уголке, прислонилась к стенке, рукой голову подпёрла и в окно уставилась.

— А-а-а, вот ты где, — Альбина выдохнула. — Ну хорошо, хоть людей не придётся тревожить, как в прошлый раз. — И заботливо добавила: — Мамка, я тут тебе носки тёплые прикупила, как к Раифу сядешь, сразу надень, у него холодно, а не то замёрзнешь. Слышишь? — Альбина посмотрела на свекровь. — Чего притихла-то? Или обижаешься?

Нурия молчала, смотрела в окно, на сноху ноль внимания.

— Ну молчи-молчи... — в сердцах сказала Альбина, застегнула замок сумки и поставила её рядом со свекровью. — Будто я виновата, что тебя одну дома не оставить. Будто мне нравятся эти твои прятки по вагонам... перед пассажирами извиняться, да и вообще... — Альбина едва сдержалась, чтобы не высказать всю обиду на мамку и её сына, загулял на старости лет.

Дверь в купе открылась, в проёме встал полусонный вахтовик.

— Мне бы... э-э... водички. — Он дыхнул перегаром.

— На вот, — Альбина сердито сунула ему в руку стакан в подстаканнике. — Ну, чего встал? Иди. Вон вода-то.

— А-а, м-м, — мямлил вахтовик, позвякивая подстаканником и указывая в угол. — Старуха-то, кажись, того... — Он не договорил, поднял руку ко лбу, уронил к животу.

— Чего?

— Преставилась, похоже, матушка, — продолжая креститься, заключил он.

Альбина медленно повернулась и посмотрела на свекровь: та всё так же сидела и не мигая смотрела в окно. В стекле отражалось перекошенное от злости лицо.

— Иди ты, напугал! — Замахала на вахтовика Альбина. — Живая она, чё ей делается, просто сердится, вот и отвернулась.

— Э-э... я открыл дверь-то, а она... фьить в тамбур, а там дубак... — он не смог выговорить полностью.

— А вы все без спросу лезете в служебное помещение?!

Вахтовик махнул рукой и прошлёпал босиком к титану.

Альбина закрыла дверь, надела тёплую жилетку, подвела губы помадой, глянула в зеркальце — уставшая — и набрала коллегу:

— Валюш, ну так мы договорились? Примешь моих пассажиров, пока я мамку пересажу?

Поезд качнуло, и Нурия стала заваливаться на постель. Альбина поспешила подхватить её, выронила телефон, но, едва коснувшись плеча свекрови, отёрнула руку — холодное.

* * *

— Валя, Валюша, — подняла Альбина телефон и сдавленным шёпотом продолжила, — ты меня слышишь? — Всхлипнула. — Зайди ко мне сейчас, срочно.

Валентина появилась через минуту, окинула купе взглядом:

— Вот этого-то я и боялась!

Вынула из аптечки нашатырь и поднесла каждой поочерёдно. Альбина закашлялась, чертыхнулась, а старушка не шелохнулась.

— Так, — руководила Валентина, — не реви, одевай её. Только трупам нам не хватало! — Она посмотрела на ручные часы. — Остановка через три минуты. Высадишься тихо, и с мужем сами решите, что дальше. А нам такая история ни к чему. Начнутся вопросы-расспросы, как да зачем...

Альбина размазывала слёзы, те всё никак не останавливались. Ослабевшими руками натянула она на свекровь куртку, повязала платок, зачем-то побрызгала духами.

Поезд остановился. Предприимчивая Валентина организовала высадку: привлекла неугомонного вахтовика достать из рундука¹ в её вагоне коляску и помочь спустить старушку. Вскользь пояснив, что, мол, поплохело бабушке, в больницу повезём.

Через несколько мгновений Альбина катила свекровь к виадук и внимательно вслушивалась в непонятное бульканье громкоговорителя. Сообщалось о прибытии поезда из Москвы, но, на какой путь, Альбина не расслышала.

— Бедный Раиф, как я ему сейчас мёртвую мать передам, что скажу? Ещё меня и обвинит в её смерти. — Мысли так и скакали. — А мамка-то совсем как маленькая сделалась, малютка, да и только. Всё раскраски у меня просила, карандаши новые да хлебушка. — Альбина остановилась. — Прости меня, мамка. — Она прижалась щекой к голове свекрови. — Прости...

— Альбина Петровна, Аля!

Она вздрогнула, но тут же узнала голос помощника мужа, Николая.

— Вот вы где! — зачастил Николай. — А меня Раиф Габдуллаевич отправил помочь Нурию апа встретить. Сам-то он сейчас занят, у нас там пьяный дебош, разбираются.

— Коля! — вскинулась ему навстречу Альбина. И запричитала: — Ой, Коля-а, что теперь будет-то?

— Да чего? Впервой, что ли, — Николай взялся за ручки коляски. — Разберутся. А мы поспешим, нам на второй путь надо. Лифт не работает, по подземке пойдём, а это во-он какой крюк!

Он развернул коляску, прибавил шагу. Альбина засемила рядом, перекидывая из руки в руку сумку. Нурия всё время скатывалась вниз, и им приходилось останавливаться, усаживать её снова.

— Нурия апа, чего накуксилась? — Николай, не дожидаясь ответа, поспешил обрадовать: — Сегодня сын ваш распорядился в отдельном купе постелить, до самого Омска никого не будет. Одна, как царица, поедете. Согреетесь, там так тепло! — Николай подкатил Нурию до нужного вагона и свистнул.

Двери открыл второй помощник, и они вдвоём внесли коляску.

— Альбина, давайте сумку-то. — Снова высунулся Николай. — Да бегите скорее, ваш поезд скоро отходит.

Альбина протянула сумку.

¹ Рундук — ящик под нижней полкой для хранения багажа.

— Коля, мамка-то того...

Но Николай перебил:

— Всё честь по чести сделаем. Как королева поедет!

И исчез.

— Вот балабол! — обругала его Альбина. — Не дал сказать! — Она расстроено всплеснула руками и заспешила.

Располневшей, ей было тяжело быстро ходить, а бегать она и раньше не могла, сразу одышка появлялась. Сегодня и вовсе двигалась с трудом, ноги так и подкашивались.

— Аля! — снова окликнул её Николай.

Альбина похолодела: «Увидел!»

Обернулась.

— Здорово ты с коляской придумала! Удобно!

— Это Валентина придумала, — она выдавила из себя улыбку, ещё раз взмахнула рукой. Объясняться уже не было времени.

Решив, что по телефону всё мужу расскажет, заторопилась, оступилась и подвернула ногу. Сильно прихрамывая, едва поспела к отправлению. Валентина помогла ей подняться в прокуренный тамбур, пройти по пропахшему дошираком вагону в душное купе, подала стакан и приказала:

— Пей. Да не спорь. Как лекарство пей!

Альбина выпила залпом и стала хватать ртом воздух. Спирт обжёг горло.

— Теперь спать. Я присмотрю тут.

* * *

Уснула бы, да не спится. Так и лезут воспоминания, так и скачут. Как-то там Раиф? Что там Николай говорил: разборки, позвонит, как закончат. Альбина посмотрела на экран телефона — нет сети. Она повернулась на бок, задела больную ногу, вскрикнула. Стянула с полки сумочку, достала картинку, раскрашенную карандашами. На ней женщина и девочка — с одной стороны, неровная надпись — с другой.

— Моей любимой Алечке, — прочитала Альбина и заплакала.

Вчера вечером ей эту картинку, смущаясь, протянула мамка.

Убаюкивающе стучали колёса, мерно качался вагон. Альбине казалось, что это Нурия апа... Да, это она укачивает внучку Сонечку. Да нет же, не Сонечку, а её саму, Алю. И напевает без слов: «А-а-а... а-а-а...»

Альбина вздрогнула — задремала. В сонном отупении она долго смотрела в заплаканное окно. Вспоминались мамкины рассказы о далёком голодном детстве, об эвакуации.

«Было так холодно, — говорила Нурия апа, — так холодно, что я впадала в оцепенение и даже дышать переставала. Через раз вдыхала студёный воздух, грела его, маленькими глоточками пила и потом замирала опять».

Вспомнила Альбина и искажённое от ужаса лицо мамки при виде поезда, когда впервые взяла её с собой в рейс. Ни в какую тогда не хотела Нурия взбираться в вагон, кричала: «Разбомбят нас, всех перебьют!»

Опять же Валентина выручила, сделала укол. Нурия обмякла и потом несколько часов спала, а как проснулась, так и пошла по вагону с мольбой: «Дяденьки-солдатики! Дайте кипяточку, а я вам спую».

Как раз полный вагон вахтовиков был. Мужики домой возвращались, перед посадкой пили, видимо, сердитые с похмелья ехали, а тут старушка к ним: солдатики.

Целый концерт военных песен для них устроила. Нурия раньше в клубе работала, в хоре пела, солировала даже. Вот и заводила она то «Землянку», то «Тёмную ночь», то «Синий платочек», то «Клён кудрявый». Стояла в центре вагона, маленькая такая, сухонькая, смуглая, почти чёрная. Беззубо улыбалась, откашливалась между песнями, одною рукою за поручень придерживалась и пела. Мужики подхватывали, сами себе удивляясь, что знают слова, помнят мелодии.

Конечно, на столах сразу появились и закуска, и выпивка, и хлеб, и просимый старушкой кипяток. Нурия с детской непосредственностью и жадностью ела, пила чай, а в карманы и за пазуху прятала гостинцы: карамельки, яйца, хлебные корочки. Альбине тогда никак не удавалось увести её отдохнуть. Почти три часа отстояла, отпевая свои гостинцы, радовала «солдатиков». И дальше бы пела, да доехали мужики до своей станции. Выходили, обнимали старушку, прощения просили, желали долгих лет. Тогда-то один из них и подарил ей раскраску: «На-ка, бабушка, порисуй. Дочке вёз, да она у меня ещё маленькая, а тебе в самый раз будет».

Нурия так подарку обрадовалась! Старательно красила картинки. Слюнявила карандаши, чтоб ярче писали, и очень расстраивалась, когда из-за тряски вагона выходила за контуры.

* * *

Альбина очнулась от тяжёлого сна. Села, осмотрела ногу: стопа отекала.

Вошла Валентина.

Аля собралась с духом:

— Валя, я сойду на ближайшей станции. Поеду домой. Не могу я так. — Горестно вздохнула. — Раиф так и не позвонил. Нехорошо вышло. — Она опять вздохнула. — Надо мамку по-человечески проводить, а он кого... мужик, одним словом.

— Я и сама хотела тебе предложить на больничный пойти, — Валентина кивнула на ногу. — Скоро двухминутная стоянка в депо, высадишься. — Она перешла на деловой тон: — Через полчаса пойдёт скорый из Екатеринбурга, подберёт. Я Насте-диспетчерше позвонила, она и подсказала. Свои подхватят.

— Спасибо, Валюша. — Альбина проверила документы, аккуратно сложила раскрашенную картинку и убрала в сумочку. — Всё равно работница из меня никакая, все мысли там.

* * *

На полустанке было холодно. Ноябрь набирал силу. Ветер раскачивал провода, с них сыпался снег. Доносились отдельные слова из сообщений диспетчеров: состав в парк, поезд номер...

Одинокая лавочка на пустынной платформе пятого пути. Над ней узенький навес, на стене — расписание, несколько полуоборванных объявлений и яркая большая афиша всероссийской переписи.

Альбина присела на лавочку, сверилась с расписанием. До поезда из Екатеринбурга чуть меньше получаса, но странное чувство, что она оказалась не на своём пути, не оставляло её. Она застегнула пуховик, в кармане нащупала яблоко.

— Наверное, мамка припасла. — Альбина покрутила яблоко, потёрла его о рукав и надкусила: сок брызнул в разные стороны. — Сладкое! Мамкино любимое...

Опять сердце сжалось от воспоминания об утрате, от неприятного ожидания встречи с мужем, предстоящих объяснений и печальных хлопот, похорон, поминок — от всего, что с этим связано.

Она глубоко вдохнула морозного воздуха с лёгкой примесью креозота — неизменного запаха железной дороги и её кочевой жизни.

Приближался проходящий поезд. Казалось, что он непременно разнесёт в щепки лавочку и вместе с ней её, Алю. И как страшно от этого становилось! И одновременно думалось: как было бы сейчас хорошо мгновенно лишиться жизни, мыслей, угрызений совести и обид.

Поезд отстучал своё и умчался дальше, увозя с собой чьи-то радости и беды. Альбине сделалось совсем тоскливо.

— Жизнь пролетела, — призналась она себе. — Вот и самой уже шестой десяток пошёл. Дочь Саня, Сонечка, выросла, замужем, живёт в Турции. Приезжает раз в пять лет, звонит тоже редко: на Новый год да на день рождения. Да это и понятно: муж, работа, другой часовой пояс... Раиф, — она пнула маленький камешек, — муж, объелся груш!

Весь рейс, как сговорился, шушукался за её спиной, мол, завёл Раиф Габдуллаевич себе молодуху, буфетчицу.

Наверняка Альбина этого не знала, но дыма без огня не бывает. Только и было у неё теперь из близких и преданных людей — мамка.

Мамкой свекровку Аля стала называть сразу после свадьбы. Ох и строгая была Нурия, не бывало и дня, чтобы замечание Альбине не сделала. Всё не так, всё не эдак. Не нравилось ей, что сын русскую в дом привёл. Долго обижалась, что мамкой сноха кличет, а не мамою зовёт, но потом привыкла. А в последние годы и вовсе полюбила такое звание и стала Альбине ближе и роднее всех. Свою-то мать Аля давно уж схоронила, и только со свекровью теперь и могла поделиться переживаниями и страхами. Та всегда выслушает, не перебьёт, не осудит, а потом просто так скажет: вот и порешали. Стала эта фраза у них как секрет, объединяющий их секрет. Бывало, вместе после разговора её произнесут — и засмеются. И сразу полегчает.

А в последние месяцы и вовсе мамка в детство впадать стала. Они с ней словно поменялись местами, где Аля — мать, а Нурия — ребёнок.

Три недели назад отмечали её день рождения, юбилей: закупили сладостей, пирожков напекли. Нурия всё гостей ждала почему зря: подруг никого не осталось — померли все, коллеги тоже кто где. А она, как маленькая, ждёт и есть не садится. Хорошо, что переписчики зашли, словно специально подгадали. Нурия их за стол усадила.

— Вот видишь, пришли гости-то! — радовалась она до слёз.

Все вместе чаю напились, не спеша ответили на вопросы анкеты. А как закончили, объявили имениннице новое звание: «С сегодняшнего дня вы, Нурия апа, — долгожитель!» Нурия потом всех соседей обежала, поделилась новостью. Невозможно было не радоваться вместе с ней.

А в эту поездку Аля сильно сердилась на мамку, из-за слухов этих сердилась, из-за Раифа: «Хотя подумать если, ну она-то тут при чём. Коли бес в ребро... Вот каково сейчас этому бесу? Плачет, наверное, убивается да на меня злится. Но ничего, к вечеру буду дома, повинюсь, расскажу, как было, — и легче обоим станет. Вот и порешали».

* * *

С таким настроем добралась она до родной станции. Тут, прямо на перроне — импровизированный рынок, не протолкнуться. Разные товары, нужные в дороге, по круглой цене, чтоб время не тратить на счёт и сдачу. Альбина обогнула торговцев и уже на ступеньках увидела, что какой-то парень продаёт наборы карандашей.

— У мамки-то все карандаши растерялись, — вспомнила она.

А парень, заметив её взгляд, подскочил:

— Купите карандаши в подарок!

— Дай-ка два набора, — Альбина протянула сторублёвки, и когда уже взяла в руки гладкие коробочки, вспомнила, что мамки-то нет. Горестно вздохнула и заспешила.

Вечерело. Полетел снег.

К дому пошла Аля через дворы: и быстрее, и никто с расспросами не задержит.

На ходу засунула карандаши в карман, вынула телефон — звонил муж:

— Аля, ну наконец-то! Ты чего трубку не берёшь?

Альбина посмотрела на телефон — пять пропущенных.

— Раиф... — она замялась.

А он перебил:

— Аля, ты давай, домой едь, тут такое дело... — Он тоже замялся, стал с кем-то препираться и вдруг заговорил мамкиным голосом: — Алечка, бросай работу, сколько можно по поездкам мотаться!

Альбина поперхнулась, закашлялась и не расслышала, что ещё сказала мамка. А телефон смолк — как всегда некстати, разрядился.

Она припустила домой, не обращая внимания на боль в ноге. Несколько переулков Аля пронеслась в каком-то мороке, и веря и не веря своим ушам, и вот, наконец, остановилась у небольшого крепкого дома на шесть квартир. Посмотрела на свои окна: на кухне свет, и две фигуры друг напротив друга — мамка и муж. Альбина, забыв и о ноге, и об одышке, вбежала на второй этаж, распахнула двери.

Нурия апа выглянула из кухни и зачатила:

— Аленька-а, моя ж ты милая-я! А мы тебя только к завтраму ждём!

Альбина кинулась обнимать её и зарыдала.

— Да чего ты ревёшь-то, случилось что? — Выглянул из кухни муж.

— Слава богу, ничего! Как вы-то дома оказались?

— Как-как, — начал Раиф. — Зашёл я после разборок тех маму проведать, а она мне и говорит: надоело, мол, мне из поезда в поезд скакать, хочу домой, и баста!

Он развёл руками, точь-в-точь как мать:

— Мне отпуск сдвинули. Николай согласился поменяться. — Раиф немного подумал. — Пожалуй, хорошим начальником станет, — пожал плечом. — Всеми, что знал, научил.

Нурия апа засуетилась:

— Чего же это мы у порога стоим? Раиф, помоги Алечке раздеться.

Раиф взял из рук жены пуховик.

— Ты только посмотри: мама-то — прежняя! Хлеба напекла, уборку затеяла и мною, как раньше, командует, — он обнял мать. — Всё, хватит, говорит, вам с Алькой по поездкам маяться, дома надо жить, всем вместе.

Нурия закивала:

— Вызывай, говорю, Альбину! Скажи, мол, мать при смерти, её и отпустят.

— А потом и вовсе увольняйтесь, говорит, — продолжил Раиф. — И это наше семейное «вот и порешали!» добавляет, — он приобнял Альбину. Немного помолчав, добавил: — Да я и сам думаю на станцию переводиться... старею.

Альбина слушала мужа вполуха, она смотрела на мамку и не верила: Нурия апа, как раньше, говорила осмысленно, всё помнила и, главное, была жива-здоровая!

Альбина вынула из кармана пуховика карандаши.

— Это мне, это мне! — захлопала в ладошки Нурия.

— Тебе!

* * *

Утром Нурия апа не проснулась. На её лице застыло радостное выражение, в руке она крепко сжимала карандаш. На столе лежала раскраска, все картинки в ней были раскрашены.

Альбина полдня сидела подле мамки, легонько похлопывала её по плечу и, немного раскачиваясь, напевала: «А-а-а... а-а-а...»

— Аля, — негромко позвал Раиф.

Она поглядела на него. Раиф старался не смотреть на мать в саване, был серьёзен и сдержан, как всегда в сложных ситуациях. Он уже сообщил в больницу и полицию, съездил на кладбище. Чувствовалась профессиональная выдержка: сначала решить вопрос, а эмоции после.

— Сания звонит, — он протянул мобильник. — Говорит, они вчера условились с мамой сегодня созвониться, — он помолчал. — Я не знаю, как ей сказать.

— Алло-алло... мама, мам?! — настойчиво звал мобильник.

— Да-да, Сонечка.

— Мамка!

Альбина вздрогнула.

— Что у вас там стряслось? Опять связь плохая? Как апа, мамка? Она просила зачем-то обязательно позвонить сегодня. Где апа? — Сания, когда нервничала, всегда задавала сразу несколько вопросов.

Альбина немного помедлила, посмотрела на мамку, на мужа и твёрдо сказала:

— Теперь я — апа.

Евфросиния Капустина

По большой воде

* * *

говори со мной, босоногий сибирский Бог,
я хочу в Тебя верить, хочу, чтобы Ты помог
на Тобол заглядеться в эту цветную рань,
белым, красным и розовым пухнет в окне герань,
кошка нюхает всё да пробует на зубок,
дедов пёсик укрылся в будке, уткнулся в бок,
говори со мной гулко, ветрено, будто май,
говори со мной, Господи, только не отнимай
эту жидкую кашу снега, дождя, дорог,
эти санки, в которых мой папка меня волок,
эту липкую воду, льющуюся за край,
Бог Господь, и явился мне... верую, принимай.

* * *

июньский лёд на правом берегу,
на выцветшем, на северном, на летнем.
и я по нём бегу, бегу, бегу
испуганным, испачканным, трёхлетним.

и падаю, пугаюсь и реву,
и колокол колышется к обедне...
но это сон и где-то наяву
глядит его моё тридцатилетье

и дедушка кричит меня в саду,
и ба его ругает, как живая.
всяк человек живёт в своём аду,
и выживает.

Капустина Евфросиния Игоревна — поэт, прозаик. Родилась в 1997 году. Работает фотографом. Печаталась в «Российской газете», в альманахе «Литературный Санкт-Петербург» и других. Участница Форума молодых писателей «Липки» (2023). Финалист Международной премии имени А.С.Пушкина «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

И навовсе мне нечего тутъ бояться.
По весне плывут дед Мазай да зайцы,
подбирают всех.
Стариковский смех
обещает чаю и одеяльце.
Ну, давай же, родная, на берег паться.
По большой воде дед Мазай со станции
приплывёт за мной, за промокшим зайцем,
повезёт наверх.
Вены русских рек
по весне разрезаны и гноятся.
Не боись, починим. Держись-ко пальцами.

* * *

это здесь, на Каме да на реке,
это здесь по камешкам, по клубочкам
вырастают бивень и чья-то дочка,
кошка нос измазывает в муке

вечер пишет клюквой на маяке,
череда с ромашкой да кипяточком
спи, моя хорошая, спи в носочках
колыхают-зыбают моряки

поклонись на солнце да на руке,
возвернёшься — справим семью и точка
тараторкой метит сорочку строчка
да дочурка возится в гамаке.

* * *

И цветёт розмарин, и орут коты,
Месяц-люлька качается в чёрном небе.
Мы — Господня земля и её плоды,
созреваем под птичий ночной молебен.

И даём своё семя любой земле,
Прорастаем неистово, густо, вешне.
Это к нам Бог спускается на вьюне,
Посмотреть, как коты теребят орешник.

* * *

капли крови да смятая простыня
вот и всё, что останется от тебя
вот и всё, что останется от любого
после скорости, тряски и лобового

мокрая трава, земляника киснет
это всё останется после жизни
это всё останется дольше памяти
просинью над лесом, закатным знаменем

бурая рванина твоя рубаха
земляничный сладкий тягучий запах
вот и всё, что останется в этом поле
вот и всё, и тихо, ни слова более

* * *

и покуда в дому тепло
береги нас, Мать,
в новом годе белым-бело,
да шаги слышать

и течает, да в полымя,
напужавшись, снег
в красных клюковках простыня,
чей-то да ночлег

и пушай поглядит во сны,
ты не плачь, не вой
повалается до весны
и придёт живой

со щитом али на щите
воин, муж, сынок
пробудится да в животе
красных ягод сок

в новом годе белым-бело
смерти неимать
и покуда в дому тепло,
не рыдай мне, Мать

* * *

По большой воде, по небесной глади
Приплывёт, поможет тут всё наладить.
Привезёт семян, здоровей, чем наши.
Пепельным туманом на поле ляжет.

По весне как будто б и жить терпимо.
Разразится тёплым коровье вымя,
Разродится рожью сухое поле.
Будет хорошо. И светло. Без боли.

Зайтуна Ареткулова

Памяти моего послевоенного детства

Воспоминания татарской девочки

Дедушкин тарантас и бабушкины козы

Моя мама развелась с отцом, когда мне было три месяца, а вскоре вышла замуж вторично и переехала в Стерлитамак. А я осталась на попечении бабушки и деда, работавшего директором промкомбината в селе Петровском. Нет, не то чтобы я была им подброшена, инициатива исходила от них самих. То был первый послевоенный год, и в памяти у них ещё свежа была рана от потери на фронте их любимицы, старшей дочери Зайтуны, в честь которой меня и назвали. Так что мне надлежало заполнить эту брешь и вернуть в дом навеки умолкнувшее имя.

Село Петровское, где приоткрылась для меня завеса, отделяющая сознательное от бессознательного, расположено в равнинной части Башкирии, на берегу мелкой речушки Шига, впадающей за селом в полноводный Зиган, и окаймлено с трёх сторон полями, а с четвёртой густым лесом, тянущимся до самых предгорий Урала. Но село не башкирское и не татарское, а преимущественно русское. Так что я росла двуязычной: дома говорили на татарском, сверстники на русском. Но с годами последний, увы, сильно потеснил первый.

Детская память имеет не связный характер, а работает как бы отдельными вспышками. Вот одна из таких вспышек. Летний солнечный день, Наркиза апа, моя юная восемнадцатилетняя тётя Аня, прибежала в обеденный перерыв с работы на молочном заводе. Торопливо ест, что-то рассказывая и залиvisto смеясь, и исчезает. Дедушка появляется чуть позже, в тарантасе, запряжённом старенькой лошадей. В ожидании его я сижу на своём наблюдательном посту на наших воротах, откуда мне видно почти всё село. Завидев тарантас, я спрыгиваю с ворот и со всех ног бегу босиком по большому лугу ему навстречу. Лошадь останавливается, и дед подхватывает меня

Ареткулова Зайтуна Биктимировна родилась в 1945 году в Ишимбае. Воспитывалась в семье деда, старого большевика, ветерана трёх войн. Окончила медучилище, работала участковой медсестрой, а затем лаборантом на заводе синтетического каучука (Стерлитамак), совмещая работу с учёбой на вечернем отделении Уфимского нефтяного института. В 1972 году переехала в Москву. В постперестроечные годы принимала участие в работе Комитета солдатских матерей России. В 1998-м переехала в Германию. Публиковалась в немецкой русскоязычной прессе: «Поезд памяти» — о детях, погибших в жерновах Холокоста, «На братских могилах не ставят крестов» — о захоронениях советских воинов во Франкфурте, и др.

своими сильными руками, усаживает к себе на колени и даёт мне в руки вожжи. Я в восторге кричу «пошёл», и лошадка трогается. Точно так же я встречаю его и вечером после работы.

А сколько он знал сказок, мой дед! Я не раз засыпала у него на плече под истории о Шурале, о прекрасных принцессах, о шайтане и Бабе-Яге, о храбром джигите и его крылатом коне...

А грамоте меня обучила бабушка. Вот мы сидим с ней зимой на тёплой печи, освещаемой керосиновой лампой, и выводим мои первые буквы. Рисуем домики с садом или лепим из чёрного, смешанного с глиной, хлеба фигурки разных лесных зверюшек. Ни бумаги для рисования, ни пластилина у меня не было. Рисовали на обёрточной бумаге или на дощечках. На этих же дощечках бабушка учила меня азбуке, выводила буквы химическим карандашом, а потом их соскребая.

А на дворе метель. Какие бураны бывали в наших краях, какие вьюги с разнопением ветров, дуящих с такой силой, что казалось, наш дом вот-вот сорвётся с места и растает в снежной мгле! Дома темно, сквозь окна не видно улицы, одно буйство ветра, снега и тьмы. Лишь керосиновая лампа и неостывшая печка создают уют. Смолкли даже сверчки за поленницей. А на утро — вселенская тишина. Плотный, нападавший за ночь снег застелил окна. А откроешь двери сеней, и снег ломится внутрь, так что не пройти сквозь его толщу. И чтобы выйти, дед прорывает в снегу туннель, глубокий и длинный.

А на улице всё сверкает. Высоченные сугробы намела метель, под которыми только угадываются заборы. А дома — как снежные горы с торчащей из них печной трубой. По плотному снегу можно взобраться на крышу дома и скатиться с него, как с горки.

Постепенно появляются признаки жизни. В других дворах тоже раскапываются туннели, расчищаются окна, и дневной свет проникает внутрь дома. И вот уже любопытные козы, упираясь мордочками в стекло, заглядывают к нам в комнату. Их копытца на уровне форточек. Но разгрести снег до конца невозможно, да и не нужно — всё равно заметёт опять. А пока только поскрипывание снега под ногами да сверкающая белизна. И радость от карабканья на крышу и от снежков, забрасываемых внутрь печной трубы. Но это запретно, за это могут и наказать.

А ещё запомнилась мне зима 1949 года, когда я попала в больницу со скарлатиной. Может, потому что в ту зиму играли свадьбу моей тёти, а я её пропустила. Но зато я запомнила, как навестили меня в больнице молодожёны. Мы общались через заиндевевшее стекло (больница была инфекционная), и что-то они мне кричали, но сквозь двойные рамы я их не слышала. Остались в памяти только их счастливые, улыбающиеся лица. А когда я вернулась домой, Наркизы уже не было. После её переезда в Стерлитамак, где жил её муж, наш дом показался мне осиротевшим. Все вещи были на своих местах, так же тикали часы, но не было заливистого смеха Наркизы, её торопливых шагов, её звонкого голоса. И это было моё первое детское ощущение невозвратимой потери.

* * *

Каждый год на исходе зимы в нашей избе появлялась разная живность. Сначала это была коза с новорождёнными козлятами, которая заводилась в дом в первую ночь после окота и своим телом обогревала детёнышей. Наутро козу отправляли в сарай, но она постоянно сбегала оттуда и бляяла под окнами. И по верх сугробов было видно, как коза тычется мордочкой в стекло, требуя, чтобы её впустили. Бабушка несколько раз

в день впускала козу покормить козлят. А когда они подросли, их привязывали в углу избы, где висели берёзовые веники, которые они обгладывали дочиста. Время от времени козлят отвязывали, и начинался цирк. Вихрем носились они по дому, прыгали на стол, на сундук, на кровать, на которой они скакали, как на батуте. И надо было следить, чтобы вовремя их согнать (могли и написать в постель). А когда у них намечались рожки, они начинали бодаться друг с другом или пытались боднуть меня. Однажды козлёнок так ловко меня боднул, что я полетела в раскрытый подпол, куда бабушка спустилась за картошкой.

Если с козлятами было весело и жаль расставаться, когда их переводили в сарай, то с гусями дело обстояло сложнее. В наш дом заносили трёх-четырёх гусынь для высиживания яиц и размещали под кроватью в широких плоских корзинах. И стоило мне пройти мимо кровати, как раздавалось угрожающее шипение. Они вылезали из своих корзин, только чтобы попить и поесть. И тогда мы с нашим котом взбирались на сундук и ждали, пока гусыни займут места под кроватью.

А недели через две раздавался писк вылупившихся гусят, и их выносили во двор, под наблюдение родителей. И пока гусята были маленькими, я боялась высунуть нос из дома, так как гусыни тут же с грозным шипением бежали в мою сторону. Но если в небе появлялся коршун, а на него тут же реагировали гуси, мы с бабушкой вооружались длинными хворостинами и размахивали ими до тех пор, пока хищник не улетал прочь.

* * *

Поскольку село было по преимуществу русским, то православные праздники отмечались у нас с большим размахом, и мы старались не отставать от других. На Масленицу бабушка пекли блины, а на большом лугу против нашего дома устраивались санные карусели. Как хорошо было, вспрыгнув на бегу в несущиеся санки, кружиться, кружиться до изнеможения, пока бабушка не позовёт домой.

Не могу не упомянуть и ещё один праздник, который не был привязан ни к какому времени года. Это были выборы. Мне они запомнились потому, что в этот день дедушка надевал свою тщательно отутюженную гимнастерку с орденом и медалями. И когда он, оживлённый и улыбающийся, возвращался с избирательного участка, у него под мышкой непременно были зажаты две белые буханки с поджаристой коричневой корочкой. Их упоительный аромат наполнял собою весь дом, и я с жадностью набрасывалась на хлеб, потому что знала: до следующих выборов я его не увижу.

В середине июня начинались заготовки к зиме. В ближайшем лесу распиливали берёзовые стволы и вязали берёзовые веники — для себя (для бани) и для коз с козлятами. Пока взрослые занимались заготовкой дров, я собирала землянику, чтобы угостить ею жившую с нами мою старенькую прабабушку *Санию*. Заготовливали также калину, рубиновые кисти которой подвешивались до первых заморозков на чердачных стропилах. Из этой калины бабушка делала замечательно вкусную пастилу, чисто деревенское лакомство, незнакомое городским детям.

А вот добычей лесных муравьёв, кроме нас с бабушкой, похоже, не занимался никто. Выходили мы на этот промысел с литровой банкой, смазанной изнутри растительным маслом, которое очень нравилось муравьям. Выбрав муравейник побольше — таких громадных, в рост человека, как в Башкирии, я не встречала больше нигде, — мы погружали туда нашу посудину. Дождавшись, чтобы она заполнилась, мы закупоривали её и ставили в горячую печь. Муравьи погибали, выделяя кислоту,

которая затем процеживалась и переливалась в пузырёк. Вот эта тягучая, остро пахнущая жидкость и шла в дело как лекарство от радикулита.

Вообще, болезнь поясницы — проклятье всех женщин, занятых тяжёлым деревенским трудом. Но как взрослому человеку дотянуться до своей поясницы? И тут не обходилось без моей помощи. Смазав бабушкину поясницу муравейным маслом, я массировала её, топчась по ней босыми ногами. И она же научила ставить банки, доверяя мне, пятилетней, орудовать горячей лучиной, что сегодня уже трудно представить.

Одно лето я посещала детский сад, что был неподалёку от промкомбината, где директорствовал дедушка. Пользуясь этим, я частенько сбегала оттуда к нему на работу. И если в его кабинете проходило совещание, то при моём появлении оно сразу прерывалось, а я, не обращая ни на кого внимания, бросалась деду на шею. Извинившись, он прерывал совещание и отводил меня обратно в сад, сдавая напуганным моей пропажей воспитательницам.

Утром в детский сад я обычно шла сама. На моём пути встречалась мелководная Шига, и там, под мостом, всегда было полно лягушек. Здесь я задерживалась: моё внимание привлекали лягушки. Выловив двух-трёх, я сажала их в свои тапочки и отправив в плавание вниз по течению, продолжала свой путь уже босиком. В конце концов, бабушке с дедом надоели мои фокусы, и они забрали меня из сада.

А вот ещё сценка из моих летних воспоминаний. Мы с бабушкой идём встречать стадо, с которым возвращаются наши козы. Во главе стада, как и положено, идут быки, за ними коровы с телятами, а затем овцы и козы. Войдя в село, стадо разбредается по своим дворам, в том числе и наши козы. Их легко было отличить — это была крупная оренбургская пуховая порода, и бабушка ими гордилась. Но одна из коз была какая-то непутёвая и, проществовав мимо наших ворот, продолжала свою прогулку по селу. Поэтому, заведя во двор трёх самых «дисциплинированных» коз, мы отправлялись на поиски беглянки и часто находили её уже в сумерках. Завидев нас, она с блеяньем бежала нам навстречу, словно бы чувствуя свою провинность.

* * *

Накануне моего семилетия бабушка начала готовить меня к школе. Шилась школьная форма, заказывались кожаные сапожки, покупался портфель. Однако радость этого моего торжественного дня очень быстро улетучилась. Дело в том, что то был первый послевоенный набор, и наш единственный первый класс оказался переполненным, а за партами сидели сразу по трое. И тогда решили отсеять всех, кому на 1 сентября не исполнилось семи лет. В их числе оказалась и я, чей день рождения приходился на конец месяца, и нашему с бабушкой горю не было предела. Ведь к тому времени я могла уже бегло читать, считать до ста, вычитать и складывать. Обратились к дедушке, который, используя свой «административный ресурс», мог бы настоять, чтобы меня приняли. Но он счёл это недостойным, как вообще не признавал никаких обходных путей и блата.

Вот так и случилось, что мой первый школьный день оказался «фальстартом». А когда я села за парту на следующий год, то одолела букварь за две недели, и мне стало скучно. И пока мои одноклассники скрипели перьями, старательно выводя буквы и составляя из них слова, я крутилась за партой, дергала за косички соседок или от нечего делать подкрашивала чернилами беленькие завитки сидевшей впереди меня девочки с копной вьющихся пышных волос. Вероятно, я ей завидовала, потому что бабушка каждое лето стригла меня наголо, считая, что от этого волосы лучше растут. В конце

концов терпение учительницы кончалось, и она ставила меня в угол. Не помню, сколько раз стояла я в этом углу, но страшнее, чем наказание, были для меня хранившиеся там человеческие муляжи с оголёнными рельефными мускулами. И сколько с тех пор минуло лет, а страх этот все ещё живёт в моей памяти.

Солдат партии

Мне трудно представить свои ранние годы без бабушки Хатимы и дедушки Рахматуллы. Без них моё детство было бы, наверное, совсем другим, да и я была бы другая. Но и их закатные годы без меня тоже сложились бы по-другому. Я привнесла в них тот свет и радость, в которых они так нуждались. А жизнь их, надо сказать, не баловала. Две революции, три войны, голод и лишения начала 1920-х годов, смерть семи из десяти родившихся детей. И даже их молодость пришлась на один из самых тяжёлых периодов нашей истории.

Достаточно сказать, что к моменту их знакомства за плечами у деда было уже три года окопов Первой мировой, которую он прошёл от начала до конца, будучи стрелком сапёрной команды 257-го Евпаторийского полка. Правда, обошлось без ранений, зато он был отравлен газами и полгода провалялся в госпитале. А ещё заслужил солдатский Георгиевский крест 4-й степени, который давали за храбрость. Именно там, в окопах Юго-Западного фронта, освоил он русский язык, бывший для него не родным, по-настоящему (в селе Киргиз-Мияки, где он вырос, была только татарская школа-семилетка), а главное — приобщился к политике и стал, что называется, человеком идеологическим, навсегда порвавшим с религией.

Правда, в своих политических предпочтениях он определился не сразу. Во всяком случае, летом 1917 года, когда его избрали делегатом на проходивший в Харькове съезд солдатских депутатов, он не состоял ещё ни в одной партии. Ну, а грянувшая вслед за тем Октябрьская революция объявила об одностороннем выходе России из войны, и армия окончательно развалилась. Солдаты разбрелись по домам, и двадцатидвухлетнему Рахматулле Альбаеву не оставалось ничего другого, как вернуться в родное село, чтобы зажить там мирной жизнью, от которой он порядком отвык, не подозревая, что это ненадолго.

Вот тут и сосватали родители ему невесту из соседней деревни, красивую и ладную восемнадцатилетнюю Хатиму. За ней, между прочим, было немалое приданое: швейцарские стенные часы фирмы «Мозер» и ножная швейная машинка «Зингер», купленные моим прадедом у заезжих купцов, а кроме того корова и овцы, да ещё сундук разного добра: подушки из гусяного пуха, постельное бельё, отрезы шерстяных и шёлковых тканей, лисьи и беличьи меха. Для него, бывшего батрака из бедняцкой семьи, проработавшего до призыва в армию несколько лет по найму у богатых сельчан, это имело некоторое значение. Но главное, девушка ему понравилась.

Свадьбу сыграли в начале 1918 года, но семейное счастье длилось недолго. В сущности, то была короткая пауза, передышка между двумя войнами — Первой мировой и Гражданской, которая не замедлила воспоследовать. И Рахматулла, не желая остаться в стороне, без колебаний идёт защищать свою кровную советскую власть. Добровольцами записываются в армию и оба его брата. И в течение трёх лет мотает его по разным фронтам. А за ним, как нитка за иголкой, следует и его молодая жена.

Сохранилась фотография тех времен. Рахматулла — высокий, подтянутый красавец с лихо закрученными кавалерийскими усами, на голову выше стоящей по левую от него руку жены, в длинной, до пят, шинели и высокой каракулевой папахе. Твёрдый, прямо в камеру, взгляд чуть сощуренных глаз — лучше не попадайся. Жена хоть и держится за его локоть, но смотрится как бы отдельно. Лицо застывшее и какое-то устало-покорное. Нет в нём ни мужниной твёрдости, ни уверенности в себе — чувствуется, что снимается впервые. На обороте фотографии надпись: «Оренбург, 1920 г., комиссар эскадрона особого Московского конного полка». А ведь уволился он из царской армии в звании рядового и, значит, всего за год-полтора поднялся до командира среднего звена (комиссар и командир были тогда практически равны друг другу). Так быстро росли в ту пору люди. Но комиссар — это значит ещё и член партии большевиков, в которую он вступил в 1919 году. И хотя его партстаж был к тому времени невелик, он уже сознавал себя солдатом партии, неколебимо верящим в её догматы, и эту веру он сохранит до конца дней.

Он участвовал в боях против Деникина на Южном фронте и под началом командарма Блюхера на Восточном. При этом хотелось бы обратить внимание на его первую должность, с которой начал он свою службу, — заведующий конным двором, и на последнюю — казначей Восточной экспедиции Всероссийского кавалерийского штаба, что-то вроде ремонтёра, ответственного за закупку лошадей. То есть и там и тут при лошадях, к ним, по свидетельству бабушки, он всегда был равнодушен. А кавалерийская статья сохранялась у него до конца 30-х годов. «Так красиво сидеть и скакать на коне мог только он», — вспоминала знавшая его в ту пору односельчанка. Ну, а в качестве казначея он распоряжается большими суммами — их ему доверяют, и он за них отчитывается. И это его ответственное отношение к казённым деньгам, о котором не раз упоминала бабушка, сыграет немалую роль в дальнейшем, когда в начале 1930-х он станет директором организованного им в Киргиз-Мияках отделения Госбанка.

* * *

«Но миром кончаются войны...» Пришёл конец и Гражданской войне, и людей, семь лет не выпускавших из рук оружия, распустили по домам. И тут неожиданная развилка судьбы. По разнарядке Всероссийского кавалерийского штаба дедушку направляют на работу на московский конезавод. Работа, о которой он мог только мечтать. Да к тому же заманчивая возможность ему, провинциалу, переселиться в столицу, где он никогда не бывал. Можно ли было не принять такое предложение? И, конечно, он бы его принял, если б не бабушка. Наверное, впервые он, глава семьи, прошедший огонь и воду, привыкший командовать людьми, послушался тихого голоса своей подруги, уговорившей его отказаться от соблазна и вернуться в Киргиз-Мияки. Что его двигало? Может, интуиция, подсказавшая, что не будет им счастья в красной столице и что дедушке с его прямолинейным, не знающим компромиссов характером там не ужиться? Жёны нередко оказываются мудрее своих мужей, и последующий ход событий подтвердил её правоту.

Да, жены он послушался, но его комиссарский характер остался при нём, как и мечта о социалистическом переустройстве деревни. И едва вернувшись в родное село, он принимается за её реализацию, что совпадает отчасти с государственной политикой.

Тут надо сказать, что 1920-е годы — это был «золотой век» советской деревни. Почти восьмилетняя война окончена. Голод, тиф, скудный быт и лишения эпохи военного коммунизма — всё это осталось позади. В стране введён НЭП — новая

экономическая политика, разрешившая свободный товарообмен между городом и деревней, воспрявшей после трёх лет принудительной продразвёрстки. А кроме того, в одном пункте революция таки выполнила своё обещание, и земля — правда, до поры до времени — перешла в распоряжение сельских хозяев, получивших её в безвозмездное пользование. В общем, дедушка оказался в нужное время в нужном месте, и перед ним открылось широкое поле деятельности. Вот её основные этапы:

- 1923 г. — организация товарищества по совместной обработке земли;
- 1924—1925 гг. — член правления сельскохозяйственного кредитного товарищества;
- 1925—1928 гг. председатель Миякинского волостного исполкома;
- 1927 г. — организация колхоза «Игенче» (Пахарь);
- 1928—1931 гг. председатель универсального сельскохозяйственного товарищества.

Всё это запечатлено в сохранившихся у меня документах. Причём, следует заметить, когда дедушка попытался в 1927 году организовать в своём селе колхоз на 30 дворов, записав туда всю свою миякинскую родню, он немножко забежал вперед паровоза, на два года опередив полномасштабную кампанию по коллективизации деревни (к счастью, этот его эксперимент продлился недолго). При этом по отношению к несогласным он уже тогда пробовал применять методы принуждения, о чём говорит его конфликт с братьями Зиннатуллой и Гайзуллой, купившими на паях сеялку и закопавшими её подальше от дедовых глаз, чтобы не сдавать в колхоз. Дело чуть не дошло до смертоубийства, когда младшие с вилами бросились на старшего, и лишь малая грань отделяла их в тот момент от кровопролития. Но всё-таки авторитет деда в семье был велик, так что даже религиозные праздники, как вспоминала его свояченица, его родственники справляли от него втайне, зная, что он как атеист этого не одобряет.

Ну, а чем же занимался дедушка в годы коллективизации? Обратимся вновь к его послужному списку. Мы увидим, что в это самое время он занимает какую-то непонятную должность председателя универсального сельскохозяйственного товарищества. Ключевыми на низовом уровне были: секретарь райкома партии, председатель колхоза и районный уполномоченный ОГПУ. Однако сельскохозяйственное товарищество это всё же никак не колхоз, а что-то, судя по всему, более-менее добровольное. Так почему же дед, по собственному почину организовавший за два года до того в родном селе колхоз, теперь, на пике событий, словно бы в стороне? Судьба ли так распорядилась или он сам что-то понял и не захотел принимать участие в этой навязываемой сверху принудилровке? А может быть, его собственный двухлетний давности опыт чему-то его научил? Во всяком случае, сам он об этом никогда не рассказывал.

Ну а в 1931 году мы находим его уже на посту управляющего Киргиз-Миякинским отделением Госбанка. И это ещё один поворот в судьбе, ознаменовавший его переход в сословие совслужащих. Для башкирской глубинки дело совершенно новое, с прицелом на будущее, и дедушка тут один из первопроходцев.

Где и когда успел он обучиться банковскому делу? Наверное, на каких-то курсах, которых в его жизни было великое множество и благодаря которым он рос — не только в деловом, но и в культурном плане, — и в этом смысле нельзя не отдать должное советской власти, которая немало тому способствовала. Помню, как жаловалась бабушка: «Бывает, в самое горячее время, когда нихватишься, а его нет — опять на каких-нибудь курсах. Нужно копать картошку или заготавливать дрова на зиму, а он на учёбе». Однако учёба эта приносила свои плоды, а иначе как бы он, имея за плечами всего лишь татарскую семилетку, приобщился к основам банковского

делопроизводства? Впоследствии он поставит на этот путь своего племянника, занимавшего в 1960—70-х годах весьма ответственный пост управляющего отделением Госбанка в Ишимбае и навсегда сохранившего в своём сердце память о дедушке как о человеке, давшем ему путевку в жизнь.

Пять лет проработал он советским банкиром, пока в 1936 году его не перебросили (обычная в те годы практика) в лесозаготовительную отрасль — председателем межрайонной конторы Башлеспромсоюза, а затем назначили директором совхоза в Аси-Ялани. Это сказочной красоты место в предгорьях Урала (в переводе с башкирского Кислая Поляна) оказалось, однако, частью ГУЛАГа, а сам совхоз был подсобным хозяйством с маслозаводом, коровником, телятником, предназначенными в то голодное время снабжать продуктами башкирскую партноменклатуру. Его костяк составляли бывшие раскулаченные, которых свозили сюда в начале 30-х годов. И тут же, в километре от поселка, была выстроена колония для заключённых с охраной, вышками и сторожевыми собаками.

В то опасное время работа эта была подобна хождению по тонкому льду (достаточно сказать, что его предшественника на посту директора совхоза в 1938 году расстреляли), но дед как солдат партии принимает её без рассуждений. К работникам своего хозяйства, оказавшимся в этих местах не по своей воле, он относился с сочувствием и, сколько мог, пытался облегчить их участь. Это выражалось, в частности, в его отношении к их детям, которым он помогал получить образование, выписывая им путёвки в вузы и техникумы, поскольку выходцам из семей раскулаченных доступ в эти заведения был закрыт. И в этом отношении он был, что называется, государственным человеком. Именно на таких, как он, и держалась в первые свои годы советская власть.

Помню, как после смерти дедушки нас навестила одна женщина, узнавшая о его кончине из некролога в городской газете, чтобы рассказать, скольким она ему обязана и что без него высшего образования не видать бы ей как своих ушей. Она была из тех самых мест, где он директорствовал перед войной.

* * *

Великая Отечественная, третья в его жизни война, застала дедушку на военно-учебных сборах под Оренбургом, и больше он домой уже не вернулся. Его старшая дочь, любимая Зайтуна, учившаяся в то время в Уфимском училище искусств, успела съездить попрощаться с отцом, и это была последняя в их жизни встреча. Весной 1942 года она уйдёт добровольцем в армию и через несколько месяцев погибнет. А воевали, между прочим, на одном и том же участке Сталинградского фронта, в каких-нибудь ста километрах друг от друга, не подозревая об этом.

Свой боевой путь дедушка начал под Сталинградом, а закончил в Потсдаме. Правда, не в пехоте, а лейтенантом интендантской службы, но всё равно можно сказать, что судьба его хранила. Ведь в Сталинграде он воевал в той самой 62-й армии генерала Чуйкова, что отстаивала последние метры сталинградской земли, обеспечивая под огнём переправу через Волгу. Вот как описана эта переправа во фронтовых записках Василия Гроссмана: «Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоту Ю-88, пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зенитки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот». Выжить в этом аду было уже везение, а дедушка даже не был ранен. Впрочем, сам он не любил об этом рассказывать. Известно только, что свою первую фронттовую

награду — медаль «За боевые заслуги» — он получил «за бесперебойное снабжение 193-й стрелковой дивизии боеприпасами и продовольствием», которые доставлялись с того берега Волги.

А тем временем в далёком тылу бабушка и две её младшие дочери держали свой фронт, и не сказать чтобы легче воюющего. Присланный из Ленинграда новый директор, не посмотрев, что это семья фронтовика, выселил бабушку с детьми из дома, который понадобился ему самому, в холодный, мало приспособленный сарай, где они прожили самый трудный 1942 год. А всего за эти четыре военных года хлебнули они выше головы. Многие из этого описано в книге уроженки Аси-Ялани Тамары Фёдоровой «Уральский ГУЛАГ на “Кислой поляне”».

«Не хватало хлеба, многие остались без картошки, так как рано в 1942 году выпал снег. Подбирали мёрзлую картошку, сушили и пекли из неё лепёшки. Не было мыла, приходилось его варить из костей. Не хватало одежды и особенно обуви. По этой причине дети не могли ходить в школу или, из одной семьи, ходили по очереди. А летом все от мала до велика до темна работали в поле. А поскольку мужчины были на фронте, женщины и подростки валили лес, пилили дрова и возили их на быках или на коровах».

Знал ли дедушка, каково там, в далёком тылу, приходится его семье? Теперь об этом трудно судить, ведь, кроме фронтовых писем Зайтуны, не сохранилось ни одного письменного свидетельства той поры. К тому же он был очень наивен в житейских делах и, возможно, просто не задумывался. И настоящего представления о том, как жили без него его близкие, думаю, он не имел, потому что ни до, ни после Дня Победы не прислал из Германии ни одной посылки, в отличие от большинства советских офицеров.

Но отлистаем пару лет назад, чтобы хотя бы вкратце упомянуть то, что этому дню предшествовало. Итак, после Сталинграда был Воронежский фронт, где он воевал в составе 47-й армии. В моём архиве есть две благодарности Главнокомандующего, которые дед получил за взятие ж/д узла Лунинец и за освобождение Пинска (оба в Брестской области) летом 1944 года. За ними последовала Польша (медаль «За освобождение Варшавы») и, наконец, участие в Восточно-Померанской операции, где советским войскам противостояли части СС под командованием самого Гимmlера, и увенчивающий его орден «Красной Звезды» — за взятие города Альтдамм (ныне Щецин, Польша). Что стояло за этим Альтдаммом? По всей вероятности, то была одна из самых кровопролитных операций конца войны, стоившая нашим войскам около 80 тысяч жизней, потому что плацдарм был буквально нашпигован огневыми точками, железобетонными надолбами и окружён заполненными водой противотанковыми рвами, отрытыми здесь ещё в 1933 году, когда сооружался так называемый Померанский вал на бывшей польско-германской границе. Так что можно без преувеличения сказать, что этот единственный за войну дедушкин орден дорогого стоил. А вот выше старшего лейтенанта он так и не поднялся.

Но, с другой стороны, за четыре года войны он не получил ни единой царапины, только контузию. Правда, контузию не из лёгких, оставившую свой след в виде односторонней потери слуха и отразившуюся отчасти на его характере (по рассказам бабушки, он вернулся с войны каким-то взрывным, раздражительным и напряжённым).

А на фотографии, снятой через месяц после Победы в Потсдаме, в группе таких же младших офицеров, этого не видно. Наоборот, он смотрится на ней каким-то просветлённым, с новым, необычным для него выражением лица, какого не было на довоенных снимках. Говорят, война меняет людей, весь вопрос — в какую сторону. Но в случае дедушки, думаю, — в лучшую. Во всяком случае, я помню его

таким красивым, подтянутым, выглядящим много моложе своих пятидесяти лет, со светящимся умом взглядом, выделяющим его среди простоватых лиц большинства его сослуживцев.

* * *

Ещё полгода прослужил дедушка в составе оккупационных войск в Германии, пока в январе 1946-го не был, наконец, отпущен на все четыре стороны. С какими же «трофеями» вернулся он домой? Специально перечислю их, потому что те, кто помнит, с какими чемоданами и баулами возвращались из Германии многие советские офицеры, какие везли ковры, хрусталь, радиоаппаратуру, набивая ими фронтовые полуторки, не смогут без улыбки читать этот список.

1. Детский прикроватный коврик с вышитой на нём надписью Guten Morgen.
2. Детские туфельки — 1 пара.
3. Две пары женских туфель на каблуках.
4. Вышитый кухонный фартук.
5. Золотое колечко. Тётя Аня его долго потом носила.

Вот так, с этого коврика, и началось наше с дедушкой знакомство. Его возвращение ознаменовано и ещё одним событием: мне дали, наконец, имя. Так получилось, что первые месяцы я жила без имени. Ждали возвращения дедушки, надеялись, что объявится пропавшая без вести Зайтуна, а потому с именем решили повременить до их возвращения. Но со Дня Победы прошло уже восемь месяцев, и дедушка понял: не объявится, и постановил назвать меня в её честь. И, зажав сердце в кулак и не давая себе никакой передышки, приступил к выполнению своих директорских обязанностей. Потому что дела в совхозе обстояли много хуже, чем он представлял это оттуда, из поверженной Германии.

Жили так, будто война для сельчан и не кончалась. Почти половина мужского населения не вернулась с войны — словно стальной бороней прошлась она по Аси-Ялани. А из тех, кто вернулись, едва не половина были увечными. В своей книге Тамара Фёдорова добросовестно их перечисляет: «Голубкин Семён на одной ноге. Матвеев Тимофей с разорванным лёгким. Фёдоров Василий без ног. Жалилов Аюп с заплатанной головой. Новоожёнов Михаил с протезом ноги. Кто-то вернулся весь израненный и вскоре умер».

Вот такое покалеченное и бедствующее воинство было теперь под началом у дедушки, и полагаться приходилось в основном на женщин, от чего за войну он успел отвыкнуть. Его фотография, снятая год спустя после войны, говорит сама за себя: ссутуленные плечи, потухший взгляд, жёсткая складка у рта. От победного, праздничного настроения не осталось и следа. Отвык он и от нравов, царивших в тылу. Там, на фронте, хоть и была рядом смерть, но всё было по-честному. А здесь повсюду «двойная бухгалтерия», и прав прежде всего тот, кто умеет угодить начальству и ладить с «органами». Но дедушка этого понимать не хотел.

Так, однажды — это было уже в Петровском — на очередном партийном собрании он отвёл кандидатуру начальника местного НКВД, которого прочили на какой-то выборный пост, и взамен его предложил... себя. Конечно, знал, с кем схлестнулся, но это его не остановило. А ведь в ту пору подобный поступок был просто самоубийственным, и когда бабушке стороной донесли об этом, она несколько дней жила в страхе, что её старика посадят. Но пронесло. А вот в Аси-Ялани, годом раньше, не пронесло.

В тот год в совхоз нагрянула комиссия. Тогда их было навалом, и везде было принято их ублажать, кормить обедом, давать в дорогу корзинки с «дарами природы». Но дедушка повёл себя так, будто ему об этом ничего не известно. Однако и члены комиссии не догадывались, с кем имеют дело, и ждали того, что им «положено». А когда, не дождавшись, собрались уезжать, председатель комиссии сказал, что было бы неплохо, если бы дедушка дал им в дорогу бочонок мёда (он знал, что в совхозе есть пасека). На что тот, не моргнув, ответил: «Вот когда у меня будет своя личная пасека, я сам привезу вам целую бочку».

Ничего не сказав, председатель повернулся и уехал, но дерзости этой деду не простил. Нужен был лишь повод, чтобы расправиться с наглецом, и такой повод вскоре представился. Вероятно, он сам же и наслал на дедушкино хозяйство ревизию, перед которой была поставлена задача во что бы то ни стало найти какое-нибудь финансовое упущение. А долго ли его найти, если в те времена ни один хозяйственник не мог и шагу ступить, чтобы не нарушить некую инструкцию. В общем, какое-то нарушение у дедушки нашли, за ним последовали санкции. И его, вчерашнего фронтового офицера, снимают с директорского поста и в феврале 1947-го направляют рядовым объездчиком в Селеукское лесничество. С этого момента его служебная карьера покатилась под горку. Вот несколько ступенек этой нисходящей «карьеры».

Июнь — октябрь 1947-го — исполняющий обязанности лесничего в том же лесничестве.

Февраль — апрель 1948-го — уполномоченный по строительству Хаженской ГЭС Макаровского района (маленькой гидростанции на горной речке Шида, предназначенной для снабжения электричеством ближайших деревень).

Июль 1948-го — январь 1949-го — зав. производством инвалидной артели «Заря», выпускавшей полушубки, сапоги, ватники и прочую рабочую спецодежду.

И, наконец, его последняя должность — директор Макаровского райпромкомбината. Выше этого он больше уже не поднимется.

Но все это было уже *после* Зайтуны, чья смерть словно вырвала у него из сердца жизненный стержень и сделала беззащитным перед лицом любого самоуправства.

Как же безжалостно топчет его судьба. Та самая советская власть, за которую он воевал, которой отдал все силы души и весь свой жизненный опыт, которые тоже, наверное, чего-нибудь да стоят, не ценит его ни в грош. И того, кто всю жизнь числил себя солдатом партии, перебрасывают, швыряют, словно футбольный мяч. А ведь каждое его новое назначение это почти всегда и очередной переезд. И как же, должно быть, устала бабушка от этой неустроенной жизни, главные трудности которой ложились на её плечи. Но она молчала.

Впрочем, артель «Заря» — это уже Петровское, и там мы обосновались надолго. Потому что следующее место дедушкиной работы — райпромкомбинат, где он проработал до выхода на пенсию. И с этой последней его работой уже связаны первые мои детские впечатления.

И ведь каждая новая должность — это и новый дом, который надо обживать. Я немножко помню наш первый дом в Петровском, сырой и холодный, окна зимой замерзали изнутри, а оттаивающая влага стекала с подоконника в специально подвешенную бутылочку. Зато новый дом дедушка выстроил сам. Он вырос за одно лето почти на моих глазах, было в нём тепло и просторно, всем нам было в нём хорошо. И неслучайно именно там протекли лучшие мои детские годы.

Ну, а в 1955 году последовал новый переезд, на этот раз уже по воле дедушки. В тот год ему исполнилось шестьдесят, и он вышел на пенсию. Вполне мог бы работать

и дальше, но так распорядилось начальство. И потянуло его снова в Аси-Ялань, с которой были связаны самые его светлые предвоенные годы. Здесь прошло его успешное директорство, отмеченное откомандированием в 1940 году на Московскую Сельскохозяйственную выставку. Здесь выросли три его дочери, отсюда ушла на фронт Зайтуна, самая из них любимая. Да и для всей семьи то была благодатная пора. Но не зря говорят: нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Прежде всего встал вопрос, как быть с домом. Ещё не зная, что этот переезд ненадолго и что в Аси-Ялани ему предстоит пробыть меньше года, он решает дом продать. Вряд ли удалось получить за него настоящую цену, да и не умел он торговаться. И хоть побывал когда-то в кресле управляющего отделением Госбанка, но в том, что касалось его лично, коммерсантом он был никаким. Вот и получилось, что дом ушёл за бесценок, а вырученные деньги улетучились неизвестно куда.

Мне было тогда уже десять лет, и я хорошо помню этот наш переезд. Была весна, последние числа апреля, всё цвело. Я никогда не бывала в горах и не предполагала, что это так красиво. Дорога вилась серпантинном по склону, а далеко внизу под нами шумела река. Её берега были покрыты цветущей черёмухой, напоминавшей белую пену. И сквозь эту пену пробивались снизу отдельные дымки — это в самодельных печах на берегу обжигали известь.

В Аси-Ялани мы поселились рядом с колонией, куда дедушка устроился кладовщиком, в барачного типа домике на две семьи. Другую половину занимал начальник колонии. Но это была уже не та колония сталинских времён с колючей проволокой и часовыми на вышках. Напомню, шёл 1955 год, ветер перемен коснулся и Аси-Ялани. Так что настоящего режимного лагеря я уже не застала. Не знаю как заключенные, но мы на территорию колонии проходили свободно и дважды в неделю смотрели там кино. Один заключенный учил меня кататься на велосипеде, причём весьма странным способом. Намотав на руку конец бельевой верёвки, он цеплял другой к моему велосипеду, я садилась на подушку, привязанную взамен седла (ноги не доставали до педалей), и пускал меня под гору. И надо благодарить Бога, что во время этих «занятий» я ничего себе не сломала.

Аси-Ялань расположена на дне довольно глубокой впадины, окружённой густыми лесами, куда мы с бабушкой ходили за малиной. Мы собирали её вёдрами, и этой малины я наелась на много лет вперёд. Однажды, поглощённые своим занятием, мы услышали за кустами хруст ветки. Никогда не забуду, как изменилась в лице бабушка. Не говоря ни слова, она схватила меня за руку и бросилась прочь. Мою руку она отпустила, только когда мы были уже на опушке, и там, отдышавшись, объяснила, что мы повстречались с медведем.

Но не только медведи водились в Аси-Ялани. С наступлением осенних холодов в деревне появились волки. Жутко было слышать по ночам их леденящий душу вой. В Петровском такого не было. Как-то раз волки взобрались на крышу сарая, где мы держали овец и коз, проделали в ней лаз и зарезали несколько овечек. К счастью, козы, привезённые нами из Петровского, находились в другом отсеке и не пострадали.

В Аси-Ялани сбылась заветная дедушкина мечта: он смог обзавестись собственной лошадей. Сколько лошадей прошло через его руки, а своей не было никогда. А он всегда питал к ним слабость и жалел почти как людей. Сохранилось воспоминание одного аси-яланьского жителя, как однажды — это было ещё до войны — он шёл в сильный ливень и повстречал на дороге дедушку, но не сразу сообразил, что он такое

видит. Впереди дедушки шагала лошадь, укрытая его плащом, а сам он шёл следом, подставив голову струям дождя.

Дедушке попалась лошадь, которая требовала особого ухода, потому что сама была уже ни на что не годна. Её нельзя было даже запрячь в телегу, так она была стара. Бабушка иронизировала, что на эту лошадь ушла половина денег, вырученных за дом. Но, наверное, дедушка просто её пожалел. Он каждый день водил её на водопой, чистил скребницей, подкашивал для неё траву, продлевая тем самым её век, хотя пользы от лошади не было никакой.

А тем временем аси-яланьское лето катилось к концу, пришла осень, и дедушка затосковал. Работа кладовщиком была ему не по нутру, он ею тяготился. И тогда он решил попытать счастья в других краях. Дедушка переписывался со своей дальней родственницей, жившей в Ташкенте, и та предложила ему приехать посмотреть, как они живут, может, и ему там понравится. Он взял отпуск и поехал. И в первый же свой ташкентский вечер, заглянув на Алайский базар, встретил там односельчанку из Киргиз-Мияков, которую знал ещё в тридцатых. Это была Сатира, чей первый муж работал директором МТС и в конце 30-х годов был репрессирован. Его расстреляли, но она, не дожидаясь приговора, взяла в охапку сына и, побросав в сумку какие-то вещи, уехала куда глаза глядят. Оказалась в Ташкенте. И даже не в Ташкенте, а в маленьком городке в 30 километрах от него — Янгиюле. Зазвала она дедушку к себе в гости, познакомила с Мустафой, своим вторым мужем, крымским татаринном, попавшим сюда в конце войны вместе с другими депортированными соплеменниками, и оба они стали уговаривать дедушку переселиться сюда насовсем. И даже предложили пожить у них поначалу, благо места в доме достаточно.

Жизнь постоянно была дедушку, но она же наделила его лёгкостью на подъём и охотой к перемене мест. А кроме того, научила его ценить хороших людей. При всей своей внешней деловитости и немногословности он был отзывчив на всякое проявление доброты и сердечности. А Сатира и её муж были именно такими, и они быстро почувствовали друг в друге родственную душу. Дедушка осмотрел дом, ухоженный сад с виноградником, вишневыми и яблоневыми деревьями (Мустафа был совхозным агрономом). Всё здесь радовало глаз: и плети «изабеллы», укрывавшие густым пологом врытый в землю стол, и вековая, в три обхвата, чинара, разбрасывавшая над всем садом свои могучие ветви, и крупные, с голову ребёнка, георгины, и низкий глиняный дувал, через который, не вставая на носки, можно увидеть, что делается у соседей — всё то, чего он никогда не видал у себя в Башкирии. И подумалось, что, может, в этом благодатном краю он обретёт душевный покой, которого ему так не хватало в его беспокойной полукочевой жизни. И он принял предложение.

Предстоял ещё один переезд, на этот раз самый кардинальный. За всю свою жизнь бабушка никогда не покидала Башкирии, если не считать смутных лет гражданской войны, и ей было не по себе. Но возражать деду она, как всегда, не стала. Да и что мы оставляли в Аси-Ялани? Жаль только было расставаться с нашими козами, но в поезд их с собой не возьмёшь.

Решили дождаться весны, начала марта, но не позже. Потом разольётся Белая, и на машине в Стерлитамак уже не проедешь. А там на неделю нужно будет остановиться у Наркизы. Это был мой первый «выезд в свет», хоть и в не большой, но настоящий город, и я тоже немного волновалась. Щемило сердце от расставания с Аси-Яланью, к которой я успела уже прикипеть, и чувствовала, что больше туда не вернусь.

В первых числах марта из совхоза пришла машина. Мы погрузили весь наш скромный скарб, дедушка по укоренившейся директорской привычке сел в кабину, мы с бабушкой забрались в кузов, и машина тронулась. Но не успели мы отъехать и двадцати метров, как услышали позади тонкое блеянье. Это наши козы, почуяв неладное, увязались за машиной, будто поняли, что расстаются с нами навсегда. Так хотелось спрыгнуть и обнять их на прощание. Но машина прибавила ход, и они исчезли в дорожной пыли. А мы с бабушкой сидели и плакали.

Ташкентская идиллия

Наш приезд в Стерлитамак совпал со знаменательным событием. Шёл 1956 год, и страна бурлила. Только что, в последних числах февраля, в Москве закончил свою работу XX съезд партии, на последнем заседании которого выступил Хрущёв со своим знаменитым антисталинским докладом. По всем правилам конспирации заседание это проходило ночью, чтобы, не дай бог, не узнали иностранные корреспонденты и те, кому не положено. А не положено было практически всем советским людям, не имевшим в нагрудном кармане красной книжечки с профилем Ленина. Рядовых коммунистов, которых всё-таки следовало ввести в курс дела, решено было ознакомить с содержанием доклада, зачитывая его на закрытых партийных собраниях.

Дедушка тоже был обладателем красной книжечки, причём с 35-летним стажем, что тогда особенно ценилось. Но он к тому моменту уже год как находился на пенсии и ни в одной партийной ячейке не состоял, поскольку за несколько месяцев до этого уволился с последнего места работы. Так что услышать доклад ему было негде. Партийным был и муж Наркизы, работавший на станкостроительном заводе, и вот он-то, придя однажды с работы, поведал обо всем, что было в том докладе. Об арестах и лагерях, о бессудных расстрелах, об уничтожении партийных кадров, о поражениях первых дней войны — словом, обо всём том ужасающем беспределе, который творился волей Сталина в стране. Дедушка слушал, мрачно глядя в пол, и не произнёс ни единого слова, всё это было для него шоком.

Но совсем по-иному повела себя бабушка. Она бросилась к одному из наших упакованных в дорогу чемоданов, где лежали два застеклённых портрета Сталина и его биография, изданная миллионным тиражом, какие-то сборники и брошюры, и, выбежав во двор, стала всё это рвать и топтать. «Я знала, — кричала она, — я знала, что он убийца и изверг! Это тебе за войну, — приговаривала она, давя каблуками осколки стекла, — а это за всех погибших!» — и никак не могла успокоиться.

У неё был свой особый счёт к тирану. Её младший брат, попав в плен во время Финской кампании, был обменен по её завершении и тут же получил 10 лет лагерей, которые отбывал за полярным кругом, в Дудинке. Он вернулся домой в 1951 году, тридцатилетним, без зубов, причём свалился как снег на голову: родные давно уже считали его погибшим, а мать даже получала за него небольшую пенсию по утрате кормильца. Трое других её сыновей, не вернувшихся с войны, числились пропавшими без вести.

Но в 1956 году мне было только десять лет, и я мало что смыслила в политике. А говорить с бабушкой на подобные темы мы стали гораздо позже, когда я вошла в комсомольский возраст и не без влияния дедушки превратилась в идейную комсомолку. Сейчас мне стыдно вспоминать, что я ей тогда говорила, но бабушка умела быстро охладить мой энтузиазм. «И что хорошего дала нам советская власть? — отвечала она

на мою риторику. — Она пригрела всех паразитов и бездельников, которые после революции сразу всплыли наверх». А о коллективизации и вовсе не могла слышать. «У трудолюбивых крестьян отбирали инвентарь, скот, землю. А сколько крепких хозяйств разорили». Дедушка в эти разговоры не вступал и больше отмалчивался. И лишь иногда, обращаясь ко мне, замечал полушутя-полусерьёз: «Не слушай её, она же контра».

В конце марта, когда ещё лежал снег, мы погрузились в наш плацкартный вагон и тронулись к своему новому месту жительства. Путь предстоял неблизкий: через Уфу, потом ещё трое суток до Ташкента. До Оренбурга кругом лежала снежная целина, а вдоль насыпи тянулись утрамбованные снеговые щиты, предохранявшие пути от заносов. Но когда начались казахстанские степи, всё волшебным образом переменялось. Я и раньше слышала о том, как красива бывает степь ранней весной, и вот теперь убедилась воочию.

Так получилось, что эту перемену мы проспали, и когда утром я взглянула в окно, мне показалось, будто я попала в другую страну. По обе стороны полотна насколько хватало глаз тянулась залитая солнцем равнина. Солнце слепило, отражаясь в плещущейся у самой насыпи речной воде, вобравшей всю голубизну весеннего неба. Это вышла из берегов Сыр-Дарья, затопив километры плоской степной земли. А по другую сторону, до самого горизонта, тянулась бескрайняя цветущая степь, усыпанная звёздочками распускающихся тюльпанов и маков. От этого буйства красок пестрело в глазах. Поезд шёл медленно, как бы на ощупь, опасаясь ускориться из-за подступившей к самому полотну речной воды. А когда останавливался на полустанках, в вагон входили широкоскулые улыбающиеся казахи в стёганных халатах, и у каждого, как почётный орден, свешивался из-под тюбетейки ярко-жёлтый тюльпан.

Но вот поезд подошёл к ташкентскому перрону, и на нас обрушилась вся шумная толчея, всё многоголосие и пёстрые краски этого восточного города. Ни в тихой Аси-Ялани, ни даже в Стерлитамаке не приходилось мне видеть ничего подобного, и я крепко держалась за бабушкину руку, боясь потеряться в этой беспокойной, спешащей толпе. Наверное, нас встречали Сатира и её муж, но этого я совершенно не запомнила. Помню только пригородный автобус, вёзший нас в Янгиюль, а я, прильнув к стеклу, смотрела на пирамидальные тополя, тянущиеся ввысь по обеим сторонам дороги, на глиняные мазанки, скрывающиеся в зарослях виноградных лоз, на бескрайние хлопковые поля с зелёной порослью и думала о том, что здесь мне теперь предстоит жить (а о том, сколько сил суждено мне оставить на этих полях на хлопке, конечно, не догадывалась). Но больше всего меня волновали мысли о школе: что там меня ждёт и как меня там встретят?

Но мои опасения оказались напрасны, хотя контраст с тишиной и порядком, к которым я привыкла в Петровском, был ощутимый. В школу я пошла сразу же, без раскачки, хотя до конца занятий оставался всего месяц, который я могла бы и догулять и, не страдая по малости лет никакими комплексами, сразу почувствовала себя в этом разноплеменном коллективе как дома. И кого там только не было среди детей этого первого послевоенного поколения: и крымские татары, и корейцы, и казахи, и русские, и, конечно, узбеки — словом, полный интернационал, с зачастую трудными, изломанными судьбами, сладить с которым была не в состоянии наша тихая учительница Мария Алексеевна.

А мой первый школьный день и вовсе начался с драки. Войдя в полупустой класс, я без долгих размышлений облюбовала себе самую последнюю парту, не поинтересовавшись, свободна ли она. Когда же появились две её законные обитательницы — второгодница и двоечница узбечка Матутка и русская девочка, того

же поля ягода, — они, естественно, возмутились и попытались меня оттуда вытурить. Но не тут-то было. Завязалась драка, в результате которой мой новенький фартук и нарядная шляпка, купленная бабушкой по случаю первого школьного дня, оказались истоптаны. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы Мария Алексеевна, ни слова не говоря, не увела меня за ближнюю к учительскому столу парту.

Так началась моя школьная жизнь, и в том же духе, увы, она продолжилась. Например — это было уже в четвёртом классе, — мы с азартом играли в красное знамя. Игра состояла в том, что два параллельных класса разбивались на две команды, на школьном дворе вывешивали пионерский галстук, и этот галстук надо было сорвать. Тот, кому это удавалось, считался победителем. Но зачастую игра заканчивалась дракой, а проигравшая команда в отместку швыряла камни в окна класса-победителя. За разбитые стёкла приходилось отвечать. А поскольку я тоже принимала в этом участие, то в очередной раз вставлять стёкла пришлось дедушке. Кажется, он сам вызвался, ни слова не говоря, восстановить нанесённый ущерб, заметив только, что нехорошо так позорить звание пионерки. Он вообще никогда меня не ругал и не наказывал.

Как ни хорошо было нам у Сатиры, но надо было обзаводиться собственным домом. Поначалу дедушка с бабушкой собирались его купить (какие-то деньги от продажи дома в Петровском ещё оставались) и пару раз съездили в Ташкент, но ничего подходящего не присмотрели. И тут замаячила надежда получить бесплатную квартиру в одном из сдающихся в эксплуатацию двухэтажных домов на Самаркандской улице.

За всю свою долгую службу дедушка никогда ничего лично для себя не просил, чем постоянно попрекала его бабушка, и ни разу не воспользовался своим служебным положением. А когда однажды — это было в Стерлитамаке, за год до его смерти — его племянник, управляющий отделением Госбанка в Ишимбае, немалая по тем масштабам шишка, заехал за ним на своей служебной «Волге», чтобы погулять по берегу Белой, дед внезапно остановил машину и заявил, что никуда не поедет, потому что использовать казённую машину в личных целях недостойно коммуниста.

Но на этот раз уговорить его сумела Сатира. Он и вправду как старый большевик имел право на получение государственного жилья, и дедушка уступил. Получив ордер, он побывал в построенном доме и объявил, что мы переезжаем. А на все расспросы по поводу будущей квартиры только отмахивался, заверяя, что там есть всё, что надо: две комнаты с балконом, кухня, ванная и т.д.

Удивительно, что, хорошо его зная, доверилась ему бабушка и ни разу не выбралась взглянуть на наше будущее жильё. Зато и разочарование ожидало нас поистине сокрушительное. Ведь мы приехали сразу с вещами и теперь в растерянности топтались в тесном коридорчике, озираясь вокруг и задавая дедушке бесполезные вопросы: а где же балкон, где вторая комната? И почему в кранах нет воды, если есть умывальник и ванна? Но дедушка был невозмутим. Он широким жестом указал на землю под окном — квартира помещалась на первом этаже, — заявив: «А это чем не балкон?» А зайдя на кухню, произнёс: «А вот вам и вторая комната».

Вот так оказались мы в этой дефектной квартире без воды, без канализации, где прожили почти десять лет. Вода, впрочем, вскоре появилась, но такая ржавая, что годилась только для полива. Мы надевали шланг на кран и пропускали его конец в открытое окно. Так дедушка и прожил остаток дней, не приобщившись к элементарным городским удобствам, но несколько от этого, судя по всему, не страдая. Потому что, когда мы с бабушкой, жившие к тому времени на маслобазе в Стерлитамаке, где моя мама занимала ветхую хибарку, получили, наконец, полноценную квартиру, дедушка пожить в ней уже не успел: он умер за несколько месяцев до нашего переезда.

* * *

Статус пенсионера дедушку с его деятельным комиссарским характером не мог тяготить, и вскоре по приезду в Янгиюль он устроился вахтёром на консервный завод. Работа была, конечно, не по нему, но и этот «эксперимент» закончился, не успев начаться. Взявшись за дело с присущей ему основательностью, он быстро навёл шухер у себя на проходной, задержав за неделю десятка два «несунов» и написав на каждого докладную. Однако со своим уставом в чужой монастырь не лезут, и, кроме самого дедушки, это, как выяснилось, не устраивало никого, даже администрацию. Через неделю ему предложили уволиться по собственному желанию, за что пообещали начислить заработную плату за месяц вперёд, а сверх того, в качестве премии, привезли нам домой мешок сахара. «И слава богу, — резюмировала мудрая Сатира, у которой мы тогда жили. — А ведь могли и прибить».

Если приглядеться к дедушкиным фотографиям последнего десятилетия, то видно, как он быстро старел. Непривычная ли городская жизнь была тому виной или невозможность найти применение своим нерастроченным силам? Впрочем, трудно было назвать эту жизнь городской, скорее, она была полу-деревенской. Существовал в своё время такой анекдот. Зачем каждое лето снимать дачу, терпеть неудобства сельского быта, когда можно поступить проще. Отключите в квартире газ, электричество, водопровод и выйдите на балкон: вот вам и дача. Так, кстати, и жило большинство янгиюльцев. Электричество, правда, имелось у всех, но водопровода и канализации в частных домах не было ни у кого. Да что говорить, если канализация была даже не в каждой школе.

Мы жили, правда, не в частном доме, но в смысле комфорта разницы не было никакой. У нас в квартире, например, не было даже шкафа — он считался излишней роскошью. Зато в единственной комнате стояли две железных кровати да ещё и диван. Но и их часто не хватало, — когда у нас кто-то гостил. И тогда дедушка брал свою постель и уходил на ночь в ванную комнату. Да, вот для этого, пожалуй, и годилась наша бездействующая ванна — на неё укладывали доски, и она превращалась в ещё одно спальное место. А летом ночевать можно было и во дворе, где устроили что-то вроде беседки. В жаркую погоду мы с бабушкой спали там по очереди.

Двор не был огорожен, и мне сегодня трудно понять, как это не боялись дедушка с бабушкой оставлять меня ночью одну, практически на улице. И как не боялись летом весь день держать входную дверь нараспашку, лишь занавешивая её от мух марлевым пологом? Дверь запирали, только когда уезжали надолго. А уйти на час или два к соседям, оставив её открытой, было в порядке вещей.

Но эта распахнутость имела и свою обаятельную сторону. Жили одной семьёй, приглашая друг друга на пироги, радуясь чужой радости и сопереживая чужому горю. Помню, как по случаю рождения очередного ребёнка дедушка высаживал тополя под окнами жившего в соседнем подъезде молодого прокурора-узбека, с которым дружил. Растут ли они сейчас? И если растут, то их должно быть не меньше трёх, по числу родившихся прокурорских дочек. Четвёртый, сын, появился на свет, когда нас уже не было в Янгиюле.

Бывало, впрочем, что подобная открытость оборачивались и конфузom. Однажды бабушка засиделась вечером у соседки, а когда вернулась домой, застала на диване какого-то спящего мужчину. Она так испугалась, что побежала звать на помощь. А снова войдя в квартиру и присмотревшись, узнала в незнакомце собственного внука.

Это был Лутфулла, который без предупреждения приехал из Стерлитамака и, не застав никого дома, прилёг отдохнуть с дороги.

Но случилось и похуже, когда эта не покинувшая дедушку с бабушкой деревенская беспечность ставила их в трагикомическое положение. Так случилось, например, во время их поездки в Башкирию: они должны были доставить двух моих младших братьев, находившихся в тот момент в ташкентском детдоме, куда их устроил дедушка. Почему они там оказались — вопрос особый, связанный с трудным положением семьи из-за хронического алкоголизма их отца, угодившего по этой причине в исправительную колонию. Но продолжу.

Ехать должны были шестером: кроме меня, бабушки с дедушкой и моих братьев Рината и Лутфуллы, к нам в компанию напросилась ещё Сатира. Условились так: мы с дедушкой заезжаем в детский дом, а бабушка с Сатирой едут прямо на вокзал, и там мы встречаемся. Мы приехали слишком рано, в запасе оставалось больше двух часов, и дедушка решил навестить свою родственницу. Однако подали состав, а дедушки всё нет. Билеты у нас были в разные вагоны: у бабушки с Сатирой в мягкий, у остальных в плацкартный, и потому они не стали его дожидаться. Поручив нам, детям, корзинку с едой, они поспешили к вещам, чтобы погрузить их в свой вагон. «Никуда не уходите, — наказали они. — Дедушка сейчас подойдёт, а мы пойдём устраиваться». Но прозвучал гудок, поезд тронулся, а он так и не появился. И бабушка с Сатирой уехали, оставив нас одних на перроне.

Это дикое с нынешней точки зрения происшествие объяснялось просто. Бабушка понадеялась (уж будто она не знала своего старика), что в последний момент он всё-таки объявится и заберёт нас к себе в вагон, куда и были взяты наши билеты. Он же засиделся у своей родственницы, закусил, выпил, прилёг отдохнуть и... задремал. А проснувшись, понял, что опаздывает, и сломя голову помчался на вокзал, где застал нас одних, зато с полной корзинкой всякой снеди. Ему удалось обменять билеты, и мы уехали следующим поездом.

Ну а что же наши старушки? Они спохватились только две станции спустя. Прошли в наш вагон и, обнаружив наше отсутствие, поняли, что они наделали. Ругая на чём свет стоит дедушку, они тем не менее ничего не предприняли, чтобы узнать, что же случилось, не дали даже телеграмму в Ташкент, а только все три дня пути сидели и лили слёзы. К тому же они остались без еды, а вагон-ресторан был им не по карману. Зато мы объедались бабушкиными пирогами и как сумасшедшие носились по всему составу под снисходительными взглядами дедушки.

* * *

Дедушка всегда интересовался моей школьной жизнью. Сам он учился «на медные деньги» и чувствовал этот свой изъян, а потому хотел, чтобы его внучка росла образованной и политически грамотной. В эту «программу-минимум» входило и обязательное чтение газет. Он читал их с карандашом в руке и такого же вдумчивого чтения требовал от меня. А когда к нам приходили мои одноклассники, он тут же брал их в оборот. Если бабушка ублажала их своими пирогами и курниками, то дед подсовывал им газету с очередной речью Хрущёва и требовал отчёта: что они поняли и как смотрят на ту или иную партийную новацию. Сам он эти «безразмерные» речи слушал по радио, и не раз бывало, что, уходя утром в школу, я оставляла его у репродуктора, а возвратившись, заставала в той же позиции.

С тех пор как бабушка в припадке ярости уничтожила все хранившиеся у нас труды Сталина, никаких его книг в нашем доме не водилось, и дедушка воспринял

это как данность. Однако на других «основоположников» табу не распространялось; какие-то издания Маркса и Ленина стояли у нас на этажерке, и дедушка время от времени в них заглядывал. А когда я уже училась в институте, помню, как он возмущался, если мои сокурсники приходили, чтобы списать у меня конспекты по основам марксизма. Как можно получать такие истины из вторых рук? Для него они были святы, и он не подозревал, как в то же самое время из моего института едва не отчислили парня за то, что он самостоятельно прочёл и законспектировал какую-то работу Ленина, которой не было в программе, и даже позволил себе в этой связи задать какой-то вопрос преподавателю. «Разве вы не знаете, что изучать первоисточники разрешено только в группе и не менее чем из трёх человек?» — вскричал взбешённый педагог и, не имея других аргументов, побежал жаловаться в деканат.

Но не только труды Маркса и Ленина стояли на нашей книжной полке. Были там и произведения русской и советской классики, многие из которых дедушка покупал сам. Он следил за моим чтением. Если, полистав какую-нибудь книгу, встречал что-то для себя интересное, тут же погружался в чтение, отдавая при этом предпочтение военно-исторической литературе (не знаю, можно ли отнести к этому жанру «Войну и мир», но помню, что он читал роман, хотя, возможно, и не целиком).

С момента нашего переселения в Янгиюль дедушка с бабушкой сделались завсегдатаями наших родительских собраний. Хотя особой необходимости в том и не было — я числилась на хорошем счету, добросовестно выполняла общественные поручения, не щадила себя на уборке хлопка, — словом, была достойной продолжательницей дела своего деда. Но как было упустить случай лишний раз услышать похвалу в адрес любимой внучки?

Иногда как старого большевика дедушку приглашали на наши пионерские сборы, и ему действительно было что рассказать. Но, увы: все его выступления сводились к пропагандистской риторике 20—30-х годов, а добавить что-то созвучное дню сегодняшнему он не умел, словно какой-то частью сознания навсегда вмёрз в своё комиссарское прошлое. Зато, когда наш класс собирал металлолом (его собирали тогда все школьники), дедушка здорово нам помог.

Началось с двух чугунных сковородок, которые я припрятала от бабушки, чтобы сдать их в общую копилку. Обнаружив пропажу, она подняла крик, а когда дедушка пришёл на кухню узнать, в чём дело, и на него она выплеснула ушат своего возмущения. «Брось, *абикай* (старуха, татарск.), — миролюбиво произнёс дедушка, — девочка не хотела ничего плохого. Просто ей надо помочь». Он вышел из дома и через час вернулся очень довольный. Как потом выяснилось, он нашёл где-то брошенную двухпудовую металлическую болванку, нанял бричку и привёз её во двор нашей школы. Не знаю, во что ему обошлась эта бричка, но по сбору металлолома наш класс вышел в тот год победителем.

Коли уж зашла речь об общественно-полезной деятельности, не могу не упомянуть и мою ежегодную «хлопковую повинность», к которой дед и бабушка относились по-разному. Если первый смотрел на неё как на общеплезное дело, то бабушка воспринимала её с обычной своей житейской трезвостью. Особенно ей не нравилось, что нас отрывают от занятий. И действительно, ту брешь, которую оставляли в нашем школьном образовании два хлопковых месяца, заткнуть было невозможно. За бортом оставались целые дисциплины, которыми просто жертвовали. А в результате я вышла из школы, не имея представления о физической природе звёзд и обладая самыми смутными познаниями в истории. Но пожертвовать математикой

или литературой было, конечно, невозможно. Вот и удлинялся наш школьный день, а учебный год растягивался до середины лета.

Мне и сейчас снится эта моя хлопковая страда. Плоское, уходящее к горизонту поле с высокими, по пояс, грядками хлопчатника. И я с притороченным к поясу фартуком, куда сбрасываю ватные комочки, обрываемые обеими руками. Но с грядками на этот раз не повезло: только что прошедший комбайн оставил вместо цельных коробочек одни ошипки; выполнить норму на таком хлопке невозможно. И тут выясняется, что в противоположном конце поля хлопок ещё нетронутый, и я, подхватив наполовину заполненный фартук, со всех ног бегу туда, боясь, как бы меня не опередили.

Вот такой «производственный» сон, перекликающийся с явью 50-летней давности. Да, мы действительно воевали за хороший хлопок, на котором легче выполнить норму, а она для старшеклассников равнялась 60 кг. Но что нас подхлестывало, сегодня понять уже трудно. Во всяком случае, не деньги, потому что заработок был грошовый — 2 копейки за килограмм. То есть за рабочий день можно было заработать рубль с копейками — стоимость одного школьного завтрака. А ведь это очень нелёгкий труд. Семь часов под палящим солнцем при 30-градусной жаре. Прибавьте к этому ещё расстояние до весовщика — не меньше километра, который надо было протопать, таща на себе два полных фартука по 8 кг каждый. Поднять их без посторонней помощи мы, девочки, были уже не в состоянии.

Так что беспокоиться бабушке следовало, скорее, о нашем здоровье, которое мы оставляли на этих полях. Особенно когда в погоне за лёгким хлопком, как сумасшедшие, бежали за «кукурузником», распылявшим гербициды над созревшим хлопчатником. Операция эта была предназначена для комбайнового сбора хлопка — зелёные листья сразу же сворачивались, обнажая цветочную коробочку, — но у нас был тут свой интерес. Потому что собирать такой хлопок было одно удовольствие. И никто из взрослых не объяснял, чем это для нас чревато.

Как мы гордились, когда нашему классу присудили переходящее красное знамя за самые высокие в области показатели по сбору «белого золота» среди школьников! Это знамя вручали нам там же, в поле, а хранилось оно в мазанке, где мы спали. При этом оно имело привычку падать среди ночи, что служило предметом вечных подтруниваний и подкалываний.

В общем, нельзя сказать, чтобы мы выезжали на хлопок исключительно по принуждению, — нет, какая-то романтика в этом была. Ну а кроме того, два месяца никаких уроков, полная свобода от родительского надзора, шумные молодёжные компании по вечерам — вся эта подростковая вольница не могла не волновать сердца, так что это принудительное мероприятие воспринималось, скорее, как праздник.

Возвращение в Стерлитамак и квартирное фиаско

В 1964 году я окончила школу, и на этом наша ташкентская идиллия, если можно так её назвать, закончилась. Я мечтала о поступлении в мединститут, но в Ташкенте он был для меня закрыт — там принимали прежде всего своих: этнических узбеков и тех, кто приехал из глубинки. И я решила попытать счастья в Уфе. Очень трудно было пойти на этот шаг — ведь я оставляла своих стариков одних, — и я бы, наверное, на него не решилась, если бы они сами не настояли.

Увы, свой первый вступительный экзамен по физике я завалила — видимо, не так-то много стоили мои школьные четвёрки и пятёрки. Долго не хватало у меня духу сообщить об этом в Янгиюль. А тем временем тётя Аня, наш семейный премьер-министр, взяла меня за руку и отвела в стерлитамакское медучилище, где приём документов уже закончился, но для меня сделали исключение. И вместо того, чтобы вернуться в Янгиюль и как следует подготовиться к поступлению на будущий год, я, словно овца, покорно пошла на эти экзамены и набрала 14 баллов из пятнадцати.

Теперь я могла приезжать в Янгиюль только на каникулы и с болью в сердце видела, как постепенно сдавал дед. Гипертонию у него находили и раньше, но теперь давление ниже двухсот не опускалось, а лечить эту болезнь в то время ещё не умели.

В декабре 1966 года на работу к тёте Ане дозвонилась встревоженная бабушка. У *этий* (папы) что-то вроде инсульта: плохо слушается правая рука, неполадки с речью. У меня в тот момент была зимняя сессия, и в Янгиюль выехала Нарикиза. Ничего из того, чем напугала её по телефону бабушка, она уже не застала, дедушка был такой же, как всегда. И всё-таки возвращалась она с тяжёлым сердцем, а через два месяца снова была в Янгиюле. На этот раз дед ей не понравился — был каким-то вялым, заторможенным, много спал. Решение пришло, как это бывает, спонтанно. Прежде всего нужно было убедить родителей, что оставаться им одним в Янгиюле рискованно и что лучше всего, не откладывая, собраться и ехать с ней вместе. И они уступили.

И тогда встал вопрос, что делать с квартирой. В то время все квартиры были государственные, ни продать, ни подарить их было невозможно. Оставалось попытаться обменять её на Стерлитамак, но это требовало времени. А пока решено было кого-то в ней поселить. И тут на горизонте всплыла некая Зиля. Наркизе она приходилась золовкой, сестрой мужа, но сестрой не родной, а взятой в годы войны из детского дома. То есть она была детдомовкой военных лет, и этим многое сказано. Ведь она росла в среде, где, чтобы выжить, надо было цепляться за жизнь ногтями и зубами, урывать от жизни всё, что тебе положено. И не положено — тоже.

Впервые она появилась в Янгиюле вскоре после нашего туда переезда — поссорившись с приёмной матерью, нагрянула к нам без всякого предупреждения. Мы сами жили тогда у Сатиры, но пришлось потесниться, чтобы дать ей место на наших скудных метрах. И целый месяц дедушка занимался её трудоустройством. В конце концов ему удалось пристроить её на мебельную фабрику и выбить ей место в общежитии; на какое-то время с нашего горизонта она исчезла. Но однажды нам сообщили, что Зиля в роддоме и ждёт, чтобы мы её оттуда забрали. И опять нам пришлось тесниться, чтобы дать место матери и ребёнку. На несколько месяцев я уступила ей свой топчан, а сама спала на полу, на тюфячке, и все эти месяцы и она, и новорождённый были окружены нашей заботой и вниманием. Правда, ребёнка она вскоре отдала отцу, с которым была не расписана, а сама снова переселилась в общежитие и больше у нас не появлялась.

И вот теперь Нарикиза сама разыскала её, рассудив, что лучше сдать квартиру своему человеку. К тому времени эта Зиля успела дважды побывать замужем и развестись, и от этих двух браков у неё было ещё двое детей. Но всё это не насторожило тётю Аню. Так что ключи от квартиры были вручены Зиле, а Нарикиза вместе с родителями отбыла в Стерлитамак. Взяли с собой только часы и швейную машинку, те самые, из бабушкиного приданого. Что-то подсказало, что с этими реликвиями лучше не расставаться.

В Стерлитамаке я жила тогда одна в маминой развалюхе. Они с моей младшей сестрой только что получили квартиру от молокозавода, где мама работала,

так что место было. Но жизнь там была не сахар. Дом находился в так называемой промзоне, на территории маслобазы, где за окном вечно месили грязь тяжело гружённые фуры, свозившие продукцию с окрестных молокозаводов. В распутицу до ближайшей автобусной остановки можно было дойти только в сапогах. И, конечно, та же водоразборная колонка и те же «удобства», которые во дворе. Мне в мои 20 лет это было, может, и с полбеды, но бабушке с дедушкой на закате их дней...

В общем, нужно было срочно искать квартиру. И случилось маленькое чудо: нашлись желающие переехать в Янгиюль, отдав нам свою двухкомнатную квартиру. Оставалось только показать им нашу, которая, по описаниям, их устраивала. Написали Зиле, предупредили, что придут смотреть, но она их даже на порог не пустила, заявив, что прежние жильцы выписаны и что теперь хозяйка квартиры она. Для нас это оказалось шоком, и Наркиза поехала в Янгиюль, чтобы разобраться на месте.

В наше время это называется рейдерским захватом. Но мы привыкли к тому, что в нём участвуют накачанные братки в масках, а тут хрупкая миловидная женщина с вызывающей наглой улыбкой. Даже забрать оставшиеся в квартире вещи она не позволила. Как удалось ей все это повернуть — это Наркизу уже не интересовало. Ясно было одно — нужно подавать в суд, причём судиться с матерью-одиночкой. Но под силу ли двум старикам мотаться туда-сюда за две тысячи километров? А никто, кроме них, не мог выступить в роли истца. И она отступилась... Вот так эта дышащая на ладан развалюха, годная разве только под снос, стала для дедушки последним прибежищем.

Сколько себя помню, к каждой годовщине Победы наши власти обещают предоставить каждому ветерану благоустроенную квартиру. Так было до перестройки, так осталось и после неё. И пока был жив хоть один ветеран, это обещание сохраняло свою актуальность. Так что, проживи дедушка хоть до девяноста лет, вряд ли он дождался бы лучших времён. Видимо, как советским, так и постсоветским властям совершенно неведомо это простое чувство человеческой благодарности, если она не на словах.

Дедушка умер в самый канун 1969 года, так ничего и не узнав о судьбе своей Зайтуны, история героической гибели которой стала известна (не без моего участия) лишь 2 года спустя. Хоронили его 2 января, но ни от военкомата, ни от городских властей никто не пришёл, чтобы отдать ему последний долг, а может быть, и извиниться. Вероятно, всё ещё праздновали. А могли бы, между прочим, и солдат прислать для воинского салюта. И только Тургун, бывший муж Зили, отец её детей, знавший кое-что о её махинациях, зайдя к нам на следующий день после похорон, произнёс за всех эти три коротких слова: «Прости меня, отец».

Стихи, картины, QR-код

«Любите живопись, поэты!» — этот знаменитый призыв Николая Заболоцкого был услышан участниками Международного литературного форума молодых писателей России и стран СНГ «Липки-2023», поэтами из семинара нашего журнала. Захотелось создать поэтическую картинную галерею — стихи к любимым живописным полотнам. У одних получилось самостоятельное стихотворение, у других — иллюстрация к картине, вариации на тему или экспромт.

Каждому стихотворению соответствует свой QR-код.

Поднеся смартфон к QR-коду, можно увидеть картину, вдохновившую поэта.

Подборка стихов и соответствующих картин с использованием QR-кода — новация в работе журнала «Дружба народов», который отмечает в этом году свое 85-летие!

Наталья Алексеева

Андрей Рублёв, «Благовещение»



тыходишь в дом
со мной поговорить
усаживаешься на моей кровати

в руке не сжата шерстяная нить
ты не в чепце не в синем платье
но в этом же сиянье золотом
как будто в солнечном объятьи

неторопливо как приходят сны
как расцветает плодородный сад
ты просияешь у тебя родится сын
ты скажешь у тебя родится брат

*Марина Гаджиева***Рене Магритт, «Ясновидение»**

Замкнутость гладких линий,
Бескомпромиссность цвета —
Белым яйцом куриным
Занят Рене с рассвета.

Цвет поглощает поле —
Белый холста квадрат —
Чёрт-чернота в неволе,
И человек крылат.

Было яйцо, а будет
Тело, удар, полёт.
Ветви грядущих судеб —
Неуловим расчёт.

Взгляду не ухватиться,
Серая тень, овал.
Смотрит
с мольберта
птица.

*Яна Зверева***Поль Сезанн, «Натюрморт с корзиной яблок»**

Слепну. Рисую яблочный аромат.
Прочего не получается рисовать.
В комнате пахнет сидром и керосином.
Холодно, некрасиво.

Окружённый подгнившими фруктами, хочу я
Завтра учуять.

Дарья Князева

Винсент Ван Гог, «Звёздная ночь»



Напряжение сфер
водоворотами
вьётся, длится, меняется,
не повторяясь,

крупными стежками
пришито Создателем к пологу,
едва встряхнёшь —
стежки превращаются в рябь —
певучее эхо, бегущее за край Вселенной.

Кирилл Моргунов

**Питер Брейгель, «Зимний пейзаж с конькобежцами
и ловушкой для птиц»**



Небо караулит конькобежцев.
Чёрные деревья, словно руки,
Медленно сжимающие сердце —
То ли от любви, то ли от скуки.

Небо караулит птицеловов.
На снегу стоишь, как на ладони:
Подбираешь правильное слово —
Только ничего не вспомнить.

Марина Мазуренко

Питер Брейгель Старший. «Безумная Грета»



Чёрная пятница
Грета-Бронежилет из вельвета
Идёт
Под вуалью решимости
В каске химической завивки

Армия подружек
Приливная волна

Двери ТЦ
Порванный криком рот

Мелкими бесами вьются
Консультанты

Мечты шопоголиков вызрели
Вылупились

Феерия сюр
Пустеющие счета

Каждый в убытке

Грета идёт
Сумка полна
и кошелёк

Татьяна Павлова

Ирина Букоткина, «Лотосы»



Листья подобны зонтам перевёрнутым —
дарят волшебные сны,
а на кострах лепестков чудотворные
дни догорают, ясны.

Мне бы отречься от мира диванного,
кистью поймать разноцвет,
в батик облечь берег неба желанного,
в волнах купающий свет.

Пусть обернётся тропой заповедною
жизни нелепой маршрут.
Нежно по шёлку мечтою заветною
лотосы в душу цветут.

Марина Перова

Василий Кандинский, «Композиция VII»

я видел мир, как видят дом во сне,
на ангельском, до-словном языке,
где слово только силится взойти,
и с ним — мои неясные пути
для каждого, ещё живого-не.
и мысль моя из точки в пустоте
разбила тьму на под- и надпространство,
и время разорвало постоянство,
а если свет? и появился свет.
я видел солнца первого расцвет.
носился дух над вспухнувшей землёй.
и стала твердь.
и небеса набрякли.



Екатерина Сороколетова

Антон Фролов, проект «Леандр»

Кроме темперы и потали,
чем ещё
писать галактики,
скафандры и космолёты?
Разве не были в первый день созданы
тахiony и кванты?

Я думаю,
что Троица это не что иное
как суперпозиция
Бога.



Денис Ткачук

Иван Глазунов, «Улица»

среди рыбаков мытарей
стражников и разбойников
есть тот
кто будет ближе всех
и предаст

взгляды издали
пронзают насквозь
это
ты?



Вячеслав Шевченко

Рене Магритт, «Это не трубка»



Если видишь: на картине
 Нарисована река,
 Зонтик, женщины в бикини —
 Так и есть наверняка.
 Так бы дальше продолжалось,
 Но теперь, какая жалость,
 Реку мутит, нас дурит
 Выдумщик Рене Магритт.
 Как табачная в ноздре пыль,
 Раздражает парадокс.
 Сколько никотина доз
 Я в раздумиях впитал!
 Как же так — не трубка? Скрепы
 Он мне, как труба, шатал!
 Или не труба, а что же?
 Даже трубадур не сможет
 Оживить на свалке труб
 Флейты водосточной труп...
 С этим всё ж я смог смириться.
 Всем теперь я говорю,
 Выдыхая дымом в лица:
 «Не курю».

Яна Яжмина

Питер Клас, «Ванитас со скрипкой и хрустальным шаром»



Танец под строптивую скрипку
 Год за годом
 Оставляет
 Скрипучий чернильный след.

Memento mori, — повторяли часы.
 Больше они никуда не пойдут.
 Ореховые знания добыты.
 Горло бокала пересохло.

В тёмной комнате
Свет.
Он дарит художнику
Право дописать картину,
Увековечить маленького себя
На этом огромном шаре.

Кто знает,
Возможно, было задумано,
Чтобы четырёхста лет спустя
Я, наконец, себе призналась:

Я не умею танцевать.

Татьяна Ярушина

Джон Уильям Уотерхаус, «Душа розы»



От хрипоты до немоты
Ласкала бледные цветы...
И, приоткрыв немного рот,
Казалось, что умру вот-вот...

Но показалось.

Змеились стебли. Аромат
Щипал за щёки, словно яд
Вливал румянец. И рука
Была подвижна и гибка...

Душа металась.

Метались души роз в саду,
И ты, с собою не в ладу,
Стояла, будто бледный куст
В бутонах.
Но слышится легчайший хруст...

И ты сломалась...

Юрий Арабов

Литклуб через призму эго

Юрия Арабова не стало накануне Нового года. Торопливые некрологи не отличались разнообразием. Внушительность скопированного из Википедии списка наград и званий самого титулованного и одновременно самого уважаемого (редкое сочетание) российского киносценариста плюс беглое перечисление культовых фильмов избавляли от необходимости что-либо добавлять. Количество знаков, отведенных под некролог, ограничено.

Меж тем Юрий Арабов был поэтом, большим поэтом, прежде всего поэтом. Он и сам говорил «я поэт, а сценарии...» — и недоговаривал, ограничиваясь неопределенным жестом. Отчасти прояснил смысл этого жеста его соавтор по двенадцати фильмам режиссер Александр Сокуров: «Арабов — это уникальное сочетание мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. И использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди. Как правило, кино не нуждается в таком уровне культуры и литературного мастерства».

Арабов казался закрытым, замкнутым, погруженным в себя интровертом, таким, наверное, и был: отдельным, штучным, сложным, мучительно сложным. Мучился от несовершенства мира, от несовершенства своей жизни, своих текстов, рвался к последней прямой, к пониманию, мучился от отсутствия отклика, от присутствия отклика, успеха, но не то, не про то, сжимался как от резкой внезапной боли и тут же вышучивал себя, пафосность жеста, нелепость ситуации.

Он переходил от стихов к сценариям, от сценариев — к прозе, и снова к стихам. Со стихов все и начиналось, в том числе — и наше дружество (люблю это пушкинское слово). Мы и встретились впервые в 1980 году в только что созданной поэтической студии Кирилла Ковальджи.

Студия казалась нам центром мира. Им и была. Силовое поле, центр притяжения поэтического поколения.

От наших тогдашних студийных встреч не осталось ни записей, ни фотографий. Архивов мы, согласно недвусмысленному указанию старшего собрата по перу, не заводили, а до нынешних гаджетов, сохраняющих что ни попадя, было далеко. Тем легендарней студия, тем пронзительней воспоминания.

Публикуемое эссе Юрия Арабова — о возникновении студии, о нас всех, тогдашних, которых именовали «московским андеграундом», «новой волной», «параллельной культурой», «гражданами ночи», как еще? Эссе было написано для подготовленной, но так пока и не изданной книги о студии, где собраны стихи

Арабов Юрий Николаевич (1954—2023) — поэт, прозаик, сценарист. Родился в Москве. Окончил ВГИК. Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). Лауреат премии Каннского фестиваля за лучший сценарий (1999), Государственной премии РФ (2001), «Триумф» (2008), «Ника» (2002, 2013, 2017) и многих других.

и воспоминания студийцев тех лет: Нины Искренко, Ивана Жданова, Владимира Гучкова, Алексея Парщикова, Александра Ерёмченко, Марка Шатуновского, Владимира Аристового, Юлия Гуголева, много еще кого, в том числе, естественно, Юрия Арабова, и мои, и Кирилла Ковальджи.

Двери студии были открыты. Кто хотел — приходил, кто хотел — уходил. Фильтрация происходила естественным путем. Студийцы, как нетрудно понять даже из беглого перечисления, не представляли собой некоего поэтического направления.

Ушлые литературоведы, любящие объединять всех и вся в литературные группы под затейливыми брендами, позднее расфасовали тогдашних участников наших поэтических бдений по разным разделам: метаметафористы, полистилисты, концептуалисты, иронисты, герметисты, традиционалисты и т.д. И они по-своему правы. Что общего в поэтике тех, кого я перечислил, тех, кого вспоминает Юра в своем эссе? Кроме того, что это — стихи.

...На сороковиных уже не было вереницы именитых режиссеров, узнаваемых актеров, уважаемых кинокритиков, только его студенты, его выпускники, его команда. И мы с Марком Шатуновским.

Когда расходились, один из арабовских учеников показал мне интервью, где Юра попросили ответить на незатейливый, прямо скажем, вопрос: «Кто вы?»

Он ответил в неповторимой своей манере: «А помните, у Хармса на сцену выходит писатель и говорит “я писатель”, а рабочий из зала говорит “ты не писатель, ты дерьмо”, писатель падает в обморок. Выходит актер и говорит “я артист”, рабочий из зала говорит “ты не артист, ты дерьмо”, артист падает в обморок. Вот поскольку я знаю, что это абсолютная правда, поэтому я представляю себя, конечно: никто, безусловно, в глубинном смысле, никто, которое старается быть чем-то, а быть чем-то — это значит умереть не таким дураком, как ты появился на свет».

Но иногда даже в дежурных интервью он вдруг отбрасывал свою фирменную жесткую самоиронию и говорил уже не с журналистом, а через его голову, через все наши головы с кем-то другим, говорил с последней безоглядной прямоотой: «Для меня смысл жизни заключен в том, что я хочу найти Бога. Я знаю: как только найду Его, умру, но для меня это будет счастьем. А несчастьем — если умру, так и не найдя Его».

Евгений БУНИМОВИЧ

1

Я не люблю мемуаров, поскольку, что бы не вспоминал, всегда говоришь о себе, любимом, и это смущает. Толща пережитого времени еле просвечивает через эгоизм автора и, преломляясь в нем, не выглядит достоверной. Но все-таки, сжав остатки зубов и призвав на помощь остатки совести, я попробую кое-что вспомнить, специально оговариваясь, что избавиться целиком от личных пристрастий мне вряд ли удастся.

Наверное, все интеллигентные люди моего поколения знают о феномене под названием «Ленинградский рок-клуб». Но не каждый догадывается о том, что это детище было зачато ЦК КПСС, который является подлинным отцом ленинградской артистической свободы. Было такое постановление Комитета «О работе с творческой молодежью», и цепкое семя партии, оплодотворив гордую музу искусства, породило Цоя, Гребенщикова¹, Науменко и других героев совкового рока. Сказать нынче об этом вслух и очно не представляется возможным, — побьют ошметками электрогитар, а для сценаристов недавнего фильма «Лето» подобное утверждение покажется вообще дичью. Но из настоящего рока ноту не выкинешь, тем более что там всего — пять

¹ Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

аккордов: госбезопасность вместе с партийными структурами гарантировали небывалый взлет свободного неподцензурного искусства.

Параллельно с этим в Москве возникло другое брожение, но с тем же самогонным аппаратом. Рок-н-ролл мы слушали больше питерских ребят, но почему-то писали не пентатонику, а верлибры и дольники, растягивая поэтическую строку на километр с лишним. Наверное, оглушительный успех шестидесятников не давал нам покоя, стучался в сердце и призывал: «Ну чего ты маешься, чувак, чего ты дуру гонишь?.. Эти парни не сеют, не жнут, а, нанизывая слова на незамысловатый ритм, добиваются своего: Лужники — полные, а Боб Дилан, привезенный Вознесенским из Америки на один из поэтических вечеров, не делает кассы. Его гитару никто здесь не уважает, потому что все хотят в Поли-тех-ни-чески-и-й!.. А там, как известно, не рок, а изящная словесность...»

В моем поколении все писали стихи. И партийные дрожжи, попав в эту плодоягодную массу, должны были дать какую-то структуру. Они и дали. В кино это было объединение «Дебют» на «Мосфильме», где молодым людям вроде меня предоставляли широкую возможность сделать малоудачный фильм. В литературе, — первый клуб «Поэзия» (не путать с нашим, с искренковским), где в отдельной комнате, о которой все знали, сидел «слухач» от госбезопасности. Там, кстати, был коронован Александр Ерёмченко в качестве короля поэтов, войдя в одну компанию с Игорем Северяниным. И, конечно же, подлинным ответом на Постановление ЦК были московские литературные студии под патронажем маститых советских литераторов.

2

В студию Кирилла Ковальджи при журнале с нескромным названием «Юность» (там работали одни старики) меня привел Алексей Парщиков, поэт с пушкинским анфасом и метафорическим профилем будущей сверхзвезды. Была осень 1980 года. Я писал стихи уже девять лет, практически никому их не показывая. Нельзя сказать, чтобы они были совсем плохие. Главной проблемой для меня был «шум времени», который не удавалось воплотить, потому что ловил я его в прохудившуюся сеть пастернаковской поэтики. А где взять другую? Рубцовский бредень был еще архаичнее. Верлибр меня не устраивал, ибо в нем была явственно заметна капитуляция перед поэтическим натиском с Запада. Кроме того, моя любовь к британскому року требовала ритма, а верлибр был свободен даже от этого. И когда я услышал на вечере в ЦДРИ Ерёмченко, Парщикова и Жданова, я сказал самому себе: «Есть!.. Вот она, эта сеть. И я смогу поймать в нее все, что захочу». Наверное, мое настроение в декабре 79-го (именно тогда состоялся вышеназванный вечер) можно было сравнить с настроением людей, которые впервые услышали мерси-бит из Ливерпуля: «Это наша музыка!.. И она будет с нами до гробовой доски!..»

Я начал нервно пересматривать мою устоявшуюся поэтику, увеличивая длину строки и впихивая в нее всевозможные метафоры, удачные и не очень... Но надо познакомиться с Апостолом, и желательно, чтобы именно он ввел тебя в артель-общину на правах вольного каменщика. Так уж случилась, что жена Алексея Ольга Свиблова была родственницей моего близкого друга. И через нее я познакомился с Апостолом «нового звука» и дал ему почитать кое-что из написанного. Парщиков тогда, в начале 80-х, еще не чувствовал себя профилем на медали и был открыт ко всякого рода знакомствам. Между нами возникло подобие товарищества. Я ездил к нему на Каширскую, и мы читали друг другу собственные новые стихи. В те годы я услышал из его уст «Новогодние строки», куски из «Полтавы» и многое другое. Сам я читал ему «Комара», «Цезариаду» и прочее из того, что крутилось тогда в моей голове. Поскольку плохую поэзию сочинять при Парщикове было стыдно, я начал писать лучше, в чем-то подделываясь под его стиль и в чем-то находя свое...

Кончилось тем, что я ему, по-видимому, так надоел, что он бросил меня в холодную прорубь литературной студии, избавившись тем самым от надоевшего стихоплета. Привел меня, представил Кириллу Ковальджи... Мои стихи поставили на общественное обсуждение вместе со стихами Александра Ерёменко. Коварство Алёши было налицо: мне грозило полное литературное фиаско. Читать вместе с Ерёменко моих «Петухов», «Комаров» и «Мух» было безумием. Ерёма уж тогда был литературным классиком, «изобретателем прожектора» и проектировщиком гальваноластики лесов. А я... Я был никем, сценаристом единственного фильма, который, правда, очень понравился Андрею Тарковскому.

Но у меня был опыт пятилетнего обучения в сценарной мастерской ВГИКа, где занятия были построены так же: я читал, а меня били. Ногами, стульями, кастетами и всем, что попадалось под руку. А здесь... Неужели будет хуже? Меня выпустили читать первым, потому что рядовые всегда идут впереди генералов. Я и прочел... Драйвом и глоткой я заменял качество. И Ерёма слегка прижух, потому что я его явно перекричал. Потом провокатор Паршиков (Алёша, как тебя не хватает!..) говорил мне со смехом, что акция удалась. Я был использован как таран против литературного конкурента и доказал ему, что любой идиот с улицы (I am) может указать генералу: ваше место у параша!.. Что было, конечно же, не так. Ерёма это Ерёма, и никто, даже Паршиков, этого не оспорит.

На обсуждении меня ругал только Бунимович, а я огрызался, потому что не знал, что передо мной — будущий депутат московской городской Думы и вообще — приличный человек. А если бы знал, то я бы, конечно, ничего из своего не читал, а прочел бы вслух того же Бунимовича: «В духовом шкафу играет духовой оркестр.../ На скамейке подсудимых нет свободных мест...» Сейчас эти строки стали особенно актуальны.

Где я, люди, куда я попал?.. Передо мной сидело десятка два талантов: Шатуновский, Аристов, Кутик, Бунимович, Строкань, Друк, Паршиков, Немировская, Строчков, Левин, Ерёменко, Гуголев, Байтов, Литвак... Да разве всех перечислишь? Что я здесь делаю, куда мне до них?..

Но я буду не хуже. Нет, я буду лучше. И хоть это и невозможно, но я не ударю лицом в грязь и стану им своим до конца жизни.

...На улице — весенняя оттепель. Мы идем по темной Тверской (тогда — улица Горького, она же Пешков-стрит) вместе с Володей Друком после заседания студии. Я в кого-то влюблен. Он — тоже. И я начинаю петь хриплой глоткой: «Я хочу быть с тобой... Я так хочу быть с тобой!..» «Наутилуса». Володя вторит мне, потому что тоже кого-то любит. Что-то про комнату с белым потолком, с видом на надежду... И надежда есть. Мы — гении, и, конечно же, укатаем этот прогнивший мир к чертовой матери.

3

Главный феномен студии Ковальджи — высокая конкурентность, которая переросла в дружбу. Я всегда знал, что не напишу так, как Шатуновский, а Марк всегда знал, что проиграет в популярности Бунимовичу. А Нина Искренко, пришедшая в студию позднее, была уверена, что Дмитрий Александрович (Пригов) всегда напишет больше и смешнее... Откуда такая концентрация одаренности, заставлявшая работать каждого, чтобы быть круче?..

Причина ее — не только висевший в воздухе слом эпох (перестройка), который все и прихлопнул. Главная причина — особого рода одаренность руководителя кружка. Ковальджи не был хорошим поэтом, но он был много больше: он был благожелательным человеком, от которого как-то само собой отлипали графоманы, а прилипали мухи другого рода, — мы, которые потихоньку превращались в плодоносящих пчел. Я такого больше не видел. Поначалу меня передергивало от «пошлости» рассказов Кирилла Владимировича, которые упирались в его собственное творчество. Какой там Ковальджи, когда есть Ваня Жданов с его полетом, что летит без птиц?.. Но только

много позже я осознал, что полет без птиц возможен, в частности, оттого, что есть на свете такие люди, как Кирилл. Их мало, но они есть. И при них, при такой крыше и в такой атмосфере товарищества можно было даже осуществить старт без бегуна. В общем, «Какое время было, блин, какие люди были, что ты!.. О них не сложено былин, зато остались анекдоты...» (И.Иртеньев).

Вне студии кружились голосистые чуваки, которые были готовы разорвать тебя на части. Например, заединщики. Они же — возрожденческая плеяда. Им сказали, что нужно бить жидов, и они покорно с этим согласились. Под категорию жидов попал даже я, который одной своей фамилией мог опровергнуть их порыв и намекнуть на антифа... Взрослые тети и дяди манипулировали молодыми, натравливая их друг на друга. Они хотели удушить нас рубцовской леской, но у нас был в руках мандельштамовский молоток, и кровавая битва захлебнулась, не начавшись. Лично меня они обещали расстрелять за измену Родине (вечер в ЦДЛ), но почему-то не расстреляли. Он же, Ковальджи, не кусал, не бил и не облизывал — он просто пытался протолкнуть нас в печатную поэзию.

Сия горькая чаша коснулась даже автора этих строк. Вдруг у одного именитого консультанта журнала оказалась моя тощая подборка текстов (Ковальджи подсунул), где были довольно странные сюжеты. Например, рассказ про раскручивающегося в пространстве петуха, который оказался не птицей, а спиралью галактики. Тут были строки, испугавшие Кирилла Владимировича. Они же впервые обратили его внимание на мою персону: «...Лишь чёрное небо, что, судя по звёздам, составлено из одних примечаний...» Легализовать мои звезды-примечания было поручено крупному поэту типа Кушнера (но не Кушнеру), фамилию которого я сейчас позабыл. Он долго составлял мою первую публикацию, терпеливо объясняя, почему она столь плоха. Там был в частности «Иоанн Креститель», который нравился Паршикову: «Он по плечи вошёл в Иордан, и на миг появилась голова на шершавом подносе...» Но кончилась эта история вполне заурядно: поэт сказал мне, что я — пижон. Что подборка моя вполне пижонская. Что, кроме пижонства, я не ставлю перед собой никаких других задач. Я — сын пижона, и дедушка мой был пижон. Поэт, конечно же, не знал, что именно мой дедушка-пижон умер в вагоне для скота в сорок четвертом году, когда товарищ Коба выслал за что-то крымских татар и греков в Сибирь. Но, с другой стороны, разве пижон не может умереть от голода в вагоне для скота, когда его, пижона, не кормят несколько недель?.. Может. И крыть мне было нечем. Кроме того, добавил мой благодетель, жена сказала, что «ваши фильмы есть подражание американцам». Я до сих пор жалею, что не сообщил это мнение Сокурову. Александр Николаевич, думаю, долго не мог бы прийти в себя от изумления... В общем, на моей легализации был поставлен тогда жирный крест.

Я рассказываю это лишь до того, чтобы доказать: порядочность Ковальджи есть не только добродетель, но и талант. Он не крыл нас американцами, не называл пижонами, не раздувал комплекса неполноценности. Его благожелательность создавала возможность выдумывать новые миры. На моих глазах создавалась художественная артель, где в одиночку каждый был почти слаб, но вместе мы представляли определенную силу.

И эта сила выстрелила в перестройку. Правда, выстрел был странным. Он убил не только тех, кто косил под Есенина. Он убил нас самих как общность. И потому сильно походил на суицид.

4

Первый «Испытательный стенд» «Юности» 87 года (подборка авангардистов, в том числе и меня) определил в чем-то направление молодежной поэзии на несколько лет вперед. «Стенд» был в основном сформирован из участников студии Ковальджи. Тут же подоспел и «Новый мир». Он озаглавил подборку совместных творений «Испорченный калейдоскоп», намекая, что мы все — порченые. То ли сифилитики,

то ли жида... А скорее всего, и те, и другие. Строчка была взята из моего текста «Прогулка наоборот»: «...Испорченный калейдоскоп заменит им луну в ненастье...» Уже тогда в мое сердце закрался вопрос: а не разводят ли нас? Здесь было два тревожных момента. Во-первых, чего нас испытывать? Мы что, самолеты МиГ или межконтинентальные ракеты?.. Мы — всего лишь люди и, кажется, слегка состоявшиеся на ниве поэтического слова. И потом — эта «порча». На нас был сразу налеплен негативный ярлык. И нас воспринимали гуртом, командой, палатой в желтом доме. Выделиться из этой палаты и стать «настоящим буйным» было непросто.

Уже тогда прошумел наш поэтический вечер в клубе сигаретной фабрики «Дукат». Его участников пропиарили «Свобода» и «Голос Америки».

Контора вздрогнула и проснулась. Однажды вечером мне позвонил Иргеньев. «Дмитрия Александровича взяли, — услышал я в трубке знакомый голос Игоря: — Я уже сжег свои рукописи. А ты?..» А я... А я — нет. Я творил в это время что-то новое, поскольку после «Дуката» был почти знаменит.

За окном была египетская тьма. Я начал лениво думать, сейчас ли мне жечь свои труды или потом... И где жечь? Выбор пал на балкон. Я отнес туда свои рукописи, напечатанные на пишущей машинке «Москва», облил их ацетоном и зажег. В комнату пошел едкий дым, — мои труды пахли скверно. Я затушил рукописи водой, понимая, что подвиг Гоголя мне не по плечу.

Дмитрия Александровича вскоре выпустили. С Лубянки его отправили в дурдом имени Сербского. И уже оттуда его изыла Белла Ахатовна Ахмадулина и «взяла на поруки» как нервическую личность, которую можно лечить дома.

А потом наступило нечто совсем новое и настолько враждебное студии Ковальджи, что поначалу мы все терялись в догадках. Мы же вроде звали свободу... Во всяком случае, в изящной словесности, так почему эта свобода поворачивается к нам, извините за выражение, своим седалищем?.. Знаки совершенно иной ситуации в искусстве были повсюду. Но меня более всего поразил опрос читателей в популярном светоче свободы под названием «Московский комсомолец». Там опубликовали топ под названием «Лучший композитор XX века». Я думал, что столкнусь в списке со Стравинским и Шостаковичем, Прокофьевым и Бартоком. Ну, на худой конец, с Дунаевским и Ленноном с Маккартни. Но я ошибся. На первой позиции как лучший композитор уходящего века стоял Игорь Крутой.

Это было шоком. Лучшим был признан вообще не композитор и не музыкант. То, что его фамилия написана под некоторыми треками в исполнении Пугачёвой, еще ничего не доказывает. Его можно назвать менеджером, организатором «фанеры» постсоветской попсы, которая открывала рот, имитируя пение на стадионах. Но лучшим композитором... Нет. Это немыслимо!..

Позднее мне сказали, что анкета была хорошо заплачена. Но за анкетным опросом, и я это чувствовал, скрывались вполне объективные и правдивые вещи.

Демократия, даже в кастрированном российском виде, требует демократического искусства, понятного миллионам. Формальная власть народа предполагает неформальную народность. И любой крутой (не Игорь) будет на шаг впереди любого заумного Бартока, а Андрей Дементьев уложит мизинцем Жданова, Парщикова и прочих экспериментаторов с собственной жизнью.

Выяснилось, что демократическое искусство (попса) враждебно даже заединщикам (славянофильский лагерь). Она играет на понижение и поэтому всегда выигрывает. И только распятая собственной бюрократией Советская власть с ее стандартами классического искусства дает ограниченное пространство для существования метареализма, концептуализма и прочих изысков, не превращая их в маргинальные секты для десяти человек. Демократия кормит бигмаками, и у потребителя, привыкшего к фастфуду, конечно же, откажет живот, если он пойдет в хороший ресторан. Если обыватель выбирает президента, то почему он не имеет права выбирать искусство? Он и выбирает. Соответственно своему образовательному цензу.

Мое поколение застало вегетарианский период Советской власти (без массовых

посадок), где по телевизору читали Пушкина и Твардовского, и под эти образцы подтягивалось все остальное. Пушкина насильно навязывали, не вдаваясь глубоко в строчки: «...Пока свободой горим, пока сердца для чести живы...» Это было изнасилование слушателя, но изнасилование высоким образцом. А без изнасилования, при *добровольном* выборе Барков будет всегда впереди любой литературы для думающих. Потребительский подход прихлопывает качество продукта, как муху. И если подходом еще и манипулируют (маркетинг), то результат вообще может быть любым.

В доступной культуре сегодняшней России вы не найдете следов ленинградского рок-клуба. Он первым был прихлопнут той свободой, которую так звал. В интернетовской поэзии (спасибо электронике!..) вы почти не обнаружите осколков литературной студии Кирилла Ковальджи. А те фрагменты кораблекрушения, до которых можно дотянуться, используются в другом контексте. Так, Нина Искренко, домашняя хозяйка и верная жена, стала воплощением феминистской свободы, где оргазм в 50 лет рассматривается как благо, в особенности если он достигнут без помощи мужчины. Назвать фамилии авторов?.. Еще чего!.. Назовете сами, а то вы совсем обленились.

Можно подумать, что я агитирую за искусство концлагеря, где с утра вместо баланды подается Бродский, в обед, — Парщиков, а на вечер — Пригов с Иртеньевым. Что вы!.. Как вы могли такое подумать? Я агитирую даже не за концлагерь, а за газовые камеры. Загонять потребителя в них будет Друк. Принимать последнюю исповедь — Шатуновский. А включать газ — Бунимович... Сам же я останусь в стороне от всего этого, поскольку я — противник всякого насилия. В крайнем случае, я поставлю жертвам высокого искусства музыку Игоря Крутого.

5

Участники той студии до сих пор живы и кое-как работают. Они не стали ни палачами, ни жертвами, и это хорошо. Марк Шатуновский написал в начале века (нынешнего) поэтический текст про фашизм как лучшее моеющее средство. А позднее сочинил «Заблудившуюся войну», в которой точно отобразилось то, что переживает Россия сегодня.

Евгений Бунимович, наиболее социализированный из нас, получает призы на международных поэтических конкурсах и штурмует социальные пики дозволенного либерализма.

Владимир Аристов продолжает сочинять стихи и пытался стать членом нового литературного проекта, от которого известен только манифест. Алексей Парщиков умер в Германии, оставшись Апостолом для избранных. Жданов считается литературным классиком и недавно получил за это нож в спину, а Саша Ерёмченко заболел¹...

Я же живу так же, как и жил во времена Пушкина, с небольшой только разницей. В маленькой комнате 22-метровой квартиры свалены мои многочисленные призы за кино и литературу. Отечественные и иностранные, в статуэтках и на бумаге. Они пылятся под письменным столом, они стоят за книжной полкой со стихами моих товарищей по студии Ковальджи. Мы все теперь широко изданы маленькими тиражами, и я не знаю, что изменилось в мире после этого. Потому что последствия COVIDa видны всем, а последствия рифмы «ботинок-полуботинок» видны лишь тем, кто знает контекст ботинка.

А контекст его — в том, что ни прошлое, ни настоящее время не является для нас *своим*. По времени можно ходить в сапогах, ботинках или кроссовках. Но все равно споткнешься и разобьешь нос о какую-нибудь малость.

Например, о собственную ненужность и тоску по настоящей жизни, до которой ты то ли не добрался, то ли прозевал простой факт, что живешь именно в ней...

Публикация Ольги КАТАЕВОЙ-АРАБОВОЙ

¹ Александр Ерёмченко умер 21 июня 2021 года. — Прим. ред.

Юрий Арабов

Звезда НиштЯК

Воскрешенье Иуды

4 евро назад
мне стукнул полтинник.
А 8 евро назад
я пошёл в детский сад.
Там я встретил букет из невинных рептилий —
инфузории в тувельках шли на военный парад.
Грипп ещё не родился, собака не знала намордник,
мощи в гранитной коробке доказывали, что чудо
может сделать любой, например, землекоп или дворник.
Мне сказали, что Бог не воскрес, а воскреснет Иуда.
В воскрешенье Иуды поверило полстраны.
А с другой половиной было не всё в порядке —
она колосилась, как сор, поперёк грядки,
и, чтобы в неё наступить, закатывали штаны.
Она была холодней, чем в прозекторской — потолок,
горячее, чем лёд, и прохладнее корвалола.
По ней не ходили ни Маркс, ни Игнатий Лойола,
и каждая ходка была на предельный срок.
Можно было скостить по УДО, если бегать не лень...
«Наконец-то Иуда воскрес, — мне сказал участковый, —
это и есть настоящий прогресс, а не ваша трень-брень,
выглядит, правда, как труп, но что здесь такого?..»
Так сказал участковый, следящий за улицей Морг.
Он был вещью в себе и одет в галифе-шаровары.
Штангенциркуль (оружие троечника) был в канцтоварах.
Я его прикупил и сражался с черчением, как мог.
Мне вручили военный билет, аттестат и диплом,
стёрли кровь с молоком, прилепили депру и напасти.
Раньше был «Гастроном», а теперь тут построили молл,
где для баб продаются трусы, а для прочих — запчасти.
И воскресший Иуда гоняет народ топором,
но внутри его — пряник, чуть чёрствый, как честное слово.
Ты живёшь при пришествии чуда, а смотришь ослом...
Что тут можно сказать? Только вновь перечеть Богослова...

Звезда Ништяк

Если раньше тебе светила звезда Полюнь,
то теперь тебе ярко светит звезда Ништяк.
Реновации — мимо, и газ православный зарин,
есть повод, чтоб выпить, но что-то с тобою не так.
Это «что-то» всего лишь деталь, невидимая в микроскоп,
услуда натуралиста, на воздух набрасывающего чулок.
В чёрном небе — остатки маршальского мундира:
то сверхновая гавкнет, то вообще не найдёшь командира...
Настасья Филипповна — плохое кино и курьёз,
князь Мышкин пошёл на сцену и скоро получит ленту.
Они ведь тебе не ровня, так что ты принял всерьёз
дары простаков-волхвов?.. Они принесли не ренту.
И звезда Ништяк, возможно, равна дыре,
то ли чёрной космической, то ли слегка вагинальной.
И кто из неё родится в рубашке или коре,
огурец-Капитолий иль просто ремонт капитальный?..
Я б из двух выбрал лучше звезду Полюнь,
она честнее лубочного позитива.
Она — эсперанто, понятнее, чем псалтырь.
Ведь Бог теперь говорит не с помощью нарратива.
И если звезда Полюнь отдаёт тебе то, что может:
ядовитую воду, нуклиды, атомный перманент,
то звезда Ништяк распрямляет тебя, как хочет,
если даже сутулый, как арбалет.
С нею опасно играть в непонятки и фанты,
она начисляет гранты, ты должен быть на виду.
А потом на сухие ветки хипстер повяжет банты,
и ты с новогодней ёлкой в одном ряду.
И если Господь со своей славой
едет в первом вагоне с конца состава,
то твой бизнес-класс ему явно не в кайф...
Но это не значит, что кончится дольче лайф.
Это не значит, что гавкнет, как пёс, внезапно
всё, что приносит тебе миражи в пустыне:
видишь оазис, лес, и дева идёт, как цапля,
но как ты догонишь её на своей дрезине?..
Ты думаешь, что упадёшь всей тяжестью баобаба,
мир заплачет, солдаты выстроятся в каре...
И кто-то гитару возьмёт, как чужую бабу,
и на бёдрах подцепит ми или ре...
Но в сухом остатке тебя никто не заметил,
не заметят жизни, заметят лишь полный крэш.
И звезду Ништяк, сорвавшуюся с петель,
на мусорном полигоне засунут обратно в печь.

Жизнь прошла

В старости делаешься суетливым,
Боишься быть сукою или гением,
Выглядеть сонным или пытливым,
Менять окраску и оперение.

В старости делаешься незнакомым
Тому, кто пользуется дензнаками.
Пьёшь чай и дружишь с вором в законе,
Когда по телеку он калякает.

В старости ходишь в стеклянной каске
адресной помощи и одеже
с прожитой жизни... Железной маске
всегда не хватает слоновьей кожи,

той же, что в юности, но иначе:
смерть — биссектриса или константа.
К тебе подкатился весёлый мячик.
Ты бьёшь... а это была граната.

Беззубый Вася, счастливый зять
своей могилы... ну что ты воешь?
И ты не можешь никак понять,
что Бог, он, в общем, тебе не кореш.

Ты рос изгоем, но был везде,
Читал, работал, блудил с астралом...
Так, церковь, сделанную без гвоздей,
Подбивают гвоздями, чтоб не упала.

Александр Васькин

Булат Окуджава:

«И расцветёт Москва от погребов до крыши»

Сто лет тому назад в Москве на свет появился Булат Окуджава. Как и положено коренному арбатцу, — в роддоме Грауэрмана на *Большой Молчановке, 5* (современный адрес бывшего роддома — *улица Новый Арбат, 7*). Многие полагают, что раз и памятник поэту стоит в Плотниковом переулке, то и сам он прожил здесь всю сознательную жизнь. Однако это не так — к счастью, ибо начавшееся в 1960-х годах разрушение родного Арбата было для Окуджавы как нож в сердце: «Арбат оставался Арбатом до той поры, пока не прорубили проспект. Его прорубили — и Арбат сразу выдохся и закис...» Потому кажется неслучайным, что большая часть московской жизни Окуджавы связана с другой Москвой, куда мы и отправимся.

Один из первых московских адресов, куда в июле 1924 года принесли новорожденного Булатика, это... швейная фабрика, бывшая *Трёхгорная мануфактура*, в парткоме которой трудилась его матушка Ашхен Степановна (урожденная Налбандян). Почему младенец в парткоме? Не в партию же его решили принять! Оказывается, сына коммунистов решили крестить, но по новым советским антирелигиозным обычаям. Называлось это «октябрины». В автобиографическом романе «Упразднённый театр» Окуджава описывает коммунистические крестины «в цехе Трёхгорной мануфактуры, украшенном кумачовыми полотнами». Когда его мать «вступила в цех под звуки заводского духового оркестра, игравшего не очень слаженно “Вихри враждебные веют над нами...” Станки были остановлены. Работницы стояли плотным полукругом. Пожилой представитель партийного комитета сказал речь. Он сказал так: “Мы исполняем наш красный обряд. Мы отвергаем всякие бывшие церковные крестины, когда ребенка попы окунали в воду и все это был обман. Теперь мы будем наших детей октябрить, и без всяких попов. Да здравствует мировая революция!..”».

Само собой, Окуджава, тогда не более двух месяцев от роду, вряд ли мог запомнить подробности «октябрения»: «Оркестр, игравший вразнобой, не вызывал в нем счастливых эмоций. Его звучание воспринималось всего лишь как шум жизни, перемешанный с речами, смехом и отдельными выкриками. Склонявшееся над ним пунцовое лицо его мамы с карими миндалевидными глазами виделось расплывчатым пятном, когда он на миг просыпался». Вероятно, мама впоследствии рассказывала. «И когда он подрос и узнал, что его, оказывается, октябрили, он ощутил гордое чувство единственного, не похожего на других избранника, отмеченного тайным знаком. Крещеных вокруг было множество — он же был октябрёным. И это, как ни странно, в позднем детстве, в отрочестве и даже в юности придавало ему в собственных глазах ощущение преимущества и даже превосходства». А от того цеха, где ребенок получил коммунистическое крещение, остался лишь адрес — *улица Рочдельская, дом 15*.

«Октябрение» не пошло впрок. Хотя Окуджава и вступит сознательно в партию в 1956 году, но уже через два года поймет, что «не туда попал». Он не только не стал убежденным коммунистом, его однажды даже исключили из КПСС — свои же коллеги-писатели... А в октябре 1993 года он решил не отмалчиваться. И самое поразительное, что те трагические события, радикальной оценки которых многие до сих пор не могут Окуджаве простить, разворачивались бок о бок с местом его «крещения». Да, не зря есть у него такая строка: «Всё чревато повтореньем...»

После «октябрин» младенца вернули в лоно Арбата. Но судьбе все же было угодно периодически отрывать Булата Шалвовича от родной улицы — и потому учился он не только в близлежащей школе № 69 в *Дурновском переулке* (современная *Композиторская улица*), но и в школах Тбилиси и Нижнего Тагила... «Я — легкомысленный грузин», — сказал он однажды про себя. Отец Окуджавы Шалва Степанович был крупным партийным работником, и семья ездила вместе с ним туда, куда его посылал ЦК. *Адом 43 на Арбате*, в котором жил поэт (на четвертом этаже в коммунальной квартире № 12) выстроен, а точнее, перестроен в 1934—1936 годах по проекту архитектора В. Чагина. Здесь после ареста отца в начале 1937 года их осталось четверо: Булат с братом, мама и бабушка. Затем пришли и за мамой, увезли на черном воронке. Забирали людей, как правило, ночью...

Война разлучила Окуджаву с Москвой почти на пятнадцать лет, вобравших в себя и фронт, и учебу на филологическом факультете Тбилисского университета, и дальнейшую работу в сельских школах Калужской области. (Какая все-таки занятная жизнь была в СССР: Булата Шалвовича могли бы распределить на работу в школу Тбилиси или Кутаиси, а отправили в Россию, пойдя на встречу его просьбе.) Первые стихи Окуджавы, ставшие песнями, были навеяны войной, тяготы войны нашли свое отражение и в его прозе. Новое поколение — молодежи, талантливой и самобытной, прошедшей войну, — буквально ворвалось в советскую литературу. В своеобразном «поэтическом» взводе Булат Окуджава занимает отдельное почетное место. Кроме того, он стал и самым поющим советским писателем — бардом. Первые импровизированные концерты пришлось на ту пору, когда он в 1956 году после реабилитации репрессированной матери вернулся в родную в Москву, устроившись работать в издательство «Молодая гвардия» на *Суцёвской улице, дом 21*. Еще одно место его работы — отдел поэзии в «Литературной газете» в 1959—1962 годах, *Цветной бульвар, дом 30*. Один из современников утверждал, что Окуджава был похож на орла в клетке — настолько тесно было ему в маленьком кабинете. Тесно не только в физическом смысле, добавлю я, но и в творческом. Неудивительно, что в 1962 году он покинул свою «клетку». Навсегда.

В конце 1950-х Окуджаву часто можно встретить в литературной студии «Магистраль» при Центральном доме культуры железнодорожников. Его первое выступление там произвело весьма сильное впечатление на начинающих литераторов. Один из них, Феликс Гохман, вспоминал:

«...Появился худощавый черноволосый молодой человек в сером свитере. Он взял гитару и начал петь. Мы были ошеломлены. Этот парень пел то, о чем все думали, но не могли этого выразить. Может быть, и боялись. Мы только-только начали учиться откровенно говорить друг с другом. Впечатление от его выступления было настолько сильным, что, когда Булат Окуджава кончил петь, мы не могли прийти в себя. Это была настоящая революция в сознании, мы вдруг почувствовали себя свободными людьми. Не стоит забывать, что прошло только лет пять со дня смерти Сталина. Когда мы вышли из зала, старушки-гардеробщицы громко перешептывались: “Это ж надо до чего дошли — про черных котов поют! Совсем народ распустился!”

После этого вечера мы возвращались домой пешком: хотелось обсудить услышанное. Впоследствии мы с ним встречались всего несколько раз, но та, первая встреча была одним из самых значительных впечатлений в моей жизни. После этой

встречи я начал откладывать деньги на магнитофон и купил огромный катушечник “Днепр” — в первую очередь для того, чтобы записывать новые песни Окуджавы. Никаких пластинок еще не было, о книжках тогда мечтать тоже не приходилось. Вскоре вышел сборник “Тарусские страницы”, в котором была опубликована первая повесть Булата Окуджавы. Было видно, что в литературу пришел новый человек, талантливый писатель.

Спустя несколько лет, на вечере Булата в Политехническом, я обратил внимание на то, что там, в огромном зале, он держался так же просто и естественно, как и в крохотном зальчике нашего объединения. Мы воспринимали его, с одной стороны, как потрясающе талантливого человека, а с другой — как абсолютно своего. Он был символом того времени “шестидесятников”: ведь он воплощал в себе все наши тогдашние надежды. Он говорил, как и пел, негромко, спокойно. Своим тихим голосом он говорил правду, и так хотелось подстраиваться под него. Для нашего поколения этот человек олицетворял собой порядочность, честность, правду... Молодой, тощий, с огромной шевелюрой. Ходил он в “Магистраль” довольно часто. Вначале просто читал свои стихи. Играть на гитаре еще стеснялся. Затем начал петь свои песни под гитару. Первый такой концерт состоялся в “Магистрале”. Слова были замечательные, а петь Булат еще не умел. Конечно, по нашему обыкновению после выступления мы немножко поспорили, чего греха таить. Это было в порядке вещей. Окуджава был “свой”, его ругать не стеснялись. Затем были выступления на открытых площадках. Помню такое выступление в парке “Сокольники”...»

Литстудия «Магистраль» находилась на *Каланчёвской площади, дом 2*. Руководителем и вдохновителем ее был поэт Григорий Левин, в его квартире на *улице Мархлевского (ныне Милютинский переулок)* молодой Булат также пел свои песни на домашних концертах. Инна Лиснянская была среди зрителей, когда «запел густо кучерявый, худенький, смуглый на вид юноша “Из окон корочкой несёт поджаристой...”» Пел Окуджава, вспоминала Лиснянская, «долго, не отнекиваясь, не ломаясь, спел все, что к тому времени у него было. Я же была так потрясена, что не запомнила, кто еще в тот вечер его слушал. Да, я так была ошеломлена, так всем слухом поняла, что перед нами совершенно новое явление в поэзии, что в тесноте, где мы потом выпивали, даже не решилась поблагодарить. И только когда мы с ним прощались у открытых дверей в коридор, я, чувствуя, как вся заливаюсь краской, выпалила: “А вам никто не говорил, что вы похожи на молодого Пушкина?” Окуджава тоже покраснел и как-то сконфуженно огляделся». А ведь и правда похож! И мог бы даже сыграть его в кино... Во всяком случае, сценарий он написал: «Частная жизнь Александра Сергеевича...» А про Григория Левина Окуджава говорил: «Он меня сделал».

В марте 1960 года состоялось скандальное выступление барда в Доме кино, что находился тогда на *улице Воровского, дом 33 (совр. Поварская)*. Адрес, печально известный: в 1958-м писательское собрание расправлялось здесь с Борисом Пастернаком. Но сам по себе концерт на сцене Дома кино — это было почётно. Выступление закончилось преждевременно — неожиданным уходом со сцены. В субботний вечер отдыха разношерстная аудитория, судя по всему, оказалась не готова внимать песне «Вы слышите, грохочут сапоги». То ли много выпили, то ли, наоборот, мало, но Окуджаву освистали. Юрий Нагибин вспоминал в дневнике 3 октября 1969 года, как «он плакал в коридоре Дома кино после провала своего первого публичного выступления. Тогда я пригрозил ему, устроил ему прекрасный дружеский вечер с шампанским и коньяком». Нагибин признавался, что в молодости «был в плену у Окуджавы».

Совсем иначе закончилось не согласованное с «вышестоящими инстанциями» (что уже удивительно!) выступление Окуджавы в июне 1961 года в кафе «Артистическое» в *проезде Художественного театра, дом 6 (ныне Камергерский переулок)*, напротив МХАТа. Объявлений в газетах не давали — сарафанное радио служило главным источником рекламы, что сулило присутствие исключительно «своих» людей

и отсутствие лишних, способных донести куда следует. «Самого поэта, никогда мною не виденного, я распознал сразу. Конечно, по грузинской романтической внешности. Хотя на грузин, постоянно толпившихся в те годы на ступеньках Центрального телеграфа и методично вышагивающих вниз и вверх по улице Горького, он походил мало. Да и одет был не в их стиле, то есть не в кожу и не в замшу, служившие им униформой, а в какой-то пиджачок букле гэдээровского либо польского производства... А в ногах у поэта стоял огромный студийный магнитофон, старомодный даже по тем временам, неподъемный даже на вид... Всю окружающую обстановку — лица, костюмы, предметы — я замечал лишь до той поры, пока поэт не взял в руки гитару. А потом я уже ни на что не обращал внимания», — вспоминал журналист Анатолий Макаров.

Организовал это выступление в кафе очень необычный персонаж — Александр Асаркан, в своем роде домовый «Артистического» — бродячий философ, театральный критик и обаятельный человек, имевший огромное влияние на определенный круг московской интеллигенции, в основном поколение шестидесятников (из тех, что выехали на Запад и там состоялись). Некоторые до сих пор называют его своим духовным гуру и наставником. За плечами у тридцатилетнего Асаркана была короткая отсидка в психбольнице в 1952—1953 годах, придававшая ему дополнительный ореол мученика. Он же договорился и о выступлении Окуджавы (импровизированном концерте) в театре «Современник», что в 1960-е годы находился у метро «Маяковская», в доме 1 на Триумфальной площади.

Еще об одном (а было их множество) московском «домашне-концертном» адресе — на Плющихе — сам Булат Шалвович вспоминал так: «Это случилось в пятьдесят девятом году. У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.

Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым. Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь. И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника... И звон стекла, и криканы, и вздохи — и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этакий ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток».

Когда все напились и наелись до отвала, наступил черед Окуджавы: «В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и волновался: очень хотел угодить слушателям.

— Что же мне вам спеть? — спросил я, перебирая струны. — Что-то сразу и не сообразу...

— Может быть, “Сапоги”? — шепнул кто-то из своих.

Я подумал, что “Песенка о сапогах” — это военное. Это не ко дню рождения... И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.

— Ну, “Неистов и упрямя...”, — подсказали снова.

— Нет, — сказал я, — начну-ка с “Последнего троллейбуса”... Все-таки московская тема...

Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.

“Когда мне невмочь пересилить беду...” — запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет “Песенка о Лёньке Королёве”.

Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская. Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: "...И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает..." — и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

— Веселую давай!.. "Цыганочку"!..

— "Цыганочку"! — загудели гости, и кто-то затыкнул "Ехал на ярмарку ухарь-купец..."

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул за руку и прошипел:

— Пошли отсюда!.. — И повел меня насильно в прихожую. — Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.

— Я не хотел тебе говорить, — сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице. — Когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано — "гитарист"!..»

Случай забавный и поучительный, что и говорить.

А ведь это была та самая Плющиха, ставшая однажды для маленького Булатика новой и чужой планетой. Ему было пять лет, когда он заскочил в трамвай, уехав с родного Арбата в неведомое. Проехав одну остановку, вышел на Смоленской площади: «И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия...» Но как-то раз он не смог выйти на Смоленской и проехал дальше: «Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно...» Трамваи всегда возвращаются, в отличие от молодости...

Выступал Булат Шалвович и в аудитории *Политехнического музея*. Летом 1962 года он участвовал там в съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», во время поэтических чтений.

Концеты Окуджавы проходили в 1960—1980-е годы не только в актовом зале НИИ, но и в хорошо известных поклонникам бардовской песни Домах культуры — «Прожектор», «Меридиан», «Москворечье», имени Горбунова, имени Зуева, клуб МГУ на Моховой, — и даже в *Музее Паустовского на Яснополянской улице*, а также на других площадках, которых десятки, если не сотни в Москве. Гроздьями рассыпаны они на карте столицы — если бы каждый дом отмечать мемориальной доской, то Окуджава наверняка обогнал бы в этом незримом соревновании Ленина (на память о котором потрачены, наверное, тонны гранита и мрамора).

«На Тверском бульваре», «Песенка о Лёнке Королёве», «Песенка о полночном троллейбусе», «Не бродяги, не пропойцы», «Песенка о комсомольской богине», «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» и многие другие песни принесли их автору широчайшую известность. Народ активно осваивал гитару, стараясь петь «под Окуджаву». А сколько он вдохновил на творчество — начиная с Владимира Высоцкого! Хорошую службу сослужило «параллельное» увлечение в Советском Союзе магнитофонами-«бобинниками» — на выступления Окуджавы их приносили, чтобы сначала записать, а потом не раз и не два переписывать «пленку» для друзей и знакомых. Да и на черном рынке его записи были в большой цене.

А где в Москве впервые случилась «домашняя» запись песен Окуджавы? Остались свидетельства человека, первым увековечившего так знакомый нам голос на магнитной пленке. Стоял когда-то в районе *Каретного ряда* старый дом, от него остался лишь адрес — *Оружейный переулок, дом 1/34. В квартире 34* проживала поэтесса Алла Рустайкис, та самая, что известна стихами к песне «Снегопад». Инна Лиснянская утверждает: «Именно в ее доме я организовала первую запись песен Окуджавы... Поэтов разных

идейных и художественных устремлений на Садовой-Каретной собралось и разместилось немало. Решили — каждый прочитает по стихотворению, на что уйдет одна бобина (кассет еще не было), а вторую бобину целиком заполнит Окуджава». В первом отделении свои стихи читали под запись Евгений Винокуров, Станислав Куняев, Владимир Корнилов, Андрей Вознесенский. И вот: «После краткого водочного перерыва Окуджава с гитарой вышел своей легкой, почти никогда не слышной походкой. Он поставил ногу на подножку стула и запел. Пел час-полтора, пел сосредоточенно и вдохновенно, время от времени прикладываясь к фляжке, которую я, запомнив про коньячок, поставила рядом — на рояль. Запись получилась замечательно чистая, ибо никто ни разу не кашлянул, не чихнул, не шаркнул ногой и т.п. Замечу, что несмотря на “оттепель”, Булат предусмотрительно в песне об Арбате слова “Ты моя религия” заменил на “Ты моя реликвия”. У нас была почти детская надежда: а вдруг бобина дойдет до них, и они тут же санкционируют большой вечер или же предложат выпустить пластинку». Какая наивность! Думается, что «они» в бобине не нуждались, ибо и так все слушали с помощью жучков...

Но и без пластинок творчество Окуджавы весьма быстро обрело массу почитателей, в том числе (что особенно важно) среди коллег. Очень тепло отзывался о Булате Окуджаве драматург Александр Володин: «В этих песнях звучала невероятная его душа. И тем самым он пронзал души многих и многих, — и нонконформистов, и коммунистов, мещан и поэтов, даже номенклатурных миллионеров... Чем пронзал? Болью своей души и в то же время — ощущением счастья единственной жизни, подаренной нам. Почти каждого в самой глубине души эти чувства нет-нет, а посещают».

Юрий Нагибин пишет: «Для меня — и не только для меня — песни Окуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем предметные и прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И для людей, несших на себя клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича».

Впрочем, Юрию Марковичу свойственно было часто менять свою точку зрения: «Булат избалован известностью, при этом неудовлетворен, замкнут и черств», — запись в дневнике от 2 ноября 1985 года. Или: «Столкнулись на улице с Окуджавой: доброе улыбающееся лицо, хорошие прозрачные глаза», — 4 ноября 1985 года. И в этот же день Нагибин записывает: «Булат превратился в окурок. Это мимикрия, он стал хорошо издаваться, ездит за бугор то и дело, его признание все растет, и чтобы его не кусали, он прикинулся совершенным дохляком-оборванцем. Вот то, чего я никогда не умел. А куда делись люди?» А люди продолжали слушать Окуджаву.

В 1956 году закончились провинциальные мытарства — Окуджава переезжает в Москву с женой Галиной Васильевной Смольяниновой (1926—1965) и сыном Игорем (1954—1997). Поселились они в доме на *Краснопресненской набережной, № 2/1*, в двухкомнатной квартире матери Ашхен Степановны. К тому времени она уже вышла после очередной отсидки (второй арест — в 1949 году и затем красная ссылка). В качестве «компенсации» за расстрелянного мужа и искалеченную жизнь родная партия дала ей квартиру в так называемом сталинском доме, что по тем временам считалось большой удачей. Иным выжившим в сталинской мясорубке и жить-то было негде. Память о годах, проведенных на Красной Пресне, хранит стихотворение «Весна на Пресне»:

У Краснопресненской заставы
весна погуливает власть.
Она врасплох меня застала,
водой под шинами зажглась,
шофер смеялся, зубы скалил,
гражданка в хохоте зашлась...

Помнит свой визит на Краснопресненскую набережную Инна Лиснянская: «Кормила нас армянской долмой мать Булата. Столько перенесшая в жизни Ашхен Степановна запомнилась мне высокой, прямоспинной, строголицей и молчаливой пожилой женщиной. Со сдержанной улыбкой она подкладывала нам на тарелки долму, от которой шел пар, остро пахнувший бараниной, мятой и кинзой. Ни лицом, ни статью Окуджава не был похож на свою мать. Разве что — строгостью. Он смолоду был строг и не слишком уж разговорчив». В тот день трапезу за столом разделили и другие гости: Андрей Вознесенский и Евгений Винокуров.

Спустя некоторое время семья Окуджавы переехала на *Фрунзенскую набережную*, дом 50 — сняли небольшую квартиру, куда уже вскоре гостеприимный хозяин вновь стал приглашать друзей и знакомых. Среди них оказались поэты Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев. Улица и номер дома были записаны на клочке бумаги, а вот квартира... ее номер куда-то затерялся, но это не убавило желания навестить Окуджава. «И мы стоим перед домом, а как найти Окуджава, не знаем. Тогда я, — вспоминал Евгений Рейн, — сказал Бобышеву: “Давай зайдем в три первые попавшиеся квартиры”. А это огромный дом на Фрунзенской набережной. “Если мы найдем Окуджава, значит, найдем, а нет, так пошли домой”. И вы можете себе представить, в третьей квартире мы нашли Окуджава! Он нас пригласил. А потом мы виделись очень часто, я бывал у него дома... Я всегда невероятно высоко его ценил. Считаю, что он был самым нашим лучшим бардом. Он сумел сделать что-то необыкновенное, он выразил, если можно так выразиться, внутреннее содержание моего поколения. Мне нравится и его проза, мне нравятся и его стихи, но это уже на втором месте. Я считаю, что он был гениальным шансонье, просто гениальным, и что мое время — шестидесятые, семидесятые годы — останется в песнях Окуджавы».

В другой раз в квартиру на Фрунзенской набережной нагрянул Наум Коржавин. Окуджава, зная, что коллега живет в далеких тогда Мытищах, предложил: «Пойдем ко мне ночевать. У меня коньяк есть, немножко посидим, поговорим». Ну как отказаться? Тем более что духовно они были близки, и не только потому, что оба воевали. «Сели, он разлил по рюмкам коньяк, мы долго разговаривали — тогда было о чем поговорить. Потом он предложил: “Хочешь, я тебе сейчас прочитаю?” И прочел стихи. Я ему сказал: “Понимаешь, Булат, эти стихи очень талантливы — ты знаешь, что я этим словом не разбрасываюсь. Но мне чего-то не хватает. Какого-то последнего обобщения, что ли...” Булат выслушал это, промолчал (он, как я потом понял, оперировать абстрактными понятиями не любил). Опять выпили, поговорили. И тут через некоторое время он предложил: “Хочешь, я тебе спою?” Снял со стены гитару и спел. Те стихи, которые раньше читал... Это не было его реваншем, он не хотел мне что-то доказать, а просто сначала прочел мне свои стихи, потом ему захотелось их спеть. Я был поражен. Только воскликнул: “Булат! Так мне вот этого как раз и не хватало!”», — рассказывал Коржавин.

Обзавестись собственным жильем было крайне тяжело, особенно молодым писателям. Ждать бесплатную квартиру от государства можно было до пенсии (или до реабилитации). Но чудеса случались — недаром одним из главных советских лозунгов был «Всё во имя человека, всё для блага человека!». Весной 1959-го радостная новость всполошила стройные ряды Союза писателей: у метро «Аэропорт» возводят новый жилищно-строительный кооператив! И не один дом, а несколько. Очередь из пайщиков

выстроилась большая. Ныне это *дома № 21—29 по Красноармейской улице*. Здесь в разное время жили как близкие по духу коллеги Окуджавы, так и те, в чьем присутствии и петь не очень-то хотелось. Он влез в долги, но на первый взнос сумел наскрести. Помог с деньгами и брат жены Галины. Только вот жить поэту там не пришлось — семья распалась, в 1964 году супруги развелись. Квартира осталась жене. К этому времени Булат Шалвович жил уже в Ленинграде. Дело в том, что в апреле 1962 года он встретил ленинградскую красавицу Ольгу Владимировну Арцимович, ставшую впоследствии его второй (и последней) женой. Встреча произошла на квартирнике — была такая необычная форма «культурно-массовых мероприятий», проводившихся для ограниченного круга лиц в домашней, семейной обстановке. Можно сказать, «камерной», хотя это слово имеет двойное значение, если употреблять его в несколько ином ключе.

Квартирник организовали в Шукино, где проживала советская научно-атомная элита. *В доме 26 на Пехотной улице* в гости к академику Льву Арцимовичу собрались послушать Булата Окуджаву умные и заслуженно увенчанные лаврами люди во главе с академиком Петром Капицей. «Могу вам признаться с абсолютной искренностью, что ко дню нашей первой встречи я не слышала даже его имени. Ведь я жила очень замкнуто, в семье физиков, в их кругу; с литераторами не дружила. Когда Окуджава только начал входить в славу, мой дядя его позвал в гости — попеть. Было много знаменитостей... Вот тогда я Булата увидела впервые... Вошел гений, и все. Жена не имеет права говорить о муже в таких выражениях. Но я тогда в самом деле понятия не имела, кто он такой, и потому с полным правом подумала: вот гений. И никогда с тех пор этой точки зрения не изменила», — рассказывала Ольга Владимировна в интервью журналу «Огонёк» в 2004 году.

На следующий день после квартирника Окуджава позвонил Ольге Арцимович, пригласив ее приехать в ресторан Центрального дома литераторов на *Поварской улице, дом 50/53*... Так судьба свела его с новой любовью, на время разлучив с Москвой. В Ленинграде Окуджава прожил около трех лет. Булат Шалвович, признавая суровую величавость Ленинграда, все же отдавал должное Москве, «характер» которой был ему «милее».

Следующим московским адресом поэта было *Ленинградское шоссе, дом 86, корпус 2, квартира 72*. И это неслучайно — связь с Ленинградом не прервалась хотя бы так. Друзей в новой квартире долго ждать не пришлось: «Однажды они с Олей пригласили нас в гости, но она неожиданно куда-то уехала. Он визит не отменил. Они жили тогда у Речного вокзала. Мы с Инной шли от метро и увидели Булата, стоящего на балконе своего девятого этажа. Так стоит в ожидании гостей хорошая хозяйка, у которой уже всё готово. Он сделал нам сверху ручкой. Была, помню, отварная осетрина, жареная нежная телятина. Инна спросила, а что бы изменилось, если бы была дома Оля? Он ответил, что присутствовали бы всякие украшения в виде травок. Однако и он потом к этому очень приобщился. Разные корешки и порошки присылали ему тифлиские родственники», — вспоминал Константин Ваншенкин.

В эту квартиру приходили и зарубежные гости. В частности, из Польской народной республики — так называлась тогда Польша. В этой стране к Окуджаве почему-то испытывали особенно теплые чувства. В Российском государственном архиве литературы и искусства отыскался вполне себе ординарный, на первый взгляд, документ: отчет о поездке делегации СП СССР в ПНР весной 1974 года¹. Однако из него виден большой интерес поляков к творчеству Булата Шалвовича, имевшего «ряд личных встреч и контактов с польскими издательствами и с отдельными польскими писателями и переводчиками» на Международной книжной ярмарке

¹ Отчет делегации СП СССР Я.Л.Акима, В.В.Голявкина, Ю.Н.Куранова, А.С.Левады, Б.Ш.Окуджавы о поездке в ПНР 14—28 мая 1974 г. — РГАЛИ. ф.631 оп.27 ед. хр.1671.

в Варшаве в мае 1974 года. Мало того, вся делегация советских писателей направилась домой «за исключением... т. Окуджавы». Остались и другие свидетельства, в частности, записи его выступлений, например, перед польскими студентами.

А в этот раз на Речной вокзал пожаловал вполне себе серьезный товарищ — член ЦК польской компартии Мечислав Раковский. Его привела знакомая — Галина Корнилова: «Я позвонила Булату, рассказала о своем польском госте, и он ответил мне:

— Пожалуйста, приходите. Но, понимаешь, есть одно осложнение: Оля уехала в Питер, и я не смогу сварить вам кофе...

— Ну, кофе-то я сама сварю, — успокоила я его, — и мы что-нибудь с собой к кофе принесем. Так что ты не беспокойся.

Мы повезли Раковского и двух присоединившихся к нему дам — полячку и переводчицу с польского — на Речной вокзал, где тогда в хрущобе жил Булат.

Первое, на что я, войдя в комнату, обратила внимание, была стена его кабинета, сплошь завешанная ключами разной величины и формы.

— Что это такое? — спросила я хозяина дома.

— Это ключи от гостиниц, в которых я останавливался. Из разных стран и городов.

— То есть, уезжая оттуда, ты просто забирал их с собой?! — изумилась я.

— Да. Именно так, — с невозмутимым видом отвечал Булат.

Гости расселись в большой комнате с низким столом посередине, а я, представив их хозяину, отправилась на кухню варить кофе.

— Кофе и джезва — на столе! — крикнул мне вдогонку Булат. — А сахар и чашки — в буфете!..

Я нашла в кухне всё что нужно, сварила кофе и, разлив его по чашкам, на подносе понесла в комнату.

— Оказывается, ты и кофе варить умеешь! — почему-то удивился Булат, отхлебнув из своей чашки.

Еще по дороге сюда наши гости признались, что им очень хотелось бы послушать хотя бы одну песню Окуджавы. Но Булат на этот раз петь решительно отказался.

— Мне сегодня петь трудно, — признался он. — Но вот если хотите... Мне только что прислали мою пластинку из Франции. Запись — замечательная. Я могу ее поставить...

Мы слушали французскую пластинку и, если бы при этом не видели молча сидевшего в кресле Булата, можно было бы подумать, что это его “живой” голос.

Но в конце этого вечера нас ждал сюрприз.

— Знаете, что... — вдруг сказал Окуджава, — я только что написал одну песню. Пока ее еще никто не слышал. Хотите послушать?

Разумеется, гости встретили его предложение с восторгом. Булат вышел из комнаты и вернулся с гитарой. То была песенка о Моцарте, которую спустя какое-то время пела вся Москва».

Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поёт,
Моцарт отечества не выбирает,
Просто играет всю жизнь напролёт...

Не та ли это французская пластинка, о которой вспоминают Татьяна и Сергей Никитины? «Мы познакомились с Булатом в 68-м. Намечался его вечер в ЦДЛ. Очень хотелось туда попасть... И вот удача — наш друг по физфаку МГУ Гена Иванов познакомился (на автобусной остановке!) с молодой француженкой по имени Вивьен. А у нее была пластинка Окуджавы, только что вышедшая в Париже. Как потом выяснилось, у самого Булата был только один экземпляр, и его жалко было

лишний раз проигрывать. Так вот, все мы прицепились к этой пластинке и таким образом попали на вечер Окуджавы в ЦДЛ. Какое это было счастье! Когда мы здоровались с Б.Ш., он вдруг спрашивает: “А это вы поете про пони?” (песня на стихи Юнны Мориц. — *А.В.*). И тихонечко так и абсолютно верно напевает: “Пони девочек катает...” Это было так неожиданно — сам Булат знает что-то из нашего...

Про концерт рассказывать очень трудно — кому довелось слушать Б.Ш., тот знает, что имеется в виду. Во-первых, каждый раз как впервые. Во-вторых, всё, что происходит, обращено прямо к тебе. А как передать ощущение лада, гармонии с одновременным пониманием трагичности этой жизни? И всё это — интонация Булата Окуджавы... После концерта все были в таком приподнятом праздничном состоянии, что казалось немыслимым не продолжить общение. В результате Б.Ш. со своей очаровательной Ольгой приглашают, в том числе и нашу компанию при пластинке, к себе на Речной вокзал. Кто-то ловит такой небольшой автофургон для уборки улиц, туда помещается большая компания, и рождается шутка: едем, замечая следы...» Татьяна и Сергей Никитины и сегодня исполняют песни Булата Окуджавы.

От дома на Ленинградском шоссе рукой было подать до Речного вокзала. Но однажды Окуджавя не смог отказать себе в удовольствии прокатиться туда на своей машине — он был заядлым автомобилистом. И все бы ничего, но вот обратно домой он вернулся не без приключений: «Я вообще человек непьющий, ну, может, пару рюмочек в компании — и все. А в начале семидесятых, когда стал автомобилистом, даже это прекратилось, если предстояло сесть за руль. И какая бы ни была компания — только минеральная вода или сок. То ли это заговорило законопослушание, то ли чувство собственного достоинства — не мне судить. Но однажды некая сила все-таки вознамерилась меня испытать, ткнуть носом, пугнуть... Я был приглашен посольством Германии в числе других, как это называется, деятелей культуры на пароходную прогулку. Название зафрахтованного теплохода уже не помню, а отплытие было назначено на семь часов вечера от Речного вокзала. А Речной вокзал был на расстоянии нескольких сот метров от моего дома. Пешком — минут пять. Но я, начинающий автомобилист, влюбленный в свою темно-зеленую машину, конечно, отправился к речному порту на ней. Подкатил. Поставил ее рядом с другими машинами и пошел на причал...»

Теплоход отчалил. И надо же такому случиться — Булат Шалвович не смог отказать себе уже во втором удовольствии: «В салончик, в котором я устроился со своими друзьями, время от времени заходили и другие гости. Беседовали о том о сем, сплетничали, рассказывали анекдоты и ели и пили, пили, пили. Было множество знакомых и незнакомых знаменитостей. Заглянула к нам и Алла Пугачёва, начинавшая тогда приобретать известность. Мы познакомились. Она спела новую песню на слова Осипа Мандельштама, и все ее поздравляли и пили, пили, пили. Внезапно какая-то сладкая боль задела меня и обожгла — и тут же утихла. И вскоре возникла вновь. Это произошло, когда я узнал, что наше путешествие рассчитано на семь часов. Отчего же мне тогда не выпить рюмочку? — подумал я. За семь-то часов все ведь улетучится!.. И я выпил. Боль тут же затихла. Было шумно, весело. Я выпил вторую». Видно, хорошо в этот вечер пела Алла Пугачёва...

Вероятно, семь (а точнее, почти восемь часов!) пролетели словно миг. Теплоход причалил к Речному вокзалу: «Я еле двигался, хотя все соображал. Потянулся за всеми к выходу. Как-то так получилось, что меня все обогнали, и когда я вышел на площадь перед зданием Речного вокзала, машин уже не было. В последнюю какую-то иномарку со смехом усаживались иностранные гости. Я подумал, что если они могут ехать через всю Москву, почему же я не смогу? Вон ведь дом-то совсем рядом. Я увидел вдалеке свою темно-зеленую любимицу. Она преданно ждала меня. Как я дошел до нее, не помню. Было сложно, но дошел и уселся, и включил свет, и завел. Она ожила.

Я понимал, что пьян, но дом-то ведь вот он, да и город пуст. И поехал. Миновал парк и ловко так выехал на Ленинградское шоссе. Ни одной машины. Третий час ночи».

В конце концов он вернулся домой. Живым и здоровым. Только вот встреча с автоинспектором обошлась по тем временам дороговато — в двадцать пять рублей! Хорошо еще, что гаишник не узнал известного барда. Так описывает эту любопытную историю Булат Шалвович в своих «Автобиографических анекдотах». А его любимой машиной, на которой он гонял по Москве, так и остались «Жигули». В 1990-х годах на вопрос Эльдара Рязанова, на что Окуджава потратил бы миллион долларов, окажись он у него, Булат Шалвович ответил: купил бы домик у моря и... новые «Жигули».

Вдова Окуджавы Ольга Владимировна, рассказывая в интервью о его фатализме (на что указывают и друзья поэта), приводила в качестве иллюстрации такие примеры: «Смелость его была фаталистической природы, он вообще был фаталист — не любил активно менять свою жизнь, будь что будет, решений не любил принимать... Но когда судьба его ставила в предельные обстоятельства — он не уклонялся. Два раза в жизни я видела, как он напарывался на серьезную драку: один раз попер на нож — это было в центре Москвы, недалеко от Дома литераторов. Там кто-то кого-то выпихнул из очереди на стоянке такси, тот вытащил нож, Окуджава спокойно пошел на него — хорошо, что и его, и противника успели схватить за руки. Я уже готова была заорать: “Это Окуджава!!!”, но Бог спас меня от этого позора — обошлось без кровопролития. В другой раз на его глазах рядом с Речным вокзалом рыжий водила самосвала смачно материл молодую женщину с ребенком. Здоровый такой малый. Булату пришлось встать на подножку машины, чтобы дотянуться решительной ладонью до его лица. И что-то он ему такое сказал, что-то очень, видимо, доходчивое о том, как надо вести себя с женщинами, так, что тот совершенно опешил и дал задний ход».

ЦДЛ памятен был для Окуджавы не только приятными встречами с теми, с кем хотелось выпить. Здесь же его периодически «прорабатывали» на партбюро. Поводов он давал немало. То скажет прилюдно на встрече с читателями, что Александр Солженицын достоин Нобелевской премии, то выйдет в «тамиздате» его очередная книга. И за это тоже надо было отвечать. Членам писательского парткома, особенно тем, кого «там» не издавали, надо полагать, было обидно...

«Я не пишу “для”, я пишу “почему”», — говорил Окуджава. Песни Булата Шалвовича очень точно отражали настроения не только советской интеллигенции — не зря Фазиль Искандер называл его «всемирным утешителем». Утешаться было в пору и оттого, что один за одним уезжали в эмиграцию друзья. А сам бы он смог бы остаться *там*? Вопрос несправедливый... Зато сочинилась примечательная песня «На Сретенке ночной», созвучная той атмосфере, что царил порою в писательской среде:

Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
Тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
И расцветёт Москва от погребов до крыш...
Тогда опустеет Париж.

На *Сретенке, в Большом Сергиевском переулке, дом 18*, находилась мастерская скульптора Эрнста Неизвестного, где не раз бывал с гитарой (и без) Булат Окуджава. Место было культовое. Кто сюда только ни приходил, прежде всего, конечно, шестидесятники: и поэты, и философы, и ученые. Часто бывал (и пел) Окуджава и в другой мастерской — у Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной на *улице Воровского (ныне Поварская улица), дом 20...*

Весной 1973 года Окуджава переезжает в писательский дом в *Безбожном (ныне Протопоповском) переулке*. Это тот самый дом, который еще до переименования он увековечил в известном стихотворении: «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В Безбожном переулке хиреет мой талант». Но так ли уж «хирел» его талант?

В «безбожный» период своей московской жизни Булат Шалвович работает над романами «Путешествие дилетантов» и «Свидание с Бонапартом», увидевшими свет на страницах журнала «Дружба народов», редакция которого тогда располагалась на *Поварской, дом 52*.

В редакции в эти годы он был частым гостем. Это был чуть ли не единственный журнал, где Окуджава мог публиковаться. Еще в 1969 году в «Дружбе народов» напечатали роман «Бедный Амвросимов». Хотя главным героем поначалу ожидался декабрист Пестель. И книга была заказана для популярной серии «Пламенные революционеры». Булат Шалвович начал изучать биографию героя и... «чем больше я о нем узнавал, тем меньше он мне нравился. Зато на передний план выступил скромный писарь Амвросимов. На его примере мне захотелось как-то проследить, проанализировать, как влияли прогрессивные идеи того времени на простых людей, на обывателей. Ну вот я и написал этот роман. Политиздату он не понравился, потому что он был не о Пестеле. Но его опубликовал в журнале “Дружба народов” Сергей Баруздин, роман стал печататься за границей, во многих странах, в переводах». И название тоже стало другим — «Глоток свободы».

Соседи в новом доме в Безбожном переулке подобрались надежные, под стать названию. Например, Олег Волков и Анатолий Жигулин. Писателю-долгожителю Волкову Окуджава предложил вывезти рукопись его книги «Погружение во тьму» за границу, благодаря чему она была издана во Франции в 1987 году. А из дневника Анатолия Жигулина, замыслившего стихи о Гражданской войне, мы узнаем о помощи иного рода: Булат Шалвович дал ему почитать антисоветскую литературу из своей библиотеки, мемуары эмигрантов. На дворе стоял 1983 год. Это было еще небезопасно. Но писатели-«безбожники» друг другу доверяли.

В 1987 году Окуджава получил возможность жить в *Переделкине* (что ныне в черте новой Москвы) — дачном кооперативе советских писателей, в котором литературных шишек проживало не меньше, нежели висело на иной сосне. Но с началом перестройки каким-то образом нашли неказистый домик и для Булата Шалвовича: «Нынче я живу отшельником, меж осинником и ельником, сын безделья и труда». Жилье было скромным. «Известный телеведущий, — пишет Константин Ваншенкин, — приехав к Булату в Переделкино за интервью, запричитал: “И вот в такой дачке живет сам Окуджава?!” Булат очень сдержанно ответил, что это литфондовское помещение его вполне устраивает». Еще одно любопытное воспоминание — о кулинарных талантах Окуджавы. Однажды Ваншенкин оказался у него на званом дачном обеде: «Стол был сервирован по высшему классу, с переменной тарелок, вилок и ножей. Помимо основных блюд всякие салаты, подливы и соусы. Он положил мне голубец (не покупной, разумеется), я попробовал, похвалил, однако заметил, что блюдо слегка островато. Булат удивился: “Странно, я клал мало перца...”» Мало «перца» было и в его песнях, но при этом и так все было понятно и одновременно остро!

На рубеже 1980—1990-х годов на даче Окуджавы не раз встречали Новый год Инна Лиснянская и Семён Липкин: «Запомнился тост Булата, когда мы кое-как расселись за столом и начали провожать старый год: “Какая у нас хорошая компания, все — без комплексов, давайте за это выпьем!” Сияла елка, украшенная Олей, румяно лоснились на блюде испеченные Ольгой пирожки с мясом и капустой. А почти вся закуска была приготовлена самим Булатом, например, грузино-армянское лобио с орехами, чесноком и кинзой, грузинское сациви. Я и до этих новогодних ночей знала, что он умеет готовить, но не знала, что так вкусно».

Как большого труженика вспоминает Окуджаву его вдова: «Он в Переделкине с утра хлопотал, пока я еще возлежала в постели: колот дрова, чинил освещение в гараже, проверял, как хранится картошка в сарае... Он любил лень вчуже, уважал ее в других, а сам работал беспрерывно. Другое дело, что писать за столом тоже казалось ему слишком пафосно, серьезно, вроде как называть себя поэтом. Он предпочитал

говорить “я литератор”, а сочинять лежа. Вообще любимая поза была — подогнув колени, с книгой, на диванчике. Конечно, существовал кавказский культ гостеприимства и готовки, гурманство, колдовство с травками на кухне. Приветствовались гости, но истинное наслаждение доставляла только открывающаяся дверь. О, кто пришел! — объятия, приветствия, сервировка стола. Через час я видела — ему уже скучно, он хочет с книгой на диванчик».

Если иные писатели и гвоздя прибить не могут, то Окуджава, судя по оставшимся свидетельствам, был, как говорят в народе, рукастым, умелым в бытовом смысле. «У независимого Окуджавы была приватная территория — маленькое островное государство в Переделкине, деревянный дом в окружении высоких деревьев. Три комнаты и веранда, служившая хозяину кабинетом и спальней. Письменный стол светлого дерева, столик для пишущей машинки, два кресла, топчан и книжные стеллажи, собственноручно сбитые из досок хозяином. Над письменным столом с потолка свисали, тихо позванивая на ветру, бронзовые, фарфоровые, стеклянные колокольчики. Булат Шалвович укреплял их на тонких нитях. Однажды я навестил его и Ольгу Владимировну в Переделкине, и он в считанные минуты чудесным образом устроил с помощью одной лишь бутылки вина праздник. Пиршественным столом для нас стала прибитая им к высокому пню на лужайке перед домом столешница. Он изящно ввинтил штопор, легко вытащил пробку, артистично, демонстрируя сильную и гибкую кисть, разлил вино по бокалам... Талант устройства праздника из дружеского общения был в равной степени присущ хозяину и хозяйке этого дома. В какой момент дня и ночи вы бы к ним ни нагрянули — обречены были стать участниками блистательного застолья (пусть даже и при самом скудном наборе провизии). Календарный повод для этого не требовался. Повод всегда есть: мы существуем вопреки всему!» — рассказывает один из современников. А другой вспоминает ту самую фотографию, что была снята в Переделкине: «В журнале “Огонёк” на обложке были опубликованы портреты наших поэтических львов. Евтушенко в каком-то немыслимом одеянии, Вознесенский в “дутом” плаще (тогда они входили в моду), Рождественский в дубленке и Булат в... курточке. Этот человек был всегда самим собой. Он мог и умел выразить в своих песнях не только себя, но все свое поколение». Трудно не согласиться.

Сегодня по адресу *посёлок Мичуринец, улица Довженко, дом 11* находится Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы в Переделкине. Здесь, в кабинете поэта, можно увидеть знаменитую коллекцию колокольчиков, начало которой было положено Беллой Ахмадулиной. «Нежнее не было набата, чем колокольчики Булата», — писал об этом необычном собрании Евгений Евтушенко. Интересно, а сохранилась ли та коллекция ключей, что видели гости поэта на Речном вокзале?

О колокольчиках Окуджава рассказал и Анатолию Приставкину, с оказией захавшему в гости: «Он раскупорил “Изабеллу”, купленную в местном переделкинском магазинчике, и мы ладненько посидели. Дома он оживлялся, он любил гостей и всё положенное — стаканчики, какие-то бутерброды, сыр, печенье — сноровисто и легко метал из холодильника на стол. Потом с детской улыбкой демонстрировал необычную свою коллекцию колокольчиков: стеклянных, фарфоровых, глиняных... Я ему потом привозил колокольчики — из Саксонии, из Киева. Их он разворачивал, бережно, как птенцов, брал на ладонь, рассматривал, поднося к глазам, переспрашивал, откуда, сдержанно благодарил. Впервые показывая свою коллекцию, он уточнил, что не специально собирает, а так, по случаю. Привстал со стула и провел по колокольцам рукой, позвенел, прислушиваясь, а садясь, снова налил бледно-розовой “Изабеллы” и с удивлением произнес, что вино-то дешевое, но вполне...»

Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.

В гостиной дома можно увидеть панно «Кленовые листья» — вроде бы неприметное на вид, но хранящее тепло рук хозяина дома: «На участке, в дремучей его части, царили ели и сосны, шелестели рябины, дубы и клёны. Кленовые и рябиновые листья к осени меняли цвет и создавали уникальную палитру: от багрянца до лимонно-жёлтого сияния — такой лиственный красно-жёлто-зелёный неповторимый коллаж. Соблазн сохранить частичку этой красоты на зиму был велик, и поэтому в семье установилась традиция — каждую осень собирать большие букеты кленовых листьев. Их ставили в банки, бутылки, вазы и разные сосуды — во всё, что попадалось под руку. Даже засыхая, листья очень украшали скромное жилище и делали дачный домик ещё уютнее. Эти кленовые листья стали особой приметой переделкинского житья. И в какой-то момент возникла трогательная мысль прогладить их утюгом, чтобы они не свёртывались так сильно, создать некий их портрет. Выбрана была чёрная бумага за основу, и Булат Шалвович смиренно гладил непокорные листья, постелив на стол старый плед. И теперь на стене мы видим результат этого труда: несколько кленовых ладошек, которые пережили их создателя и теперь напоминают о тех временах, когда в этом доме была подлинная, трудная и счастливая человеческая жизнь. И творчество», — рассказывает Ольга Владимировна Окуджава, директор музея, благодаря которой память о нашем выдающемся современнике бережно сохраняется и по сей день...

Успешным ли был Окуджава, удачливым? Да. Узнавали его в лицо, недаром в ряде кинофильмов он играл самого себя — cameo. Например, в «Заставе Ильича» или в «Женя, Женечка и “катюша”», «Храни меня, мой талисман». Счастлив ли был в творчестве? Несомненно, ибо с 1962 года пребывал, так сказать, на вольных хлебах, держа ответ лишь перед самим собой. Завидовали ли ему менее талантливые коллеги? Еще бы! Ревновали к славе, к известности, к легкости, с которой сочинял, и даже к его... скромности. Есть люди, которым это качество не знакомо вовсе. Они-то часто и говорят: вот, мол, смотрите, был гоним, от ордена отказался, а ведь ездил-то по заграницам. Действительно, бывал он и в «капстранах», и в «соцлагере». Но лишь тогда, когда выпускали, открывая «клапан», чтобы затем опять закрыть для его «воспитания». А он никак не перевоспитывался — и уже приходилось его вновь отпускать, потому что и там, на Западе, знали его хорошо. Ибо первая его пластинка вышла не на пресловутой «Мелодии», а в Великобритании в 1964 году.

«Неудобность» Окуджавы проявилась как-то сразу, еще с «Тарусских страниц». Да и имя какое — Булат! Острый и даже опасный, если неаккуратно и без спроса прикоснуться... Таким образом, с самого начала обозначилось место Окуджавы и его творчества в советской литературе. Поэт не скрывал своих либеральных взглядов и неприятия сталинизма:

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счёта не веду былым потерям,
но, пусть в своём возмездьи и умерен,
я не прощаю, помня о былом.

Сочинял Булат Окуджава и антисоветские анекдоты, одним из них он поделился с Константином Ваншенкиным: «Придумал анекдот: приезжаю отдохнуть на Ленинские горы, нет, на эти, как их... на Воробьёвы. Хотя на Ленинские, на Ленинские. Сiju,

подскакивает воробей, нет, этот, как его... Хотя воробей, воробей... Тогда бы за такое не похвалили. Булат, понятно, рассказывал не всем».

Один из последних памятных адресов Окуджава — *Неглинная улица, дом 29*, где на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» состоялся незабываемый юбилейный вечер Булата Шалвовича — 9 мая 1994 года. «Праздник этот собрал цвет московской интеллигенции, — вспоминал публицист Илья Медовой. — Перед началом чествования в вестибюле раздавали выпущенный к этому дню журнал. На моих глазах вручили его и юбиляру. “Старались угодить, Булат Шалвович!” — в наплыве чувств пробормотал юный даритель. “Спасибо! — мягко ответил Окуджава. — Только угождать никому никогда не надо!” В любви к нему в тот вечер объяснялись люди из правительства, популярные артисты и знаменитые поэты. Юбиляр поблагодарил всех за добрые слова, за терпение и любовь. Андрей Макаревич* и Юрий Шевчук затащили с балкона под гитару “Смоленскую дорогу”. А площадь перед театром подхватила. По бульвару плыл синий троллейбус. И было народное ликование. Казалось, теперь возможно всё. Виноградные косточки дадут буйные всходы на Трубной площади. Или придет с соседней площади по бульвару Александр Сергееч...»

Можно себе представить, насколько устал в тот день именинник. «На последнем юбилее, устроенном его почитателями в Москве, в театре “Школа современной пьесы”, — припоминает Владимир Мотыль, — после двухчасового чествования искренних поклонников творчества Булата — знаменитых деятелей театра, литературы, поэзии, политиков, ученых, — знаете, что он сказал, когда его вызвали на сцену? “Я всё ждал, когда же это кончится”.» Позднее в память о поэте в театре проводился фестиваль «И друзей созову...». Судя по тому, что последнее время о фестивале мало что слышно, то ли друзей уже почти не осталось, то ли зовут слабовато... Прервалась и традиция проведения памятных ноябрьских вечеров «Заезжий музыкант» в *Зале им. Чайковского*, где когда-то выступал и сам Окуджава. Хорошо помню один из таких концертов, что вел Василий Аксёнов — он сидел за столиком, на котором в незабвенной «склянке тёмного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо»... А линия жизни в конце концов вернула Булата Шалвовича на Арбат — прощались с ним в июне 1997 года в театре Вахтангова...

* Внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов.

Булат Окуджав

«Я вернулся с фронта...»

Рассказы

Уроки музыки

Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым.

Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите... это вам не географией баловаться... Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйся!..

И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств... Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвончик.) Чего лыбитесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно... Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную... Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так... Впереди у нее мембрана, понятно?

Широкоскулое, губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго...

— Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Мембрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается...

Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко.

— Она как полоснет осколками, и прощай, так и так, понятно?

— А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков.

— Разговорчики! — кричит Ланцов. — Акаджав, повторите.

— Разговорчики, — повторяю я.

Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься.

Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки.

— Повторите про мину, — говорит он угрожающе.

— Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай...

Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не достаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдержать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так...

— Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были?

— Отставить разговорчики! — кричит он.

Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются.

— А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь.

— А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен... А ну, кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит «устал», так и так! Будешь ползти, покуда весь пар не выпустишь... Грязно ему, понимаешь... Встать! Бегом!..

И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением.

— У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться!

И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.

Трудно сейчас представить, как я всё это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был?

И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла: «Смерть чего хочет? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить... Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука... Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так... Ее перехитрить надо... Чего? За какой еще пенёк? Эх ты, грамотный... за пенёк... А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила...»

Я уже смутно вспоминаю это свое прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под неё, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, вслушиваю оскорбления... И всё под неё.

Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, ещё трепещущими в наших душах. Дрожь обиды ещё сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы

выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках...

Мы идем по пустынному, развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хрипловатое стремительное «за!», затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде, «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел, «вай!...».

— Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев.

Он ставит нас по стойке смирно, чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!..

Кругом! Шагом марш!.. — И прочь от столовой, от клейких вождельных галушек... — Это вам песня, так и так! Боевое задание... Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя... А кто-то у меня два наряда вне очереди получит!.. Кругом! За-пе-е-е-е-вай!

И мы поем, чёрт бы его побрал.

После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преображается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам... Это особый разговор.

Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю... У меня холодеет спина.

— Батарея! — кричит сержант.

— Вольно... — снисходит командир батареи.

Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным.

По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый: и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка...

— Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну...

И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках...

На карачках? — не верит лейтенант...

Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бегит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обрато Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не шадят, а Акаджав с прохладцей... Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду...

Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав, — думаю я обреченно.

Лейтенант Федоринин прищуривается в меня:

— Ну, Окуджав, что делать будем?

Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу

носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои командиры? Разве ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия?

— А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант.

— Вот, понимаешь... — бормочет Ланцов.

Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант звонко улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи...

Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца... Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки... Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрительно кивает кудрявой головой... Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и... так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь... Ланцов вас таких сам в душу... Нате, гады! А вот ещё... И так, и так!.. Я заморожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее.

Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так! — и смотрит на меня почти с омерзением.

Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив; я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый... остальные там чухались, а я уже выбежал...

— Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит... Тут, понимаешь, каждая минута дорога...

— Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит...

— Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность...

Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела.

...В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удастся на несколько минут избавиться от нас перед отбоем...

— Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать... Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке «смирно»? Садись... Личное время, понимаешь...

Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль...

— Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить: как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял?..

— Вполне достаточно... — говорю я.

— Могу и больше... — Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок... — Знаешь, как могу? Весь пар, так и так, выпущу... И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые... Ладно, так и так, я вам поскалюсь... А теперь они с передовой знаешь чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку, очень пригодилась, понимаешь?..

— И я напишу, — говорю я...

— От тебя дождешься, как же...

И вдруг кричит:

— Опять ботинки нечищены! Вы у меня поразговаривайте! Чтоб начистить!.. Вот я сейчас, так и так, карабин проверю... Ну, ежели, понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться... Крууу-гом!..

Мне снится сон.

— Товарищ сержант, — спрашиваю я, — почему вы меня все время оскорбляете?

— Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, — говорит он, — своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унижить.

— Это вы унижаете мое достоинство, — говорю я.

— Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, — говорит он.

— Вы все время коверкаете мою фамилию, — говорю я.

— Попытался вызубрить, — вздыхает он, — ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец: и по уставу, и необидно. Согласны?..

Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор.

Случайно долетело:

— Что это вы фамилию его коверкаете?

— Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, заучивал, понимаешь...

— Ну-ка, повторите, — смеется лейтенант Федоринин, — ну-ка...

— Акаджав.

— О-куд-жа-ва, — диктует лейтенант, — повторите...

— А-каад-жав, — старательно выговаривает Ланцов.

— Н-да... — говорит лейтенант и внезапно кричит: — к завтрашнему чтобы выучить, так и так! Смотрите у меня!..

Кто-то говорит:

— Снег пошел!

Снег идет. В казарме холодно, сыро... Холодно ему, понимаешь! Телят в холоде держать надо — здоровше будут. Холодно... А на передовой, так и так, тепло?

Наконец внезапно наступает это самое утро, утро новой жизни или подведения итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова:

— Батарея, подъём!

Все происходит мгновенно: кальсоны, галифе, ботинки... Выбегаю в темень, в дождь, в снег...

А ну, пошевеливайся!..

Тяжелый топот ног: сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный тугой обнаженный торс сержанта перед нами:

Делай и раз, два, три, и раз, два, три!

Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад — вперед...

— Кому холодно? — кричит Ланцов.

— Никому! — кричит кто-то.

— Молодцы!.. Бегом! Стой! Шагом марш!.. Разойдись!..

Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар, и сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки — пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние? И тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Всё глуше музыка души, всё звонче музыка атаки...

И вот наконец сержант Ланцов подзывает меня, и я готовлюсь к очередной порции его неудовольствия, а он говорит:

— Акаджав, возьмите этих, погоняйте...

Передо мной — десять стариков лет по тридцать пять. Неловкие, сутулые, напряженные. Полусолдаты. Сегодня прибыло пополнение из запасного полка.

— Акаджав, — говорит сержант, — погоняйте их строевым, понимаешь, как следует. Вон они, понимаешь, сонные какие... Чтоб у меня, так и так, весело глядели!.. Это им не запасная богадельня...

До меня не сразу доходит. Чему же я могу научить их, я — самый несмышленный, самый нерадивый, с тонкими городскими ручками, с тонкими кривыми ножками, закрученными в обмотки?.. Уж не смеется ли сержант Ланцов, не мстит ли мне за жалкие попытки отбиться от его неприязни? Но сержант Ланцов на плацу смеяться не умеет. Значит, это всерьез, и я действительно кажусь ему достойным этого великого назначения?

— Смирна! — команду сдавленным голосом. — Шаго-о-ом марш!

И веду понурую десятку в дальний конец плаца. Этот плац, занесенный рыхлым тающим снегом, кажется мне тесным и убогим с высоты моего непомерного роста. И плац, и лесок на краю, и сержант Ланцов, удаляющийся к казарме, и десять перезрелых моих учеников — всё видится маленьким и призрачным, сливается там, внизу, у меня под ногами, и припадает к моим гигантским ботинкам. Всё замерло в ожидании.

Мои запасники жмутся друг к другу. На них нелепые, не по росту шинели, выцветшие и пятнистые. Они не знают, куда им девать руки. Лица посинели от ветра. У одного из них на синем лице — красный увесистый нос. Этот постарше остальных: ему вполне сорок.

— Холодно? — спрашиваю по-отечески.

— Да уж не жарко, — говорит один из них.

— Сейчас бы в самый раз на печку, — говорит другой.

Тот, с красным носом, молчит. Он уставился на меня маленькими темными глазами, то ли с мольбой, то ли с укором. Он пританцовывает на месте, и его синие губы растянуты в подобие улыбки.

— Значит, холодно? — спрашиваю я. — А на передовой не холодно?..

Как это было давно! Я уже не помню, какой у меня, семнадцатилетнего, был тогда голос. Наверное, тенорок. Они насторожились при упоминании о передовой,

так, слегка, но покорно ждали команду. Снисходительные взрослые перед воинственным петушком: ладно, давай, мальчик, поиграем, если тебе охота... Сейчас я поиграю... Вы у меня наиграетесь...

И я кричу ликующим тенорком:

— Смирна!

Что-то обрывается у меня в горле от напряжения, какая-то штучка встает поперёк. Они замирают. Всё отвратительно, не по-военному.

— Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать! — кричу я почему-то хриплым баритоном. — Это вам что, понимаешь, за супом очередь? Смирна! Напра-а-а-а-ва! Бего-о-о-о-ом марш! — И бегу рядом с ними.

Я бегу легко: для меня это забава, они — грузно, посапывают.

— Подтянись! — кричу тому, с красным носом, из-за него теряется строгая линия бегущей цепочки. — Кому сказал подтянуться!

Он торопится и при этом помогает себе руками, будто продирается сквозь толпу. Они думают — баловство. Сейчас они узнают, что значит наша минометная батарея. У нас на батарее... мы на нашей батарее...

— Раз-два, раз-два, раз-два!.. Стой! Шаго-о-ом марш!

Они идут, отдуваясь, отплевываясь. Я слежу за тем, с красным носом, он украдкой поглядывает на меня: ждет одобрения? Сутулый, в грязных ботинках, пожилой обозник...

— Строевым!

Они пытаются идти строевым, цари природы!..

— Отставить! Кто же так строевым ходит? Вот как надо. Смотреть всем! Нога идет так, понимаешь, так — так, так — так, всей ступней, тяни носок, так и так, чтоб земля дрожала, как один, понимаешь!.. Это вам не на прогулочку по переулочку! Рав-няйсь! Смирна! Шаго-о-ом марш!

Они идут опять не так, опять не так. Не так, так и так! Ладно, сейчас увидим. Я нахожу место на плацу, самое истоптанное, где мокрый снег перемешивается с грязью.

— Ложись!

Они медленно, с ужасом поглядывая на меня, опускаются в это месиво.

— По-пластунски, марш!

Они ползут, подрыгивая ногами, выгибая спины.

— Брюхом к земле, так и так! Отставить карачки, на брюхе ползти! Грязно? А на передовой чисто? Что значит «устали», так и так! Будете ползти, покуда весь пар не выйдет... Грязно им, понимаешь! Быстрее, быстрее!.. Встать! Бегом! — И сам бегу рядом. — У меня не сачковать, так и так!.. Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим! Стой! Строевым! Выше голову!..

А тот, с красным носом, совсем не тянет... И тут я почему-то вспоминаю своего погибшего отца, которому сейчас тоже было бы сорок. Но мой отец был строен, и жилист, и ловок, и красив, хотя на холоде и у него нос краснел, но он в любой мороз ходил с открытой грудью, хоть и кавказец, и смеялся, если его уговаривали прикрыть горло шарфом... Мой отец всегда... У моего отца всё было с иголочки... Сапоги у него всегда сверкали... У нас на батарее... Мы на нашей батарее... Наша батарея...

А может быть, лейтенант Федоринин в эту самую минуту наблюдает за мной, думаю я, пылая, и его круглое лицо еще круглее от улыбки, и он говорит Ланцову: «Вам, сержант, понадобилось почти два месяца на подготовку новичков, а Окуджава... вы только глядите, поглядите-ка...»

«Конечно, — думаю я, — сначала им тяжело и обидно, зато после вы же меня, понимаешь, сами благодарить будете. Это сначала, понимаешь, непривычно, а потом...»

— Отделение, стой! Вольно! Можно покурить...

У края плаца лежит бревно, и они усаживаются и закуривают. Этот, с красным носом, вытянул длинные несуразные ноги, отдувается, на ржавой шинели грязь, ботинки черт знает в чем.

— Отставить перекур!

Они бросают свои самокрутки, тяжело поднимаются. Слишком тяжело!

— Быстро вставать, так и так! На рынок собрались? Хочу — пойду, хочу нет?.. А ну сесть! Встать! Сесть! Встать — сесть! Встать — сесть!.. Встать!.. У нас на батарее, понимаешь... Привести себя в порядок, чтобы, понимаешь, выглядеть бойцами...

И сам же первый начинаю чистить перышки. Они отряхивают друг друга, тяжело дышат, тихо смеются... Этот, с красным носом, все-таки похож на моего отца, то есть совсем не похож, но что-то такое... Отец мой был ловкий, он быстро бы всё почистил, а этот...

— Вот так надо, — говорю я, — вот так, — и помогаю ему соскрести грязь с рукава шинели.

И в ответ до меня доносится еле слышное, неловкое, тягучее, как мед:

— Да что вы, товарищ командир, сам управлюсь, ничего, ничего...

— Командир!

— Да какой же я командир, — говорю я, — такой же солдат...

— Голос командирский, — говорит кто-то.

Я хочу сказать, что это не мой голос, но эти разговорчики, всякая эта болтовня, возишься тут с ними, понимаешь...

— Можно закурить. Они снова закуривают.

— Устали? — спрашиваю. — Ничего, здоровее будете.

Они тихо смеются.

— А вы, — говорю этому, с красным носом, — что-то отстае, придется дополнительно побегать...

— Научимся, — отвечает тихо, — с непривычки тяжело...

— А на передовой легко? — спрашиваю я. — Там, понимаешь, немец разговаривать не будет: легко — тяжело. Там давай-давай, поворачивайся. А на печке потом, понимаешь, лежать будем. Верно я говорю?

— Верно, — отвечают нестройным хором.

Я присаживаюсь рядом. Я тоже устал, черт его подери. И из меня словно пар выходит и растворяется в сером небе. Сейчас за давностью лет, кажется, и не скажешь, о чем они тихо переговариваются, посасывая самокрутки, поплеывая в снежное крошево, но догадаться нетрудно. Вымысел мой доносит тихий шепоток, из которого являются на свет то дом, то окно, то женские глаза, то детская ручка, то праздничные пол-литра, то черная неизвестность, то вздох отчаяния, то шорох пожелтевшего письма... Если лейтенант Федоринин тайком понаблюдал за моей работой — назначит меня командиром отделения, и тогда прощай Ланцов в конце концов.

И на перекуре усядемся мы с ним рядом, и он скажет:

— А твои-то ничего, понимаешь... Я гляжу: они ничего, дело знают.

— А твои? — спрошу я.

— Мои совсем никуда, — вздохнет он, — да я их, так и так, еще прижму. Это им, понимаешь, не игрушки.

— Правильно, — скажу я, — им потачки давать нельзя. — И спрошу: — А тебе из дому пишут?

— Нет, — скажет он, — некому. Мои все под немцем, растак-перетак!..

И прочая галиматья.

А они сидят, покуривают. Вот сейчас я скомандую хриплым баритоном, и всё это рыхлое, неловкое, далекое от войны натянется, напряжинуется, зашагает, поползет, побежит... Но шевелиться не хочется. Слышится ровный шепот всё о том же и о том же, о чем и сам я шепчу, засыпая по вечерам, о чем и сам думаю, стоя навтыжку перед сержантом, и чем он громче, тем слаще мой шёпот... Стол... диван... фотография мамы... первая трава у порога... яйцо всмятку... бабушкины руки... вечерний свет... девочка, которая не откликается... троллейбус... Тихая музыка невозвратного.

А тот, с красным носом, молчит. Слушает соседа, кивает, улыбается. Что-то в его улыбке растерянное, мягкое, грустное. У него трое детей. Три девочки. Старшая — моя ровесница. Неужели и у нее такой же нос?.. Меня словно и нет. Так, всё между собой. Десять случайных братьев, прекрасных и обогретых воспоминаниями.

— Кончай перекур, — устало говорю я своим обычным тенорком. — Засиделись.

— И то правда, — улыбается тот, с красным носом.

Они медленно поднимаются с бревна. Тепло уходит.

Разглядывают меня с удивлением, словно впервые. И тот, с красным носом, похожий на моего отца, спрашивает меня:

— А тебе, сынок, из дому пишут? А мне никто не пишет, некому.

— Пишут, пишут, — говорю я, отворачиваясь, — всё хорошо. — И командирское во мне готовится выкрикнуть: «Отставить разговорчики! Равняйся!..» — но я говорю громко, потому что они все ведь рядом, вот здесь: — Подравняйтесь... шагом марш... — И мы движемся. — Все в ногу, а то сержант даст нам прикурить.

Наступает и ещё один прекрасный день. И вот мы, чистенькие, из бани, в новой форме, поскрипывающие, уже нездешние, стоим на платформе у эшелона, чтобы через несколько минут отправиться уже как маршевая к передовой. Лейтенант Федоринин и сержант Ланцов провожают нас. Впереди — прекрасная неизвестность. Лейтенант улыбается. Мы теперь не его. Сержант грустен. Он опять остается. Вся надежда на наше героísmo.

— А вы-то как же, товарищ сержант? — спрашиваю я без страха, как приятеля.

— А вот так же, понимаешь, — говорит он и краснеет, — опять здесь припухать, раз-два, встать — сесть... таки так...

— А что, Окуджава, — говорит лейтенант, посмеиваясь, — дадим вам сержантские лычки да оставим здесь трудиться, а? Хорошо ведь?

— Ну уж нет, спасибо, — смеюсь я, — уж я лучше туда.

Доносится свисток паровоза. Пора.

— Слышь, Акаджава, — говорит сержант, — ты, понимаешь, может, напишешь, как там чего?

В голубых его глазах — тоска, скулы резче, обветренные губы сжаты в две тонкие бледные полоски.

— Напишу, напишу, — тороплюсь я, — обязательно, про всех напишу...

Конечно, я напишу, чтобы хоть от меня приходили к нему редкие смятые треугольники. Пусть читает.

— Ты не сердись, ежели чего, понимаешь, не так, сам понимаешь...

— Понимаю, понимаю, — говорю я, — чего там...

Мне грустно, мне жаль его. Я жалею сержанта Ланцова.

У меня никаких обид. Что вы, какие там обиды? Мы ведь не на уроке географии, так и так... Но я почему-то счастлив, что он не отправляется с нами. Пусть потом, сам, без нас, сам по себе. Я знаю, что он будет там незаменимым и доблестным, но пусть без меня, без меня...

Прошло более сорока с лишним лет. Срок, понимаешь! Ни одной фамилии не помню, кроме этих двух. Где все — не знаю. Живы ли, погибли ли? Никто не знал, кому что предназначено, да и сейчас никто не знает, почему одним повезло, а другим нет. Я хочу, чтобы все остались в живых, все, но больше всего, — чтобы тот, с красным носом, похожий отдаленно на моего отца, чтобы он вернулся к своим девочкам, чёрт бы его побрал!

«ДН», 1985, № 6

Девушка моей мечты

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоёвавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь всё это хорошо известно, теперь мы всё это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всём этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударило и ранило...

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и ещё нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая, сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетька, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, ещё запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу займы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался, — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики, и смех, и звон стаканов, шёпот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шпятился. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шёпотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселий.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и всё, что я буду ей рассказывать, и всё, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли.

Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицезрением прекрасного, и напитается миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне... А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать

не смел унижить ее грубым моим бытом, или послевоенными печалью, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она... не ей.

Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и ещё была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу несколькими, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что пятьсот первый пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груди чемоданов и тюков сидела сторбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тук.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платье, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сторбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было как раньше, как когда-то...

Мы медленно направилась к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...» Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешёнными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло,

окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедем, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?

— Что? — спросила она.

— Хочешь есть? Ты ведь с дороги.

— Я? — не поняла она.

— Ты, — засмеялся я, — конечно, ты...

— Да, — сказала она покорно, — а ты? — И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть всё так же — руки на коленях...

Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой едой: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобio.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Держи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю...

Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе.

Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учишься, учишься хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том,

что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся...

И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шёпотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизилловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока ещё пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся я утешать ее, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала.

Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.

— Всё, всё, — сказала, — не обращай внимания, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?..

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она ещё не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было... Вот, возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — И она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства... Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли на вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была

стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И ещё я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там... Пора позабывать.

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость. — Хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешенно.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своем.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!..

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользящем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

— Давай уйдем отсюда, — внезапно шепнула она.

— Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.

— Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось ещё серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке.

В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма-ма... ма-ма...

Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.

— Повел ее в кино, — шёпотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...

— В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...

— Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю... Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шёпотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думает, панимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна врэмья... У нэго тэперь привычка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я.

Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Там, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаэшъ?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра всё будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Всё забудется, всё забудется, всё забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты... — сказал Меладзе.

— Какие фрукты? — не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем в сером платье своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама, — сказал я с укоризной, — на топчане буду спать я.

— Нет, нет, — сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я? — спросила она...

Наталья Крымова

Свидание с Окуджавой

Булат ОКУДЖАВА. Стихотворения. — М.: Изд-во «Советский писатель». 1985.

«В книге Булата Окуджавы — стихотворения, входившие в его сборники разных лет, а также новые произведения поэта...» Краткая аннотация содержит забавную ошибку. «Голубой шарик», «Вы слышите, грохочут сапоги...», «Ванька Морозов», «Из окон корочкой несёт поджаристой...» — это не «новые произведения поэта», а самые старые. Но они не только не «входили в сборники разных лет», а вообще **н а п е ч а т а н ы в п е р в ы е**. Что тут скажешь? Улыбнемся и поздравим Булата Окуджаву с первой публикацией.

Когда-то один критик утверждал, что у стихов Окуджавы есть слушатели, есть поклонники, но читателя нет. Какими смешными бывают критические утверждения. Впрочем, писавший сам был поэт и беспристрастностью не отличался.

Итак, новая книга. На обложке только имя и под ним шрифтом помельче: «Стихотворения». Не «стихи», а «стихотворения». Хорошее слово. Чуть старомодное. Чуть детское, но и изысканное тоже. Все, что надо для сборника Окуджавы.

По поводу предыдущей его книги возник спор. «Нет ничего проще, — писал один из спорящих, — как взять ее, перелистать... Но на этом вся простота и кончается». Мол, если не просто перелистать, а прочитать, тут же возникает сложность: попытка с ходу определить, что это, стихи или песни, сразу «наталкивается на сложную проблему жанра». Короче, или понятие лирического жанра в поэзии следует пересмотреть, или Окуджава лишь автор популярных песен.

Все-таки удивительная это история. Сначала, когда Окуджава запел, отрицали его песни. Освистывали, писали грубые статьи. Подвергали сомнению общественную значимость содержания. Манеру исполнения называли «унылым речитативом», рассчитанным на мещанские вкусы. Всячески оберегали молодую аудиторию от влияния вредной «моды». Потом привыкли. Песенки были всё такими же, слушатели от них не делались хуже.

Окуджава откасался от той безличности, которая была как бы обязательной печатью на пропуске в песенный мир. Собственно, здесь объяснение тому, что в песне сделал Булат Окуджава. Об этом довольно точно сказал всё тот же постоянный оппонент, пишущий стихи: «Творчество поэта, тяготеющего к песне, как правило, отмечено печатью лирической бесхарактерности. Слишком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить себе роскошь быть самим собой».

Окуджава эту «роскошь» себе позволил. Его песни приобрели массовую любовь, оставшись абсолютно индивидуальными. Тихо-тихо, как-то незаметно, но во многом

благодаря именно этим песням понятие об индивидуальном возвысилось там, где цену, казалось, имело только общее, принадлежащее всем и никому в отдельности. То, что при пересказе укладывается в несколько строк, явилось между тем содержанием долгой и серьезной борьбы, длившейся ни много ни мало лет двадцать пять. Эту борьбу Окуджава выиграл. Вернее, выстоял, потому что в роли активного драчуна не выступал. Кто знает, может, самым сильным оружием в борьбе за свое искусство является способность художника оставаться самим собой.

Так же спокойно, не размахивая руками, он вступил в новый этап, когда спорить стали уже не о его песнях, а о стихах — какого они рода и вида. Есть основания полагать, что и через этот период Окуджава пройдет со свойственным ему достоинством. Тем более что страсти критиков переместились в сторону его прозы, и там возникли новые яростные оппоненты. Один из них, кажется, и известность приобретает периодически — от одного романа Окуджавы до другого.

Пока этот поэт будет писать, о нем будут спорить. Прежде всего потому, думаю, что в самом понимании поэзии никогда не было согласия ни у критиков, ни у поэтов, и в эту вечную несогласованность, в самый ее эпицентр и угодил Окуджава. Что касается поэтов, то дело скорее даже не в «понимании», а в умении. Склонность к писанию рифмованного текста с годами закрепляется умением, становится постоянным занятием, в котором накапливается свой опыт. Пишущий твердо знает, что в поэзии должно быть *понятное*, (недвусмысленное содержание, несущее в себе ясную, полезную идею, и всё это — содержание, идею и тому подобное — при необходимости можно легко определить и объяснить. Его же дело — всё это зарифмовать. Я кое-что огрубляю, чтобы обрисовать некий тип поэта. Он существовал и до Пушкина, и при нем, распространен и ныне. Окуджава к этому типу не принадлежит.

От всякого рода пересказов и объяснений уклоняется его дар. «Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет...» В этих строчках, не без лукавства доведенных почти до шарманочного примитива, быть может, существо его поэзии. В ней та легкость, та воздушность, которые избегают до конца договоренных определений. Эта поэзия живет, будто не прикрепленная к земле и к листу бумаги. Но и с «землей», и с «листом бумаги» у нее своя связь.

Через пятнадцать лет после войны Булат Окуджава написал примерно о том же, о чем в свое время писал Константин Симонов: о буднях войны, о ее дорогах, об ожидании, о женщинах, которые глядят из-под руки, дают увидеть рядом со смертью волны клевера и свои бездонные глаза, хотят любви и жалости, сами жалеют и любят, коротко или долго.

Но ко всем этим картинам и переживаниям обратился поэт другого времени и совсем другого характера. Одно дело — опытность известного военного корреспондента, чьи стихи и очерки печатались в центральных газетах, совсем другое — мальчишеско-солдатское сознание, потрясенное войной настолько, что воскреснуть к поэтической жизни оно смогло лишь спустя многие годы.

Тот поворот или тот ракурс общей и большой темы, который был избран Окуджавой, можно определить известной фразой: солдатами не рождаются.

Рождаются детьми с круглыми затылками. Рождаются мальчишками и девочками, которые жужжат в своих мирных дворах. Играет радиола; бушует весна; волшебным постукивают каблучки по тротуарам. И вдруг — грохот барабана, зов трубы. Началась вдруг война — не успели попрощаться. И Лёнька Королёв — кепчонку набекрень — уходит первым. Обривают затылки. Надевают сапоги, шинель казенную. До свидания, мальчишки. А потом со двора уходят девочки. Прощай, пехота. Где-то на передовой

в первый день солдату снится собственный страх. А наяву рукопашная возня, атака, атака, охрипшие рты. Окопная каша.

И вновь играет радиоло. Но во дворе кого-то навсегда, навечно нет. Ах, война, что ж ты сделала, подлая...

Солдатами, когда надо, неизбежно становятся — это симоновский мотив. Время изменило его интонацию. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» — поперек этой неизбежности написал свое Булат Окуджава. Даты в новой книге дают повод о многом задуматься. Песня написана в пятьдесят восьмом году. Уже лет тринадцать как было тихо. Но уже другой тревогой разбужено сознание, общественное и личное. Человек по-новому взглянул на свою биографию и на судьбы своих близких, на раны и подвиги страны. То, что вчера казалось немыслимым, предстало реальностью. То, что раньше было разумеющимся, вдруг перестало укладываться в голове и потребовало самостоятельной работы мысли. Внезапно обретенная новизна зрения — вот примета поколения, к которому принадлежит Булат Окуджава.

Напевая свои песенки, поэт вторгся в сферу стереотипов и указал (пальцем ни на что не указывая) на значение индивидуального, личного мировосприятия и вообще на значение этой частной и единственной человеческой жизни. Поэт Окуджава уже никогда не освободится от опыта, через который он прошел вместе со всеми, осмыслив его один на один со своей совестью.

Один — и вместе со всеми. В одиночестве — своя душевная работа и своя гордость. Вместе со всеми — желанное состояние, но оно всегда впросительном. Оно тревожно, потому что поэт всегда на виду, на открытом месте. Он на подмостках, даже если думает, что спрятался от всех и пишет исторический роман.

«Оставьте, мы не на подмостках», — возражает героиня ранней пастернаковской прозы. «Вы ошибаетесь, синьора, — отвечает ей поэт, — мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль... Человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами... и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато».

В любом освещении лицо Булата Окуджавы остается неизменно серьезным и спокойным — ему по силам та естественность, которая как роль. Он научился и на публике не терять состояния сосредоточенности, которое дает возможность видеть вокруг не только публику, но краски мира, почувствовать все его запахи. «Вот черт, как ничего еще не надоело!» «Я жаден до всего вокруг...» Теми или другими словами выраженное, но это острое чувство жизни, не исчезающее согласие с нею и, да простятся банальные слова, любовь к ней. В этой любви Окуджава и воспитывает нас вот уже целых тридцать лет.

На первой странице слова: «Эту книгу я посвящаю моей маме». И стихотворение, написанное в пятьдесят седьмом. Называется «Новое утро».

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит...

Три простеньких четверостишия. Почти детский напев. Но очень верный камертон книги. Если внимательнее вчитаться, — не кто иной как Булат Окуджава. Знакомое легкое касание рифм, знакомый мотив надежды. Знакомая нежность. Многие чувства, сменяя друг друга, ходят-бродят вокруг одного, главного, развивая его и продлевая во времени. «Мой дорогой, пока с тобой мы живы, всё будет хорошо у нас с тобой...» — это появилось позже, когда свое, прочное место в поэтическом опыте

нашла иронию. А поначалу все проще: сын утешает мать. И он вернулся, и мама вернулась, значит, все будет хорошо. Кругом такие перемены (это, несомненно, второй план стихотворения), что в пору верить: «Отступает одиночество, возвращается любовь». Но матери не вернешь любви погибшего отца, и сын понимает это. Как бы приглушая свое реальное знание, он встает рядом, он полон своей, молодой веры и хочет внушить ее матери. То, что в этом стихотворении выражено почти наивно, с годами поэтически усовершенствовалось, но в сущности осталось неизменным.

Булат Окуджава — у т е ш и т е л ь. Это слово я произношу не без колебаний, потому что отношение к самому понятию достаточно традиционно. Но одно дело — утешительство, замешанное на равнодушии, на холодной функциональности действий. А дар утешать, вызванный ощущением драматизма жизни и пониманием человеческого равенства, — совсем другое.

Тут я могла бы рассказать об одном прекрасном человеке, писателе. Он прожил трудную жизнь, прожил ее красиво, мужественно, а умирая, понимал, что умирает. В последние дни, когда мы приходили к нему, он не раз просил поставить пластинку Окуджавы, и чаще всего: «Пока земля ещё вертится, пока ещё ярок свет... дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня». Этот человек и сказал мне тогда: «Ваш Окуджава — утешитель». «Ваш» — прозвучало как «остающийся с вами».

В доброжелательных статьях об Окуджаве всегда упоминают, что его любимое слово — «надежда», а постоянное обращение к читателю — призыв. «Не запирайте вашу дверь...», «Нарисуйте наши судьбы...», «Не оставляйте стараний...», «Вы встаньте с постели, сойдите к дворам...» Не забудьте, простите, напишите, нарисуйте... Но все эти многочисленные повелительные наклонения в стихах Окуджавы лишены повелительной интонации. Это именно н а к л о н е н и е к читателю, а не жест приказа, поучения, призыва и тому подобное. Встань пораньше — и ты увидишь, не сможешь не увидеть. Прислушайся — и услышишь, неужели ты не слышишь?! Это надежда, внушаемая другому. Свой слух и зрение, передаваемые другому. Почти во всех стихах — ощущение этого «другого» человека, которому может стать легче, лучше. Нужно только сделать усилие. «Представьте себе...» Если сможете представить, то увидите чудо. А не сможете — жаль, будете жить без чудес.

Н е н а в я з ч и в о е в н у ш е н и е — вот, мне кажется, главная интонация Окуджавы. Существует интонация, живущая не только в живом голосе, но в том звуке, который вложен в порядок слов, строчек и даже в знаки препинания. М.Цветаева со свойственной ей категоричностью утверждала, что в стихах есть нечто, важнее их смысла: их звучание. Имелось в виду отнюдь не «исполнение» стихов, то есть не чтение и тем более не пение. Имелась в виду внутренняя музыка. Умение поэта слышать ее и воспроизводить.

Г д е с л ы ш а т ь? Интересный и немаловажный вопрос.

У Окуджавы есть небольшой рассказ, названный очень точно: «Уроки музыки», — о том, как перед отправкой на фронт муштруют молоденьких солдат и как один из них (фамилию его сержант не может произнести иначе как Акаджав), как этот солдатик мечтает чуть ли не о смерти, лишь бы кончилась невыносимая муштра — в грязи, брюхом к земле, под оскорбительную «несловарную» ругань сержанта. Жутковатый, смешной и грустный рассказ. Но вот что интересно: с первых же фраз, с первых же строк начинается звучать что-то з а прозаическим текстом помимо ужаса и грязи, помимо ругани сержанта и мучений новобранцев — помимо, но и вместе со всем этим. Все глуше музыка души, все громче музыка атак — вдруг безо всяких кавычек строка явно поэтическая пробивается среди других, прозаических. Будучи абсолютной прозой, рассказ изнутри звучит музыкой. Она очень разная: одна мелодия, визгливая и дикая,

спорит с другой, еще трепещущей, еле слышной, разные инструменты передают ее друг другу, как слабого новорожденного младенца; один мотив разрабатывается, раскладывается на голоса, другой буквально втаптывается в землю, но — кто сказал, что земля умерла? — вдруг снова оживает, звучит то далеко, то совсем рядом. Вот вам и «оркестры Земли». («Земля» тут можно написать и с большой буквы, и с маленькой, годится и то и другое. И самый высокий смысл, и самый буквальный, «низкий».) На первый взгляд это совсем не похоже на ту музыку, которую перед боем слышал в волшебном полусне дворянский мальчик Петя Ростов. Но и похоже. Гениальный прозаизм толстовского письма не случайно иногда взрывался мощным музыкальным звучанием — м у з ы к о й ж и з н и, иначе это не назовешь.

Окуджава по-своему служит прозе жизни, зная ее силу, но по-своему и сопротивляется, не давая этой прозе поглотить то, что в ней самой заключено как музыка и что противостоит всему непоэтическому и бесчеловечному.

Можно взять любое стихотворение из книги — в нем особый такт, то есть деликатность душевного движения. Но, как в музыке, этот «такт» имеет свою первую ноту, свою поступь («сочетанье ноты краткой с нотой долгою одной») и свой финальный аккорд. Строчка за строчкой это живое — звучащее — чувство укладывается в стихи, иногда возвышается до пафоса, но никогда не переходит в риторику, знает, где край, где мера, где надо закрыть себя иронией или смолкнуть на полуслове. Внезапный обрыв мысли — это вспышка нового чувства или внезапных ассоциаций, иногда нерасшифрованных, дающих толчок читательскому воображению. Окуджава со временем научился вовремя смолкать. Это не тактика, не уловка, а слух к окружающему и к движению чувства внутри себя.

По книге можно проследить, как развивается, совершенствуясь, этот слух. Друзья, любовь, природа — воспринимаются все обостренней. Мотив краткости жизни возникает поначалу в романсовом облике, но с годами становится жестче и мужественнее. «Я смотрю на фотокарточку...» — это одно его звучание. «Фотографии друзей», «Батальное полотно», «Мгновенно слово. Короток век...» — иное. В свете этого по-новому читаешь и посвящения в книге. Возникшие по воле дружеского импульса, краткого, но памятного контакта, эти посвящения сегодня звучат иначе. Благодаря слову поэта частный случай дружбы перестает быть «частным». В историю нашей духовной жизни вписаны люди, наши современники, богатые дружественностью и чувством локтя. Их имена составляют, то есть д е л а ю т, к н и г у так же, как стихи.

Иных уж нет. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться...» — открываешь страничку с текстом этой песенки, и вдруг — ударом в сердце: посвящено Юрию Трифонову. Когда-то без легкой улыбки это не пелось, а теперь нельзя читать без боли.

Давайте жить, во всём друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.

Другой бы написал «помогая», но не Окуджава. Чуть усмехаясь, он пишет свое «потакая». Ведь не о воспитании детей речь, а о людях, которым не надо объяснять, что такое долг, порядочность. И потому: п о т а к а я. Тем более что жизнь... и так далее. Всё верно.

В свое время песни Окуджавы, если можно так сказать, слишком легко вошли в нашу жизнь, чтобы в них разбираться всерьез, как в поэзии. Но теперь, читая неторопливо и внимательно, разбираться — одно удовольствие. Например, какими простыми средствами поэт достигает выпуклости, отчетливости видения.

Одна-две строки — и картина врезается в память с той ясностью, какая бывает во сне. Реально настолько, что почти нереально.

Наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры...

Будто на какой-то звук, сверху раздавшийся, они подняли головы, и в одно мгновение изменились их лица.

На пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...

Именно так — «едва помаячили», а не просто «постояли». И ушли не все вместе, а один за другим, уже строем.

Это можно сравнить с монтажом кинокадров. (Кстати, наше кино в свое время обновлялось, по-своему тоже вбирая интонации Окуджавы.) Но еще больше это напоминает и дар художника — одной линией давать образ движения, какой-то главный жест, позу, поворот фигуры. Этот жест у Окуджавы всегда тревожен и красив. Зафиксировано и его начало, и его завершение. А иногда, наоборот, весь смысл в незавершенности. Трубач не просто «отбой сыграет» — он сначала «трубу к губам приблизит и острый локоть отведёт». Этот «острый локоть» все мы видели в детстве, но теперь запомнили уже навсегда, так же как не виданных нами «комиссаров в пыльных шлемах» и их общее, прощальное движение, когда они склоняются над павшими.

А придаться можно к каждой строке. Откуда эта множественность «комиссаров»? И что за странная уверенность — почему израненный трубач должен привстать, привстать, «чтобы последняя граната меня прикончить не смогла»? Так в свое время придирались к «Купанию красного коня» Петрова-Водкина. В самом деле, почему конь красный? Не бывает красных коней. Почему у голого мальчика лицо иконописного отрока? Всё неправда. Но волшеббно-прекрасен абрис мощного коня и мальчика на нем. И безошибочно можно сказать, в какое десятилетие XX века такой конь на холсте мог появиться. Пугающе-прекрасно землистое лицо командира на другой картине, и глаз нельзя отвести от того, как склоняются над ним другие. Кто тут реален, кто завтра будет убит, а кто уже бессмертен? В относительности всего этого и в одновременности — искусство, поэзия, а если задуматься, то и глубокая правда.

Петров-Водкин — близкий Булату Окуджаве художник не только в тех картинах, что названы, но и в натюрмортах, где через выбор предмета говорит о себе эпоха, где у всего — у лаконизма, у колорита, у серого цвета или алого — свое значение. Окуджава выбирает, например, настольную лампу и поет ей гимн. Или высматривает в пышном грузинском застолье маленькую рыбку по имени «храмули», рассматривает ее как живую и начинает с ней свой разговор, дорожа характером собеседника.

Под стихотворением «Храмули», так же как под «Красными цветами», с удивлением читаешь дату: 1963. Что называется, ранний Окуджава. Между тем написал он тогда великолепные поэтические натюрморты, одушевив их мощной силой импровизации — вольным, резким изменением ракурсов, сравнений, домыслов, состояний.

Поэтический жест Окуджавы всегда артистичен («Движения мои учтивы») при том, что иногда дерзок. Прежде чем обратиться к исторической прозе, он, оказывается, еще в шестьдесят втором году позволил себе перевоплотиться в одного из русских царей («Как я сидел в кресле царя») и посмотрел, что из этого получится, если призвать на помощь дерзкую иронию...

А сквозь эти знакомые черты и свойства с годами проступает нечто иное, новое. Сквозь легкую поэтическую «необязательность» — твердое ощущение обязательств. Сквозь милоту — неуступчивость. Даже в памяти о войне, мотиве постоянном, — иной категоризм, иногда неожиданный.

Я всё забыл, как днище вышиб
из бочки века своего.
Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.

«Я выжил» — оглушает. Это не песенная строка. Думаю, что стихи эти в песню не перекладываемы. А от их смысла — почти оторопь. Как это — «не оставил ничего»? Как это — «всё забыл»?

Теперь живу посередине
между войной и тишиной.

Человек не просто «помнит» или «забыл». Он в собственную память теперь совершает как бы путешествие, и оно невероятно.

«Что ты этим хотел сказать? — А то, что ты этим сделал». Если существует состояние «между войной и тишиной» (а в каком ещё состоянии мы постоянно живем?), то рассказать о нем можно так, как это сделал Окуджава.

Он всегда пишет состояния души. А их множество, и поэт часто сам им удивляется. Он не растерял этот детский дар — удивляться. А мы, если что-то и растеряли, будто протираем глаза, поднимая их от страниц книги. Ручаюсь, у нас в это время совсем неплохие лица. Осмысленные, смягченные. Такие лица видишь в зале, когда выступает Булат Окуджава.

Стихи горькие — о прощании и о прощении.

Но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому...

Есть в этом какое-то конечное милосердие, почти холодное, как ни странно. Мирок подмосковной дачи расширяется, а за ним встает большой мир, требующий то защиты, то умения прощать. Незримое присутствие этого большого мира — за калиткой, за ставнями, за дверью — определяет в конечном счете звучание самых камерных стихов. В «Чаяпитии на Арбате» интимности и покоя не намного больше, чем в мандельштамовском «Мы с тобой на кухне посидим...». Постоянно «домашний», Окуджава так же постоянен в тревожном ощущении хрупкости и дома, и всего того, что дорого и кратко — любовь, уют, тишина. Но все же есть «счастливей час покоя»! И потому

не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед...

«У меня в силу душевных свойств постоянная ностальгия по умиротворенным ритмам, по рыцарству, по людям, сеющим доброе, вечное, не подозревая об этом, по умению, наконец, писать настоящие письма, а не просто выговариваться по телефону...» Ностальгия Окуджавы — не пассивное состояние, но чувство требовательное.

Ностальгические мотивы отражают «душевные свойства» поэта, но сам характер этого чувства меняется во времени. Сначала «Ах, Арбат, мой Арбат...», а потом:

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

После большого перерыва, после углубленного занятия прозой в восемьдесят втором году написаны эти стихи. Они лирические, но и социальные тоже, потому что отражают достаточно серьезные общественные проблемы. Привязанность к миру духовных ценностей обязывает обдумывать соотношение этих ценностей с переменами вокруг. А перемены различны. «Хозяйская походка, надменные уста...» Поэт выражает не только свою личную, но нашу общую неприязнь и общую тревогу. В голосе Окуджавы была привычна мягкость, но тут звенит металл.

Было легко и приятно рассуждать о том, что любимое его слово: надежда. Оно и в последней книге присутствует, и в первых стихах, и на самой последней странице:

Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь
и вселяет в нас надежды... Остальное как-нибудь.

Можно понять это как «остальное приложится». В любом случае тут, как всегда, оттенок иронии, потому что «как-нибудь» Окуджава ни жить, ни писать не может и легкости в этом отношении жизнь ему не обещает. «Так природа захотела».

За романтическими «надеждами» и «воспарениями» в характере поэта с годами проступило такое качество, как *н а д ё ж н о с т ь*. Оно более земное и даже суровое в сравнении с милым нашему сердцу знакомым романтическим обликом. Но ведь оно и дорого более всего при свидании.

Николай Подосокорский

Громадная тень корсиканского гения

*Наполеоновский миф в романе Булата Окуджавы
«Свидание с Бонапартом»*

Применительно к роману «Свидание с Бонапартом» (1983, журнал «Дружба народов» № 7—9, отдельное издание — 1985), который сам Булат Окуджава неоднократно называл своей лучшей книгой, критики нередко говорили о его *недооцененности* или о *несправедливости к нему судьбы*. Роман-размышление об изнанке войны и патриотизма вышел в самое мрачное и беспросветное время советского «застоя», а когда внезапно начались перестройка и политика гласности, всем стало не до тонкой интеллигентской рефлексии, облеченной в одежды начала XIX столетия, поскольку всё внимание захватили современность и опыт тоталитарного XX века.

Не повезло и выставке Государственного литературного музея «Свидание с Бонапартом», на проведение которой было получено благословение автора романа на его юбилейном вечере в Литературном музее в 1994 году. Как пишет Генриетта Медынцева: «В последний момент произошла малопонятная вещь, неслыханная в музейной практике: полностью подготовленная и даже аннотированная выставка, с готовым экспозиционным и художественным решением, была отменена на стадии монтажа. Воистину музейное Ватерлоо»¹.

Этот роман Окуджавы часто называют историческим. Действительно, известно, что герои «Свидания с Бонапартом» имеют реальных прототипов, а текст опирается на исторические документы вроде «Предсмертного завещания русского атеиста» ярославского дворянина Ивана Опочинина или записок французской актрисы Луизы Фюзи².

В произведении вообще содержится довольно много отсылок к самым разным историческим трудам и мемуарам, посвященным эпохе наполеоновских войн и царствования Александра I (удивительно, что до сих пор не существует ни одного издания романа с соответствующим историко-литературным комментарием!).

¹ *Медынцева Г.Л.* Проект выставки Государственного Литературного музея «Свидание с Бонапартом. Феномен Наполеона в русской культуре» // Наполеон. Легенда и реальность: Материалы научных конференций и наполеоновских чтений. 1996—1998 / Сост. А.А. Васильев, Г.Л. Медынцева. Ред. В.В. Савицкий. М.: Минувшее, 2003. С. 365—374.

² *Бойко С.С.* Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века. М.: РГГУ, 2013. С. 340—368.

Вместе с тем правильнее было бы назвать роман историософским, историко-психологическим или даже просто гуманистическим, ибо в центре истории для Окуджавы стоят не столько деяния царей и полководцев, интересы государства или события национального значения, сколько отдельный «маленький» человек, с его личными слабостями, причудами, потаёнными страхами, представлениями о счастье, сомнениями и надеждами. Как поясняет «бедный господин» Мендер, убежденный в том, что войска Бонапарта вторгаются в разные страны исключительно ради преследования его персоны якобы в отместку за то, что он сам некогда успел повоевать в Италии: «Я много размышлял над хитросплетениями судеб. Я смог наконец проникнуть в тайны человеческих связей, и я понял, что даже случайный жест безвестного обывателя слит с историей всего человечества»¹. В этом смысле роман «Свидание с Бонапартом» гораздо более близок не столько таким традиционным историческим романам о войне 1812 года, как «Рославлёв, или русские в 1812 году» (1830) М.Н. Загоскина, «Пётр Иванович Выжигин» (1831) Ф.В. Булгарина, «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1832) Р.М. Зотова и др., сколько гораздо более сложным и глубоким высокохудожественным произведением Ф.М. Достоевского, пронизанным наполеоновским мифом².

Безусловно, всю проблематику сложнее устроенного романа Окуджавы никак нельзя сводить только к образу Наполеона Бонапарта, но уже само название произведения объективно акцентирует читательское внимание именно на этой легендарной фигуре как на основополагающей и стержневой. Собственно, роман и начинается со слов о Наполеоне, который практически стоит на пороге дома некогда спасенного им отставного русского генерала Николая Опочинина: «...Если Бонапарт будет идти так, а он будет идти так, то через три, от силы четыре недели достигнет порога моего дома. Когда он явится (а миновать Липеньки он не сможет), я буду кормить его обедом в большой зале. Предвкушаю сладость свидания!». Это смещение точки зрения на великие исторические события с *всемирного* и *национального* уровня до уровня *личного* и *домашнего* весьма характерно для Окуджавы. Грандиозный Московский поход Великой армии императора французов герой писателя сниженно называет «прогулкой»: «Впрочем, что это все нынче в сравнении с кровавой прогулкой, затеянной Бонапартом?.. Корсиканский гений шагает по августовской России не разуваясь, не снимая треуголки³, в напрасном ожидании битвы. На фоне пылающего Смоленска, издалека видная, колеблется его громадная тень».

Можно сказать, что «Свидание с Бонапартом» является своего рода квинтэссенцией наполеоновского мифа в русской литературе XIX—XX веков, и, кажется, после неё столь же значительных художественных произведений на эту тему в России больше не появлялось. У Окуджавы наполеоновский миф раскрыт в самых разных аспектах, и автор ведет многоплановый диалог со своими предшественниками, творцами золотой и черной наполеоновской легенды: от Карамзина времен первых выпусков «Вестника Европы», через которые в русское сознание во многом проникал

¹ Здесь и далее цит. по: Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом: Роман. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 496 с.

² О наполеоновском мифе в творчестве Достоевского см.: Подосокорский Н.Н. Наполеон и 1812 год в творчестве Ф.М. Достоевского // 1812 год и мировая литература / Отв. ред. В.И. Щербаков. — М.: ИМЛИ, 2013. С. 319—364; Подосокорский Н.Н. «Наполеоновский» Петербург и его отражение в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. — Филологический журнал. 2022. № 4 (20). С. 71—135.

³ Слова о «треуголке» Наполеона — дань Окуджавы известным поэтическим описаниям французского императора (ср. со стихотворением Лермонтова «Воздушный корабль» (1840): «Из гроба тогда император,/ Очнувшись, является вдруг;/ На нем треугольная шляпа/ И серый походный сюртук»). На самом деле Наполеон носил не треугольную, а двугольную шляпу (bicorne). Треуголки практически вышли из обихода уже в конце XVIII столетия.

начальный вариант наполеоновского мифа (в нем первый консул Французской республики Бонапарт описывался, в первую очередь, как выдающийся государственный деятель), до Пушкина, Гоголя, Толстого, Алданова и др.

Например, четырежды повторенное обращение Тимофея Игнатъева к своему дедушке «Скажи-ка, дядя...» на фоне разговоров о Бонапарте, несомненно, отсылает к началу знаменитого лермонтовского стихотворения «Бородино» (1837), в котором участник войны 1812 года, живописуя ожесточенную баталию, также сокрушается не о судьбе государства, но о «плохой доле», доставшейся людям того времени.

В целом роман Окуджавы не столько антибонапартистский (Бонапарт ни разу не назван в произведении *антихристом* или *врагом рода человеческого*, хотя на создание такого наполеоновского образа работала вся церковная пропаганда военных лет)¹, сколько *антимилитаристский*. «...Никто еще до сего дня не смог доказать, что бряцание кованой сталью и реки крови могут осчастливить людей и принести им долгожданное успокоение», — восклицает Варвара Волкова. Ей вторит ее возлюбленный Александр Свечин: «Разрушить легко, но как *быть* потом? Все знают, как разрушить, как пустить кровь, как вздернуть, как захватить, как покорить... Но как сделать меня счастливым, не знает никто».

Поскольку роман разбит на четыре части, в двух из которых основными рассказчиками являются женщины, можно заметить, насколько для автора был важен *женский* взгляд на войну и гений Наполеона, отличающийся от *мужского* тем, что он напрочь лишен восхваления сильных мира сего и кровавых побед, одержанных даже *своими* над *врагом*. Впрочем, женщины у Окуджавы, как и героини-мужчины, так же носят в себе наполеоновский вирус. Характерно в этом смысле описание Варвары Волковой как *завоевательницы*, сравниваемой с «завоевателями былых времен» наподобие Марьи Москалёвой из «Дядюшкиного сна» Достоевского².

Произведение Окуджавы всё строится на парадоксах и антиномиях, когда одни и те же вещи одновременно влекут, притягивают и отталкивают, вызывают отвращение у героев. Оценка одних и тех же событий и людей гиперподвижна, находится в постоянном изменении, а размышления о войне, свободе, равенстве, общественном устройстве или Бонапарте скорее ставят всё новые и новые вопросы, а не дают на них четкие и безусловные ответы.

Само название романа, с одной стороны, говорит об определенной симпатии к Наполеону, поскольку речь в нем идет все-таки о *свидании*, а не просто о встрече, и тем более не о стычке, споре или противоборстве. С другой стороны, то, что французский полководец назван именно Бонапартом, а не Наполеоном, демонстрирует явное понижение его статуса. Известно, что на острове Святой Елены английский губернатор Гудсон Лоу демонстративно отказывался именовать ссыльного императора *Наполеоном*, называя его не иначе как «генералом Бонапартом»³.

Возможно, дело еще и в том, что как *генерал* Бонапарт был равен Николаю Опочинину, так же генералу, и вполне мог принять приглашение последнего вместе отобедать (а весь роман изобилует рассуждениями о равенстве людей в правах: «У нас нынче в России все генералы, представь себе»).

Свидание с Бонапартом — это прежде всего встреча героев со своим внутренним Наполеоном, который всё вместе: гений и злодей, завоеватель и освободитель, спаситель и кровопийца, великий государственный деятель и узурпатор. Размышления

¹ Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. — М.: Кучково поле, 2007. С. 68—80.

² См.: Подосокорский Н.Н. Наполеоновские войны в «Дядюшкином сне» Ф.М. Достоевского // «Вопросы литературы», 2011. № 6. С. 350—362.

³ Тарле Е.В. Наполеон // Тарле Е.В. Сочинения в 12 т. Т. 7. / Ред. тома М.В. Нечкина. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. С. 371.

о Наполеоне для героев Окуджавы являются актом самопознания, заставляют их больше рассказывать о себе и раскрывать свои представления о мироустройстве, идеальных и недопустимых отношениях между людьми, смысле истории и границах дозволенного для человека вообще. Бонапарт в романе не столько живой человек (хотя как реальная личность он все же появляется в ряде сцен, но его конкретные черты при этом почти стерты), сколько фон, призрак, мечта, навязчивая идея, мучительный сон (недаром русский генерал, который был им изувечен, но затем спасен, и лелеял мысль об убийстве Наполеона, носит фамилию Опочинин — от *опочинуть* или *опочить*, спать, отойти ко сну). Мистики и метафизики в этом произведении, на первый взгляд, почти нет, но призраки убитых людей вполне способны ожить в сознании героев и напомнить им о постигшей их печальной участи. И это не единственный элемент чудесного в произведении.

Генерал Опочинин в полном соответствии с настроениями начала XIX века испытывает к Наполеону противоречивые чувства: он и восхищается им (Бонапарт в его представлении способен сговориться с самим Богом) и отчаянно ненавидит его. Столь же противоречива в глазах окружающих и его затея с особым угощением для французов. «И вот белые губы молвы разносят, что лазутчики Багратиона спасли Россию в тот самый момент, когда старый безумец Опочинин потчевал Бонапарта обедом и расточал хвалу французам? Князь Пётр решит, что это лазутчики Барклая, Барклай же припишет всё ловкости Дохтурова, Бенигсен доложит государю и присовокупит, что это выглядит как кара Господня, ибо старый безумец Опочинин в этот момент кормил и поил узурпаторов и расточал им дифирамбы...».

Себя Опочинин называет не иначе как «восхищенным» и «старательным учеником» Бонапарта, а его самого — своим «великим учителем»: «Это ли не благородство — усадить великого учителя на самое почетное место и изысканным жестом пригласить и остальных занять подобающие их славе места?». Бонапарт для него, помимо прочего, символ всеобщего равенства: «Он гений не только в баталиях. Пусть там открытия в стратегии, здравый смысл и полет воображения, внезапность и точный расчет, и предвидение, и предошущение, и риск... Пусть так. Но старый солдат орет на него, требуя крестик за кровь, крестик, прости Господи, орет, *распалая честолобие, то самое, императорское, которое и у него в душе* <...>, и меж ним и императором, меж низшим и высшим возникают незримые узы, свитые из общей их славы».

О том же говорит и плененный француз Пасторэ: «Я обожал его, <...> теперь я ему верно служу. Раньше все, что он делал, он делал для Франции, теперь — для себя. Он и теперь кумир для войска, но прежде! В прежние времена за одну его улыбку шли на смерть. Его приказ звучал как глас судьбы, гибель по его слову, ради него почиталась за добродетель, жажда славы мучила нас, собачья преданность ничто в сравнении с тем, что распирало наши сердца... Стариков осталось немного, но еще есть “ворчуны”. Он брал солдата за мочку уха и говорил: “Ах, старый друг, ты был великолепен в атаке!” И это было как орден. И солдат не сомневался, что император в течение боя наблюдал только за ним, и у вояки кружилась голова...».

Вместе с тем на частые слова восхищения военным и политическим гением Наполеона в романе приходится столь же много уничижительных его характеристик: «враг Наполеошка», «безумец, паршивый корсиканец», «мифический император-злодей» и проч. Даже солдаты Великой армии, вторгшиеся в Россию, презрительно именуются «наполеонами». Как говорит помещице Варваре Волковой крепостной Игнат: «Дозволь, матушка, мы вот вчетвером на дорогу сходим, какого-никакого отсталого наполеона приволокём, ты его допросишь, и казним».

Отдельного внимания заслуживает увечье генерала Опочинина — в кампанию 1805 года он лишился ноги, которую ему заменили деревянным протезом, и сам он связывал с этим несчастьем наступление совершенно нового этапа своей жизни.

«...Бонапарт наградил меня деревянной ногой, а Игнатъева в тот же день — вечным покоем. Сонечка сохла, сохла, и мы с Тимошей остались вдвоем». Своему внучатому племяннику Тимоше (Титусу) он рассказывает байки не хуже лермонтовского бородинского «дяди»: «Я бил Наполеона под Диренштейном, он бил меня под Тельницею, я преследовал его у Блазовица, а затем бежал от него в обратном направлении. Где-то там оставлена моя нога, и женщина, которую я любил, отвергла меня — ей не нужен был герой на деревянной ноге...»

Образ героя наполеоновских войн «на деревянной ноге» является хрестоматийным и составляет заметную линию в литературе. Здесь вспоминается герой «Мёртвых душ» Гоголя — Павел Иванович Чичиков, который, согласно предположениям чиновников города N., одновременно и капитан Копейкин, потерявший руку и ногу в одной из битв с наполеоновской армией — «под Красным ли или под Лейпцигом», и «переодетый Наполеон». Или герой сатирической «Истории неустрашимого капитана Кастаньетта» (1862) Эрнеста Катреля, участник почти всех наполеоновских кампаний, терявший в каждой из них какую-то часть своего тела и последовательно заменявший ее на очередной протез (помимо деревянных ног, он имел также кожаный желудок, серебряное лицо и т.д.). Нельзя не вспомнить и о романе Достоевского «Идиот», где другой отставной генерал (и тоже большой выдумщик) Ардалион Иволгин сочиняет собственную легенду о своем свидании с Наполеоном в 1812 году, настаивая на том, что он служил у императора французов камер-пажом и даже стал его другом. В романе Окуджавы о подобных генеральских фантазиях говорится так: «Ах, генерал, какой нелепый вздор рождается в твоей башке военной!..» В ответ на историю Иволгина его приятель-субутильник Лебедев сочинил не менее фантастический рассказ о том, как в 1812 году один «французский шассёр навел на него пушку и отстрелил ему ногу, так, для забавы; что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище...»¹.

Подчеркнутая *одноногость* тут не только является трагическим следствием войны, массово производящей из здоровых мужчин инвалидов, но и указывает на возможность освободиться от магнетизма личности Наполеона. Ведь как замечал в «Евгении Онегине» Пушкин:

...Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно.

Окуджава, по всей видимости, держал эти строки в уме при написании своего романа, так как в самом его начале генерал Опочинин сетует на самоуверенных глупцов и невежд, с которыми лучше не спорить, ибо для них вы «есть ноль».

Еще одним важным источником творческого вдохновения писателя были письма, которые в год нашествия Наполеона на Россию писала фрейлина императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Фёдоровны — Мария Волкова — своей петербургской подруге и родственнице Варваре Ланской. Собственно, Окуджава в свойственной ему ироничной манере соединил в своем произведении имена двух корреспонденток, назвав свою героиню Варварой Волковой.

Ее исторический прототип — Мария Аполлоновна Волкова (1786—1859) была старшей дочерью тайного советника, генерал-поручика Аполлона Волкова и Маргариты Кошелёвой. По линии Кошелёвых она состояла в родстве со старой

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. — Л.: Наука, 1972—1990. Т. 8, с. 411.

московской знатью. Родилась и выросла в Москве в родительском доме на Малой Никитской. В 1812 году была пожалована во фрейлины двора. Узнав о нашествии Наполеона, Волковы в целях сохранности перевезли все ценное из подмосковного имения в Клинском уезде в свой московский дом, где всё это и погибло вместе с домом в пожаре. Сама Мария Аполлоновна вместе с матерью при приближении французов выехала в Тамбов. В 1813 году они вернулись в разорённую Москву. Известно, что она состояла в дружеских отношениях с Вяземским, В.Л. Пушкиным, супругами Берсами и братьями Виельгорскими и др.

Материалы ее переписки были использованы Львом Толстым при создании романа «Война и мир» (1865–1869). Их частичная публикация состоялась в 1872 году в журнале «Русский архив» под заглавием «Частные письма 1812 года». Полный корпус писем, в переводе М.П. Свистуновой, который, помимо писем самой Марии, содержал и ряд других посланий, обращенных к ее матери, впервые увидел свет в «Вестнике Европы» под заглавием «Грибоедовская Москва в письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской» (1874, № 8, 9, 10 и 12; 1875, № 1, 2 и 8). В последующие десятилетия переписка неоднократно переиздавалась, — как в полном объёме, так и фрагментарно.

Окуджава не только использовал в своем романе эти письма, как и ранее Толстой, но и обыграл некоторые детали биографии Волковой. Так, родной брат Марии Волковой Николай, дослужившийся до чина действительного статского советника, соответствовавшего чину генерал-майора в армии, в войну 1812 года и в заграничных походах русской армии служил адъютантом при генерале Эммануиле Сен-При (1776—1814), с которым по сюжету «Свидания с Бонапартом» ранее вместе служил и генерал Николай Опочинин. В письме к Варваре Ланской от 24 июня 1812 года Мария Волкова отмечает: «Предстоящая война причиняет мне много беспокойств. Нынче писали к Сен-При, прося его взять к себе брата моего Николая в адъютанты. С минуты моего приезда сюда я не слышу другого разговора, как о войне»¹.

Николай Опочинин называет графа Сен-При «боевым товарищем, отменным командиром и добрым человеком»; замечает, что тот — «российский дворянин, пусть не по рождению, а по душе»; и, наконец, признает его «верхом совершенства». Именно к нему он отправляет своего племянника Тимошу. В начале войны 1812 года генерал-майор Сен-При был назначен на должность начальника Главного штаба 2-й Западной армии, которой командовал еще один старый боевой товарищ Опочинина князь Пётр Багратион, так же неоднократно упоминаемый в романе. И Багратион, и Сен-При в «Свидании с Бонапартом» не скрывают своих теплых чувств к Опочинину-старшему. Багратион гостит в Липеньках сутки и подбадривает приятеля-инвалида, полусушня-полувсерьез призывая его вернуться в армию: «Какого командира лишается Россия! Да за тобой будет бегать Филимошка с супчиком и горячим самоваром!.. Ну имей с собой, наконец, воз корпии для примочек!» Сен-При же в письме к Опочинину называет себя его «верным», «любящим товарищем»; признается, что часто его вспоминает, и констатирует, что «отсутствие его в армии очень заметно».

В вымышленном письме Э.Ф. Сен-При к Николаю Опочинину по поводу устройства его племянника Тимофея и в реальном письме Сен-При к Маргарите Волковой (матери Марии Волковой) по поводу устройства ее сына Николая (это письмо опубликовано в общем корпусе переписки Марии Волковой) совпадает очень многое: от даты и места написания (19 августа, Ивашково близ города Гжатска) и отдельных фраз/обращений до общей структуры и объема. И Титуса, и Николая определяют в егерский полк, а половина текста обоих писем почти идентична, только у Окуджавы одно имя (реального офицера) заменено на другое имя (героя его романа).

¹ «Дней прошлых гордые следы». Переписка Марии Аполлоновны Волковой. 1812—1813 годы / Составление, подготовка текста, комментарии М.Я. Волковой. — М.: Минувшее, 2012. С. 82.

Здесь автор «Свидания с Бонапартом» следует за Толстым, который в ранних редакциях «Войны и мира» тоже почти дословно воспроизвел фрагменты из переписки Марии Волковой в письмах Марии Болконской к Жюли Карагиной.

В предисловии 1874 года к первой полной публикации писем Марии Волковой в «Вестнике Европы» содержится близкий Окуджаве взгляд на историю и место в ней человека. «И вот мы... дошли до убеждения, что секреты истории лежат в тех личных переменах, какие могли происходить в душе отдельного человека, история эпохи сошла на степень биографии. <...> Мы мало знакомы с состоянием общественной личности у нас в Александровскую эпоху, мы имеем еще слишком немного данных, чтобы вполне живо представить себе, как размышлял тогда отдельный человек, что бы он чувствовал, каковы были его убеждения, страсти — весь этот внутренний быт человека, в его обыденных нравах, когда он думал быть совершенно на свободе, с самим собою, в своем интимном кружке, далеко от официального мира, от всяких наблюдений постороннего глаза»¹. По сути тут поставлена задача очеловечивания истории, которая по-разному была реализована художественными средствами в «Войне и мире» и в «Свидании с Бонапартом», вобравшими в себя многие наблюдения и детали из писем Волковой, хотя и в измененном, переосмысленном виде.

Николай Опочинин называет Варвару Волкову «гвардейцем в юбке, с мужской независимостью суждений в делах отнюдь не дамских», и это отчасти характеризует и Марию Волкову, подробно описывающую в своих письмах новости о движении русской и французской армий, положении командующих и меняющихся общественных настроениях. Разумеется, как и любой прототип, не столько Мария Волкова объясняет художественный образ Варвары Волковой, сколько, наоборот, героиня Окуджавы заставляет по-новому взглянуть на ставший хрестоматийным образ патриотически настроенной великосветской дамы той эпохи. Окуджава намеренно снижает общий пропагандистский пафос рассуждений реальной Волковой и заостряет ее индивидуальные психологические черты.

В душевных метаниях Варвары Волковой развивается перемена, произошедшая в настроениях Марии Волковой в ходе войны 1812 года. М.А. Александрова замечает в своей докторской диссертации: «Варвара Волкова в третьей части романа вспоминает наполеоновское отступление и партизанское преследование как апофеоз военного помешательства. Обессилевшие французы остаются умирать на снегу, и всё же конвоиры продолжают гнать русских пленных, пристреливая упавших; но когда на колонну налетают казаки, свидетель возмездия признаётся: “Радости не было, было одно безумие”. “Умом тронулись” не только пленные, которые после гибели казаков “начали вновь медленно и обречённо сходить к дороге”. Сама Варвара, партизанская “атаманша”, на время поддаётся общему состоянию: “Мне страшно вспомнить себя на том пригорке в наброшенном на плечи овчинном тулупе, в овчинной же мужичьей шапке с синей суконной тульей, окружённую свитой, замершей в обнимку со своими ружьями, и эта снежная сцена, на которую бесшумно валятся один за другим все, все, где убийц убивают и их убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые... И тот, кто крутит это колесо, ввергает их в преступления, связывает их по рукам и ногам, и у них уже нет сил отрешиться... Каков соблазн!”. Очевидно, что к вине Бонапарта проблема не сводится»².

¹ «Дней прошлых гордые следы». Переписка Марии Аполлоновны Волковой. 1812—1813 годы / Составление, подготовка текста, комментарии М.Я. Волковой. — М.: Минувшее, 2012. С. 69.

² Александрова М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке»: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.01.01 / Александрова Мария Александровна; Место защиты: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». — Нижний Новгород, 2021. С. 314.

Все эти сомнения в сжатом виде присутствуют в письмах Марии Волковой, которая начинает повествование о тяготах войны 1812 года с эмоциональных проклятий в адрес Наполеона и экзальтированной возгонки патриотических чувств, а заканчивает выражением ужаса от иррациональности войны, упоминаниями преступлений казаков и сочувствием к пленным французам. В письме от 23 сентября 1812 года к Варваре Ланской она пишет: «Самые многочисленные отряды пленных отправили в Нижний, там их умирает по сотне ежедневно; одетые кое-как, они не выносят нашего климата. Несмотря на все зло, которое они нам сделали, я не могу хладнокровно подумать, что этим несчастным не оказывают никакой помощи, и они умирают на больших дорогах, как бессловесные животные»¹. В другом письме от 28 октября 1812 года Мария Волкова также частично снимает вину с одного Наполеона, переводя причины случившейся войны в метафизическую сферу: «Наполеону мы обязаны тем, что страдаем от того, чем прежде наслаждались. Впрочем, всё, что нам суждено испытать, не от нас зависит, а назначено свыше»².

Весьма любопытны и рассуждения Марии Волковой о распространенных в странах *цивилизованной* Европы обвинениях русского народа в *варварстве*, которые она то с негодованием отвергает, то с горячностью заявляет относительно них: «...Пусть эти дураки называют Россию варварской страной, коль скоро их цивилизация привела их к добровольному подчинению гнуснейшему тирану. Слава Богу, что мы варвары, если считаются образованными Австрия, Пруссия и Франция»³. Окуджава не мог не оценить эту игру слов в рассуждениях о варварах в письмах к Варваре Ланской. Его героиня Варвара Волкова тоже немало рассуждает о варварстве, но, как и в других случаях, ее суждения больше обращены не на публику, а вглубь себя: «Генерал Опочинин лежал у ворот собственной усадьбы, застреленный французским драгуном, и его любовь к Варваре стремительно холодела. “Неужто мы и впрямь варвары? — подумала Варвара, поеживаясь. — Что ж мы никак не угомонимся?” Закусив побелевшие губы, запахиваясь в шаль в жаркой избе, она вновь пыталась отыскать виновных, но, как и прежде, их имена и облик были неуловимы... Кто ж виноват во всем? Неужто всего-то эти два негодяя, подбившие других сжечь дом с живыми людьми?.. А может быть, маршал Ней, в чьих жилах крашенная кровь? Или сам Бонапарт, пообещавший спасение от рабства? Или она сама, Варвара, не приученная к состраданию? Или генерал Опочинин, так печально прервавший свое путешествие в поисках истины?.. Да и хватит ли двух склизких камней на двух чужих унылых шеях, чтобы ей уже не беспокоиться о собственном благополучии?..».

В романе «Свидание с Бонапартом» война не только не романтизируется, но от всех ее участников и свидетелей в прямом смысле веет смертельной усталостью и тоской. «Усталыми гениями» называет Бонапарта и его маршалов генерал Опочинин. А вот каким приснился Наполеон певице Луизе Бигар: «Всю ночь я плакала, а когда наконец сон сморил меня, я увидела императора. Он стоял напротив меня спиной к окну в сером сюртуке и лосинах. Восковое лицо его выступало из полумрака, в глазах стояла такая тоска, что я не выдержала и закричала...». Особой «опочининской тоской во взоре» наделен и Тимофей Игнатьев, в финале покончивший с собой. Что же касается императора Александра I, то про него и вовсе говорится, что он «скончался от тоски». Здесь как будто сквозит усталостью самого Окуджавы от любых военных действий и деспотического принуждения к массовому кровопролитию и возгонке ненависти — писатель в юном возрасте сам прошел через Вторую мировую

¹ «Дней прошлых гордые следы». Переписка Марии Аполлоновны Волковой. 1812—1813 годы / Составление, подготовка текста, комментарии М.Я. Волковой. — М.: Минувшее, 2012. С. 103.

² Там же, с. 116.

³ Там же, с. 138.

(Великую Отечественную) войну, а свой роман «Свидание с Бонапартом» начал создавать в год начала советского вторжения в Афганистан.

Непременная составляющая наполеоновского мифа — сравнения Наполеона с другими великими историческими деятелями. В романе Окуджавы их тоже немало. Герои то и дело уподобляют Бонапарта Александру Македонскому, Ганнибалу, Юлию Цезарю, Тамерлану. Вокруг каждого из этих историко-культурных сражений за несколько столетий возникла огромная литература, и Окуджава здесь лишь следует давно устоявшейся русской и европейской традиции. Наибольшее значение при этом в «Свидании с Бонапартом» придается переплетению наполеоновской и суворовской легенды. «...Что значит полководческий дар обожаемого генералиссимуса рядом с переворотом, совершенным Бонапартом, по сравнению с новым обществом, с его принципами, нам непонятными? Что значат военные способности, даже гений, умение двигать полки, произносить запоминающиеся сентенции, слыть в обществе чудачком, что это все в сравнении с новым духом, поселившимся среди людей?» — вопрошает героя.

«Новый дух», сперва привнесенный в европейскую жизнь французской революцией, а затем укрепленный Наполеоном, был проникнут ценностями свободы, равенства и братства. Недаром Арсений Бочкарёв произносит (пусть и шепотом): «Бонапарт уничтожил сословия, и крестьянин, французский крестьянин, который у него в солдатах, рассчитывает на одинаковые с командирами награды, я уж не говорю, что солдат этот сам может стать командиром... Представляете, как он дерётся! Они ведь в большинстве своем французы, замухрышки, но как они дерутся!.. Нашего солдата дома секли, в строю секут... Представляете, какая сила у французского генерала! Наш солдат терпелив... Вот что важно... Суворов, конечно, гений, но одним гением ничего не сделать».

В сравнении Суворова с Наполеоном предпочтение отдается, скорее, последнему. «Старичок водил вас по чужим огородам, и вы почитаете это за патриотизм?» — насмешливо замечает Варвара Волкова генералу Опочинину. А использование грубой военной силы даже в «благих» политических целях представляется героям Окуджавы как минимум проблематичным. Так, читаем о споре Волковой и Свечина:

«Бывало, например, речь заходила о Бонапарте, ну, что-нибудь о его честолюбии, или военных талантах, или еще о чем-нибудь, и затевался легкий спор <...> [Свечин], допустим, говорил, обращаясь не ко мне, а к своему соседу: “Что бы там ни говорили о Бонапарте, а он дал французам порядок, и они за него горой...” Тут я говорила своему соседу: “С помощью пушек можно добиться чего угодно, но насколько это справедливо?...” Свечин отвечал, не глядя на меня: “Пушки, видимо, и существуют для того, чтобы успокаивать ретроградов...” — “Лишать людей силой их привычного уклада, — говорила я соседу, слегка улыбаясь, — это совершать преступление...” — “Если рабство — привычный уклад, — небрежно ронял Свечин, — то это дурная привычка...” И наши соседи поддакивали и мне, и ему, и я думала о том, что свидание наше отдаляется».

Нельзя не сказать и о специфическом проявлении наполеонизма в романе. Герои Окуджавы наделены редким в литературе *возвышенным наполеонизмом*, который делает их не мельче, чем они есть на самом деле, но, наоборот, благороднее и чище. К примеру, Варвара Волкова пытается использовать приемы Наполеона в своей жизни следующим образом: «Помнится, тогда мне попала на глаза или услышалась мысль о том, что завоевательные успехи Бонапарта вытекают из простого, им самим установленного правила: не тратить усилий на покорение отдельных крепостей, а добиваться общего разгрома противной стороны, и тогда, мол, оставшиеся крепости падут сами собой... Тогда эта идея, далекая, в общем, от моих собственных интересов, внезапно пронзила меня, когда я попыталась приложить ее к этой житейской ситуации. Ежели в моем завоевании, думала я, этот хмурый господин был крепостью, то что же

тогда была общая победа? Кто был мой главный соперник, покорив которого я могла бы рассчитывать на успех в частном? *Уж не победа ли над собой предназначалась мне сначала? Не возвышение ли над собственным ничтожеством?* Так, значит, стоит мне только осуществить эту главную победу, как самая вожденная из крепостей падет передо мной? Ах, Господь милосердный, легко ли возвыситься, стоя на коленях? Не успев отвергнуть эту непосильную задачу, я вдруг поняла, что покорение целых стран и народов, эта кровавая игра, и все ее правила, и ее результаты — все это ничто, легкая прогулка рядом с великими тяготами моей войны. Ведь противника покоряют из ненависти к нему и из любви к себе, а *моя же война вся была из любви к нему*, и я не могла причинить ему боли. Так что же труднее?..»

«Свидание с Бонапартом» — это описание глубинных встреч героев с их внутренним скрытым гением и источником власти, который может их как освободить, так и поработить. Всё зависит от их отношения к себе и окружающим: захватнического или жертвенного. На примере царя Филиппа II Македонского Свечин с Варварой приходят к выводу о токсичности ничем не ограниченной власти. «...Кто внушил ему эту губительную страсть подавлять других? И вновь, что самое ужасное, его деяния и гибель были предметом восхищения и подражания, а следовало содрогаться...

— Боюсь, — сказала Варвара учтиво, — что наша цивилизация всего лишь маскировка того же самого, хотя Бонапарт не взял бы в жены дикарку Олимпиаду. — И засмеялась. — Неужели они все страдали одним недугом? <...>

— Получается так, — ответил с недоумением. — И это не дурной характер или что-то в этом роде... Вероятно, то место, на которое они усаживались, было отравлено...»

Диагноз, который Окуджава ставит всемирной истории в целом, на первый взгляд, неутешителен: «Фагот <...> знает, что всё завершается: империи гибнут, благородные порывы угасают, ослепительные надежды превращаются в фарс, великие замыслы — в кучу навоза; от царей остаются гробницы, победителя ждёт возмездие...» Однако если пропустить всю историю через себя, то и внутренний Бонапарт может стать подлинным «великим учителем».

Мария Бушуева

Эссе о Мусоргском

Предварю свой отзыв о романе небольшим уточнением: читала, стремясь максимально отстраниться от прототипов, которых, конечно же, нельзя не узнать в отце и сыне — главных героях. Включенные в роман отрывки из книг Павла Мейлахса, как мне кажется, стоит тоже воспринимать отстраненно, соотнеся их с психологией героя, а не с автором-писателем. Хотя, наверное, не лишним будет напомнить, что о творчестве Павла Мейлахса писали многие, и привести хотя бы пару отзывов. В свое время, рецензируя роман «Пророк», вдумчивый прозаик Владимир Шпаков очень точно обозначил резкие эмоциональные перепады прозы Мейлахса: «Герой постоянно меняет координаты, бросается в крайности, и амплитуда этих бросков — от жгучей ненависти к мирозданию, замешенной на мании величия, до полного самоуничтожения — плюс целый ряд промежуточных состояний». Тонкий и наблюдательный Валерий Попов выделил из эмоциональных зигзагов наиболее, на его взгляд, отчетливую линию: «Совмещать состояние собственного страха с высоким литературным мастерством удавалось лишь истинным чемпионам этого жанра: Гоголю, Кафке, Гофману и немногим другим. И теперь в этот жанр, на мой взгляд, самый ценный в мировой литературе, врывается Павел Мейлахс. Как этот жанр опасен для автора, видно по жизни и Гоголя, и Кафки, и Гофмана».

Как жанр опасен, читатель убедится сам, прочитав роман Александра Мелихова, в определенном смысле продолжающий

«Отцов и детей». Основной конфликт, несомненно, кто-то сведет к проблемам поколенческим, заострившимся на фоне кризисных для многих перемен социальных, но, мне кажется, это будет всего лишь наложением готовой схемы на глубокую реку человеческих отношений: любви и ненависти, страха и отчаянья, надежды и безверия. Отец и сын, явленные в романе, точно так же могли страдать и любить сегодня, вчера, годы и даже столетия назад. И точно так же могли сталкиваться в родственной битве идеалы, потому что, вопреки всему, идеалы вечны.

Голос отца: «Красота, высота, чистота — всё, что для нормальных людей является украшением, для меня кислород, без которого я задохнусь. Подозреваю, что со временем начнут задыхаться и другие, только им для этого потребуется гораздо больше времени».

Отец — жрец храма Чистоты, никогда не забывающий, что происходит «из аристократического советского семейства», жившего культурой. Его родителям-учителям были чужды советские лозунги, в их разговорах не звучали слова «деньги, достал, повысили, понизили», а самой сильной формой осуждения была брезгливая интонация. Потому закономерно, что герой-рассказчик, выросший на книгах и музыке, устремился в чистую науку — «хрустальный Дворец на сияющей вершине». Вроде бы всё у него в жизни сначала складывается удачно: победы на математических олимпиадах, университет, престижный факультет, взаимное чувство с девушкой-студенткой, брак по любви, рождение ребенка... Молодая жена красива, умна, она выросла в простой русской семье, не обделённой

вниманием к красоте: ее мать, «святая бабушка Феня», «еле живая от нищеты <...> и многомесячных бессонных ночей с обезумевшим мужем», способна была ночью вывести девочку на крыльцо, чтобы вместе с ней послушать пение соловья. И дочь любит литературу, одарена музыкально. Пение дуэтом с мужем — символ полного слияния, экстаза душевного единения. Но, оказывается, обычная семейная жизнь для молодого мужа — тягостный довесок к его идеалу чистоты. Отцовские обязанности невыносимы, если их не возвысить до красоты служения, до акта чистой жертвенности, тогда они превращаются в самый хрустальный из всех хрустальных дворцов.

Увы, время идет, дети растут, не только любовные лодки разбиваются, разбиваются и сверкающие дворцы родительского служения. И порой в осколках отражаются как лучезарные ангелы, так и монстры, одержимые местью или охваченные злым отчаянием. И вот из счастливого зачина постепенно вырастает сюжет о семейной трагедии: алкоголизме сына и его смерти, о метаморфозах и гибели чистой души, о душевной ране отца.

Голос сына: «...Презрение, так видится тебе ко мне отношение. Автоматический ответ на него — ненависть. Не постоянная, конечно, но загнанная вглубь и прорывающаяся в невменяемом состоянии. Наверно, это вариант всё той же формулы — ненависть отвергнутой любви. Мне иногда кажется, что ты сам солдат какого-то невидимого фронта, и меня тоже воспитывал солдатом, а я оказался предателем. И ты не можешь мне этого простить...»

На первый взгляд, причина драматических отношений в несоответствии слишком высокой планки, установленной отцом — жрецом храма Чистоты, — природным возможностям сына. Ощущая свою неспособность красиво взлететь в прыжке до «сияющей вершины», опаснее, но проще предпочесть непосильному волевому напряжению — падение, — таким видится ответ сына на завышенные требования. И охваченный всё нарастающим отчаянием от собственного несоответствия ожиданиям отца сын возвел падение в философию своей жизни.

Вердикт отцу выносит его любовница Фифа. На признание, что он хотел вселить в сына способность при любых обстоятельствах сохранять достоинство, она отвечает: «А вселил

неуверенность. Потому что невозможно сохранить достоинство, если понимать его как незапятнанность».

Любовница-аспирантка — «всем чистюлям чистюля», потому и Фифа. В повести у всех есть имена-прозвища. Сын — Ангел (мотив падшего ангела, конечно, отчётлив), его мать — Колдунья (из-за сходства с Мариной Влади, когда-то сыгравшей Олесю в экранизации одноименной повести Куприна), шеф-членкор зовется Анфантеррибль (он вызывает восхищение и ужас своими нестандартными масштабными подходами)... Эти имена, по идее, противопоставлены прозвищам блатных «квартальских уродов», однако тоже отражают приоритет свойства, то есть части над целым. Дружкой с «грязными» блатными гордится бывший интеллигентный очень добрый мальчик, ставший подростком. Что остается отцу — жрецу храма Чистоты? Наверное, лишь одно: хранить гордое терпение. Блатную компанию объединяют наркотики, протест против «буржуев» и рок-музыка.

Голос сына: «...Играющие рок, он видел их на фотографиях — как они были великолепны! Дранные, волосатые, оружие. Гитары, микрофоны, ударные установки, провода по всей сцене. Вот это — жизнь. Вот это — действительно. Они казались ему пророками».

Голос отца: «...Нынешнее ожлобление открыло мне глаза, что Ангельские дружки были не хорохорящейся гопотой, а втоптанными в прах земной душой, пытающимися прорваться в какие-то небеса. И Ангел оценил этот порыв, а я не оценил».

Есть в романе очень важный мотив — мотив страха. Страх за свою жизнь, доходящий до фобий, сын начал испытывать, ещё будучи ребенком. Один как бы случайный эпизод приоткрывает его характер. Отцу, показывающему мальчику через Неву Стрелку, Зимний, Адмиралтейство, захотелось пошутить, и он спросил: «Если упадешь, что ты будешь делать?» И ребенок ответил «жалобно и честно»: тонуть. Отец-рассказчик пытается объяснить постоянные страхи сына, которые тот скрывал, пережитым им приступом кардиоболести. Но, скорее, бессознательный страх (а, возможно, как следствие — болезнь сердца) вызывало у ребенка смертельно пугающее опасение: *таким*, каков он есть, он миру не нужен. Отец сильный, а он слишком

слабый. Он не способен бороться. Он может только в отчаянии идти ко дну, видя в этом свой бунт. К тому же его мать, считая мужа оторванным от реальности гением, неосознанно ещё завышала планку: получалось, чтобы победить отца, сыну нужно гением стать. Или — достоверно сыграть роль гения, стерев границу между ролью и жизнью своей гибелью, — чтобы гибель высветила лицо гения, который, «безрукый, безногий и немой», был «погребен в нем заживо».

Голос сына: «...Лет с четырнадцати я ловил себя на мысли, что втайне хочу убить отца».

Но конфликт глубже проблемы ожидания и несоответствия. Рок-музыка выражала общий подростковый вызов скуке привычного взрослого мира, а социальный ветер свободы сбил этические «дорожные знаки» — путеводные для поколения родителей. Конечно, наступившая свобода «быть любыми», опасная на дорогах, лишенных ориентиров, не означала для сына свободы от власти отца, а лишь позволяла придавать бунту любые формы. Вероятно, и рок стал не только страстью, не только экстазом единения с друзьями, не только отрицанием «классики» семьи и школы, но и самой влекущей формой личного бунта против экзистенциально опасной «зеркальности» с отцом. И это предположение, существенное для понимания конфликта романа, в тексте намечено. Отец видел в сыне свое продолжение, видел не отдельного взрослеющего человека, а самого себя. В конечном итоге — свою тень. «Зеркальность» проявлялась буквально во всём. И напиваться отцу в юности «случалось с большим размахом», и культ экстаза душевного слияния — от него, и нестерпимая для него скука «обычной жизни», и полёт воображения... Обладая силой, отец неосознанно отрезал все ростки, не вписывающиеся в собственное отражение, — своё второе «я». И Ангел восстал против власти — интеллектуальной, этической, эстетической — Бога-отца, возжаждав уничтожить его, чтобы стать самим собой. Прорыв сына к себе только начался, но был прерван... Победить Бога-отца с «обугленным» от страданий лицом не удалось — он всё равно оказался много сильнее, ибо в идеалы свои *верил*. Оставалось единственное — сделать его своим заложником и попытаться сменить роли. И эта попытка оказалась безуспешной.

Да, отец теперь жил в постоянном стрессе, но повержен он все-таки не был. Внутренний стержень в нем оказался, в отличие от хрустальных дворцов, не разбиваемым, а протест сына слишком инфантильным и саморазрушительным. Бунт отчаянья затянулся на годы. Не войдя в дверь взрослого мира, сын с яростью эту дверь захлопнул для себя навсегда. Часы его личного времени остановились, теперь вечно показывая «час подростка». Когда пьяный падший Ангел бьет свою бывшую жену, он с ненавистью думает: «Взрослая. <...> Женится на довольно милой девушке, а какая отвратительная взрослая тетка получилась из нее...» Самое лучшее в себе падший Ангел стал презирать, «считать порядочность и доброту трусостью», а отцовский идеал «чистоты» забросал «грязью», в результате тотально отвергая собственную жизнь.

Бунт становится нескончаемой реакцией распада. «Обугленное» лицо отца превращается в «испепеленное» лицо сына.

Голос сына: «Наверно, я был рожден, чтобы распространять прекрасное и высокое. Даже сейчас, уходя, я верю в высокое и прекрасное. Моя логика противоположна той, что получила у нас довольно широкое распространение: я дерьмо, следовательно, пусть весь мир будет дерьмом. Я никогда так не рассуждал. Дерьмо я и только я. Ничего больше из этого не следует.

Я оказался недостоин своей миссии».

Впрочем, в падении и распаде был эстетический ориентир, опять же заданный отцом — Мусоргский. Перед сном вместо колыбельной отец напевал «или увертюру к любимой “Хованщине”, или арию Юродивого из “Бориса Годунова”». Музыкально одаренный ребенок первую серьезную фразу не произнес, «а пропел ангельским голосом из арии Юродивого: “Лейтесь, ле-е-ейтесь, слезы го-орькие...”».

Судьба любимого композитора отца и ария Юродивого стали роковыми образами для сына.

Голос отца: «...Я считал весьма завидной участь “гений умер в нищете”, — ведь гении живут в своих творениях. Так что Мусоргский и поныне живет всех живых. Но что вызывало мучительную жалость к нему — он не успел закончить “Хованщину”. Смерть прервала, мерзкое хамское насилие вульгарной материи над великим духом! Из грязи грязь!»

Даже то, что любовница Фифа жила «в доме Мусоргского», наделяло ее романтическим ореолом. А вина мужа перед женой смывала невольную обиду: через Колдунью вошла в жизнь семьи «несмываемая грязь» отношений с её братом. Драма русского по матери, по еврейским законам — не еврея, а русского, но для людей малокультурных — не русского из-за еврейской фамилии, — особая линия повести. Израиль, куда попытался сбежать Ангел, оттолкнул его отсутствием личной истории, дорогих памяти сердца штрихов родного Ленинграда-Петербурга, без которых он бы потерял себя окончательно. Здесь сын снова повторяет отца, уверенного, что где-то он, может быть, нашел бы и деньги, и почёт, но это было бы для него прозябание, а не жизнь.

И все-таки ошибочно сводить причины трагедии отца и сына только к психологии. Есть нечто более глубокое в каждой судьбе, и это не обязательно генетика. В романе предпринята попытка найти объяснение в дурной наследственности. Но тысячи людей имеют в генетике ту или иную предрасположенность: к болезни, алкоголизму, деструктивному поведению, — но не заболевают, не спиваются, не кончают с собой. Семейный рисунок отношений крайне важен, однако не он является первичным пусковым крючком. Да, сын пытался прорваться к самому себе и не смог вырваться из роли второго «я» отца, но за отцом и за матерью любого ребенка стоит нечто большее: их родовая история.

И когда Ангел восклицает: «Я расплачиваюсь за какие-то чужие грехи! Я их не совершал! Кальвинизм какой-то! Мне суждено погибнуть!» — это более значимо для разгадки тайны его судьбы, чем все другие причины, психологически объяснимые. Мы слишком самоуверенны, убеждая себя в собственной отдельности. Человек — строка в повести его рода. И всего лишь продолжает текст, ему невидимый, написанный до него. Потому интуиция Ангела могла подсказать верно — судьба его действительно стала расплатой за чью-то гибель или тяжкий грех, жертвоприношением будущему: потомкам ли, искусству ли, а может быть, и той подлинной досоветской России Пушкина — Лермонтова — Толстого — Достоевского, которую продолжал упорно воскрешать в себе отец и о которой тосковал он, его сын. Ответ на тех страницах, которые ещё не написаны, он — впереди.

...Когда жена порой присоединялась к пению, в муже посыпалось чувство вины за свои измены: «При Мусоргском в нашей с Фифой любви проступала нечистота».

Через много лет сын пришлет эссе о Мусоргском.

Голос отца. «Он перебирал все обиды, чинившиеся несчастному гению, оплакивал его жуткие запои, когда он всё пропивал с себя, писал, что ощущает его своим беспутным гениальным сыном и всю жизнь мучается оттого, что не может передать ему свои оставшиеся бессмысленные годы, чтобы тот дописал “Хованщину”».

Андрей Пермяков

Облачная дисциплина

Не во времени дело-то, а в пространстве.

Фильм «Облако-Рай»

Некоторое время назад, между 2014 и 2019 годами, Илья Фаликов написал четыре книги о четырёх поэтах¹. Те книги вызвали серьёзный интерес, резонанс, и одним из немногих, но странноватых пунктов критики (в *придирчивом* смысле данного термина) была высокая скорость появления работ и их якобы «одинаковость». Хотя сходными меж собою те труды могут показаться разве что инопланетянину или человеку, совершенно не знающему русского языка: столбцы стихов, разделённые более или менее длинными фрагментами авторского текста. Вполне легитимный метод.

Мы свой отзыв организуем совершенно аналогично. Цитат будет немало. А биографии, написанные Фаликовым, были абсолютно разными. Скорости их прочитывания фундаментально различаются. И дело не в толщине корешка, конечно же: на восприятие страницы в каждом из томов уходит порядково различное время.

Илья Фаликов. Прости: Стихи 2019—2023. — М.: Буки Веди, 2023.

¹ Фаликов И. Евтушенко. Love story. — М.: Молодая гвардия, 2014. (Серия ЖЗЛ). — 704 с.; Фаликов И. Борис Рыжий. Дивий камень. — М.: Молодая гвардия. ЖЗЛ. Малая серия, 2015. — 292 с.; Фаликов И. Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка. — М.: Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ. 2017. — 864 с.; Фаликов И. Борис Слуцкий. Майор и муза. — М.: Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ. 2019.

Журнальные варианты всех четырёх книг были опубликованы в «ДН» (соответственно № 7, 2013; № 4, 2015; № 6, 2016; № 5, 2018).

Впрочем, сущностное сходство присутствовало. Прежде всего, труды были поэтическими. В повествовании о Цветаевой сказано: «В моем тексте немало незакавыченных цитат, как это делается в поэзии, к каковой, смею надеяться, прикосновенна эта книга».

«Прикосновенными к поэзии» оказались все перечисленные исследования. Более чем прикосновенными. Приведём несколько цитат вперемешку. Сперва — сугубо поэтических. В расхожем смысле термина.

«Там был сад великолепный до небес».

«Жизнь его — туманное облако при неясной погоде».

«Бывают страшные сближения».

«Взаимосвязи муз и музык не так уж и замысловаты».

«В ту пору критики себя уважали особенно глубоко».

«Лютый друг художественной интеллигенции».

«Раздутый, как сломанная нога, шланг».

«Море стало абстракцией, полоской сини».

«Других женских имен в его мужской судьбе не отмечено. Большой конспиратор».

Столь же интересны наблюдения за коллегами по поэтическому цеху.

«...Четырёхстопный ямб вообще больше, чем что-либо другое, роднит русских поэтов, делая их порой схожими чуть ли не до неразличимости».

«Евтушенковская романтика похожа на романтику того же Багрицкого, как слово “карбас” на слово “баркас”».

«Есть как минимум два типа литературного поведения поэта — евтушенковский

и чухонцевский. Сопоставление обоих стихотворений свидетельствует о том, что одно не исключает другого».

«Поэт обобщает, исходя из реальности, но не привязан к ней буквально. Этот зазор надо всегда помнить, когда ищешь подробности его бытия — в стихах».

«Крупный, громкий предшественник всегда остаётся — так или иначе. Отдалённым отзвуком, гулом отталкивания».

«Поэзия по определению несёт в себе онтологический гул».

«С какого-то возраста у поэта начинается время постскриптума: дописывания, додумывания, договаривания, если не происходит тот случай, когда приставка “до” меняется на “пере”: так было у Брюсова, Белого, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского».

«Возблагодарим верлибр. Очень информативная вещь, незаменимая для биографа».

Наконец, афористичные метавыводы о ремесле критика.

«Проходной продукт газетчины — рецензия».

«Господи, неужели так и рождается критик — когда у поэта нет стихов?»

«В моём тексте авторская речь ведётся от “мы” и “я”. Это “я” выскакивает из-за спины “мы” потому, что это одно и то же».

Последняя фраза важна отдельно — в контексте разговора о новой поэтической книге Фаликова. Но всё же ещё чуть-чуть остановимся на его литературно-биографических трудах: когда давным-давно состоявшийся поэт, влиятельный критик, автор интереснейших сборников жанра «прозапростихи»¹ целенаправленно пишет о четырёх совершенно разных авторах, сие что-то да означает.

Естественно, связи — где яркие, где мерцающие — между четырьмя поэтами в книгах установлены. Скажем, влияние Слуцкого на Рыжего очевидно вполне. А Евтушенко в ответе на очень давнюю анкету журнала «Юность» говорил, что его отношение к Цветаевой сходно с восхищением рабочего коня перед кентавром. Цитата упорно не хочет

обнаруживать себя, оттого кавычки ставить не буду. Тут можно бы вспомнить восторги Бродского по поводу Марины Ивановны и поёрничать на тему не таких уж и фундаментальных различий между знаменитыми почти современниками по второй половине XX века: Иосифом Александровичем и Евгением Александровичем. Но, во-первых, на эту тему писано много, в том числе — Ильёй Фаликовым, а во-вторых, постараемся не уклоняться от темы разговора совсем уж далеко.

Менее заметные взаимодействия, взаимовлияния, явные и скрытые цитаты каждого из четырёх авторов, о ком подробно сказал Фаликов, в книгах тоже присутствуют. Однако там есть и другие сквозные персонажи. Прежде всего — Илья Эренбург.

Словом, уйдя в минимально подробное обсуждение биографий, опубликованных в серии ЖЗЛ, мы непременно потеряем нить разговора. То есть уйдём от темы, каким образом связаны стихи поэта с персонажами его описательно-критических трудов.

Прежде всего: персонажи эти в книге присутствуют. Цветаева появляется ещё в авторской аннотации. Другие тоже будут упомянуты самым непосредственным образом:

Втрое старше Лермонтова с Рыжим,
засорил немереный эфир,
превосходством численным не движим,
склонности к цифири не явил.

Сложнее с наличием косвенным. Слуцкий говаривал, что поэт должен печатать стихи «первого и тридцать первого сорта». Низших сортов поэзии книга «Прости» не содержит, но тексты, где влияние предшественников кажется явным, — не лучшие на наш читательский вкус. Правда, следующий фрагмент переключается с условно-абстрактным стихотворением Евтушенко:

Об этом знали только наши сики,
не ведая, индусы или сикхи,
красавцев знали девки, раз — и в койку.

Получается, интонационная переключка, центонность, попытка свести любимых авторов в диалогах — не главные, не определяющие,

¹ Фаликов И. Фактор фонаря: Проза про стихи. — М.: «Рубеж». 2013. — 832 с.

не самые удачные и даже не второстепенные мотивы сборника. В чём же тогда суть?

Поступлю, как на защите квалификационной работы. Выдвину тезис, а затем попытаюсь его обосновать и защитить. Тезис гласит: те, о ком писал Фаликов в книгах серии ЖЗЛ, важны ему как равные в беседе о хронотопах. Понадобится уточнение. Хронотоп хронотопу рознь. Вновь процитируем один из трудов автора. В книге о Рыжем сказано: «...Наш рассказ — о русской интеллигенции в советское время, в пространстве вне столиц». Пространства вне столиц книга «Прости» содержит немало. Только это особое пространство. Нелинейное и многомерное. Пространство, где в одном из стихотворений Вадим Шефнер легко появляется на владивостокской улице Шефнера. А звезда над городами среднего русского юга смеркается, смеркается и никак не может смеркнуться десятилетиями:

За Тулою, над Тулою
смеркается звезда.
Широкою натурою
я не был никогда.
В Калуге, за Калугою
смеркается звезда,
чернильной закорюкою
повиснув навсегда.

Удивительные отношения со временем, тоже многомерные и нелинейные, характерны для многих поэтов. Это банальность, но как-то раз за разом очень неожиданно раскрывающая себя банальность. В противостоянии человека со временем поэтическая удача возможна (насколько вообще возможна поэтическая удача), пророческая удача даже возможна¹, но личная и тем более — воспринятая сколь угодно благожелательным и тщательным читателем — такая удача скорее исключена. Примеров тому масса. В том числе среди авторов, о коих много пишет Фаликов. Вот говорит Давид Самойлов:

Я понимал шестидесятые годы.
И теперь понимаю,
Что происходит и что
Произойдёт из того,
Что происходит.

Далее следует справедливое и очень важное в контексте дальнейшего разговора замечание литератора Александра Лейзеровича: «Несомненно, Самойлов сильно переоценивал свою способность понимать, “что происходит и что произойдёт из того, что происходит”». Но при этом само ощущение исторического времени, его хода и примет было в высшей степени органично для него»¹.

И очень схожие, местами перекликающиеся, хотя и различающиеся в существенных обертонах мысли высказывал Илья Фаликов о друге, современнике и равном поэтическом сопернике Самойлова. О Борисе Слуцком, опять-таки: «Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немзыкальность, которую связывали с немзыкальностью поэзии Слуцкого»².

Важнейший момент: о собственном месте в ускользающем времени Слуцкий высказывался с предельно ясным осознанием ситуации:

Мне выпало всё. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.
Как валенок мёрзлый валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

Марина Цветаева пыталась разрешить свои вопросы с проходящим временем на *очень собственный* манер. Но неизбежно оставалась внутри этого времени, точнее — внутри его хода, пусть и сколь угодно замедленного: «Здорово в веках, Владимир» — именно об этом, наверное. Века, наверное, даже и тысячелетия, — это ещё не само время в его глубинной и неподвижной сути. «Ничего не произошло и вряд ли произойдет, но все это

¹ Об этом много и давно пишет Евгений Степанов. Например: *Е. Степанов. Пророческие функции поэзии, или поэты-пророки.* — М. Вест-Консалтинг. — 2011.

¹ Гнёт вины. К вековым юбилеям Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. — Александр Лейзерович, *Семь искусств*, № 8. 28.09.2019.

² *Фаликов И.* Пусть будет. — Вопросы литературы, № 5, 2006.

давит» — тоже Цветаева. Причём в момент, когда происходило весьма многое. Но в масштабе времени, как феномена; времени, превосходящего человеческие масштабы, — действительно ничего.

О других героях поэтоведческой прозы Фаликова можно, пожалуй, сказать ещё определённой: Евтушенко, удачно попав в поток времени началом своего творчества, долго-долго и как-то не слишком красиво пытался в этом потоке удержаться. А безнадежно отстав, начал вновь создавать крайне интересные и до сих пор не оценённые (в отличие от ранних своих хитов) стихи. Борис Рыжий сразу пытался говорить о прошлом, пусть и совсем недавнем, том, которое он застал в детстве, а наговорившись, — продолжить об ином не захотел...

Так вот. Попытка Фаликова кажется поэтическим эквивалентом единения пространства и времени. Гуманитарным парафразом совокупности естественнонаучных теорий, ставших мировоззренческой базой давненько уж минувшего XX века, но в целокупности своей до сих пор не воспринятых обыденным сознанием. Может, и вовсе не подлежащих восприятию на понятийном уровне. На языке же математики или наоборот — поэзии: другое дело. Тут можно попробовать в постижение.

Прежде всего, надо определить масштаб собственный. Он никак не сообразен времени. При жизни человеческой может перемениться всё, но по сути — это самое «всё» останется прежним. Во всяком случае, для носителя личности и сознания:

* * *

Постоянно спрашивают дом номер девять.
На разных улицах.
Передо мной всё время номер пятнадцать.
Тычу палкой вправо.
Насчёт моей реки так.

Трясогузка на камень не вернулась,
лягушки не поют, но речной извив тяготее
ко мне.
Я ведь тот же.

Аналогично ничего не переменится и в масштабе доступных нам в описаниях фрагментов истории:

* * *

Где-то с десятого века
долгая длится война
за кипарисы Артека
и за тоннели вина...

Каким-либо образом всерьёз отзываться на происходящее не то, чтоб бессмысленно, но стыдновато, что ли:

* * *

Реагаж на такие события
отдаёт безразличием вроде
сучьей морды во время соития
при народе.

Нечто важное понять можно сугубо для себя. В сущности, герой другого стихотворения, поэт, приглашённый ханом воспеть море, — это именно ты. И масштаб сразу делается вообразимым, переводимым на вневременной язык. Человек же человеку сообразен, доступен, а человек и время существуют будто в мирах параллельных. Время убивает? Так и пусть себе. Да и вряд ли убивает время как таковое. Ему ж нет дела до людей. Людям до людей — иногда есть.

Среди многочисленных буддийских притч о восприятии времени как пустой сущности есть одна, вкратце излагаемая так: «Двое молодых людей по какой-то причине искали двух барышень. И обратились к мудрецу, сидящему у дороги: “О, Архат, не видел ли ты проходивших мимо красавиц?” — “Нет, только два скелета мимо прошли”».

Такой взгляд на существующее как на уже прошедшее лирическому герою Фаликова чужд. Вернее, противоположен: в его времени существует всё сразу, не растворяясь и не устаревая. Времена сопрягаются. Причём разнообразно: «Императору Павлу хватило/ одного президентского срока...» И тут же лирический герой другого стихотворения бесконечно проживает и переживает свой девяносто третий год, когда его «выплеснуло вместе с нацией/ в Москву-реку».

Или протагонист как прошёл некогда мимо знаменитых и явно названных актёров в малодоступный тогда ЦДЛ — ибо его звали, а их не звали, — так и до сих пор он идёт,

Елена Сафронова

Чувствительный автофикшн

В аннотации к новой книге прозаика, критика и эссеиста Игоря Кузнецова «Тонкие вещи» говорится: «Раньше, уже немного давно, одна любимая тогда женщина требовательно и даже с некоторым раздражением попросила:

— Да напиши ты наконец про свои “тонкие вещи”, а то только всё говоришь и говоришь...»

Цитата взята, как указано тут же, из повести «Отставший». Обычно книжные аннотации довольно далеки от собственно содержания книг (особенно если речь идет о художественной, тем более остросюжетной прозе). Но в случае с книгой Кузнецова аннотация не просто попадает в точку — она выдает мотивацию написания книги, и многое говорит о её сути. Так же, как и посвящение после оглавления «Тане Морозовой». «Тонкие вещи» созданы в память Татьяны Морозовой (1956—2011) — жены, соавтора, друга Игоря Кузнецова, талантливой писательницы и незаурядной художницы. О художественном даре Морозовой свидетельствуют иллюстрации (заставки к составляющим книгу текстам) и обложка: это все рисунки Татьяны. Обложка яркая, весёлая, едва ли не торжествующая по сочетанию броских красок, по фантазийно-цирковому сюжету. Зато содержание книги — далеко не полностью бравурное, что и понятно. Оно, вот именно, тонкое. И по форме, и по смыслу, и в эмоциональном плане.

В книгу вошло четыре крупные вещи, условно названные повестями. Однако это не повести в буквальном понимании. Кузнецов пишет не единые тексты по схеме «завязка —

развитие сюжета — кульминация — развязка». Для этой книги, безусловно, очень важной для себя, он выбрал манеру «игры в бисер». Три из четырёх повестей собраны, точно ожерелья, из небольших эссе или микрорассказов — то открытых, то полностью завершённых, причем каждое эссе снабжено отдельным заголовком. Таковы «Город без невесты», «Путь» с подзаголовком «Повесть о Тане» и «Отставший» с подзаголовком «Повесть про себя». Только «Человек по имени Милорад», описывающая знакомство и встречи с Милорадом Павичем, — цельное повествование, развивающееся хронологически-линейно. Я бы сказала, что эта повесть, прежде всего — обаятельная история об обаятельном человеке, а не только о литературной величине. Кажущееся «панибратство» заголовка объяснено в тексте: «Мы чокнулись с Павичем, и я поинтересовался: “Господин Павич, а как к вам можно обращаться проще, по-человечески?” “Зови просто Милорадом”, — улыбнувшись в усы, ответил он».

Прочие тексты «Тонких вещей» составлены из небольших, филигранно написанных историй, то продолжающих друг друга, то откликающихся в следующих повестях. Повести написаны в разные годы. «Путь» выходил в «Дружбе народов» в № 8 за 2012 год, а «Отставший» печатался там же в № 6 за 2021-й. В этой книге они расположены в следующем порядке: «Город без невесты», «Человек по имени Милорад», «Путь», «Отставший». Последовательность формально логична: жизнеописание лирического героя, тесно сплетающегося с автором, начинается с нежного возраста, проходит апофеоз литературной карьеры, семейную драму и бытование после утраты жены. Но есть

и логика иного, высшего, порядка. В «бисерном плетении» ярче раскрываются те «мелочи» и «детали», на которые автор хочет художественными средствами заострить внимание: природа творчества, не оставляющего пишущего человека даже в самые страшные секунды жизни.

Мне думается, повести составлены из мелких сюжетов как раз потому, что каждый из них представляет собой одну мысль, одну эмоцию или одно воспоминание. Такую форму автор выбрал оттого, что все четыре произведения чрезвычайно личные. Можно даже сказать, исповедальные. А исповедоваться удобнее отдельными эпизодами, нежели длинными «протоколами»...

«Город без невесты» — рассказ о детстве, проведённом в Иванове. Иваново описано так, что даже я, видевшая этот город только в роли туриста, узнавала многие его достопримечательности (включая кладбище Балино, где по преданию были расстрельные рвы известной поры, в одном из которых покоится мой прадед). Дополнения о старших членах семьи превращают автобиографию в своего рода семейную сагу, но сразу видно, что не история семейства интересует автора, а бесценные моменты минувшего: «И ещё, когда меня невозможно было загнать с улицы домой обедать, моя суровая бабушка, покричав мне с балкона, выходила к скамейке перед подъездом и вручала мне бутылку кефира и полбатона. Наверное, не такой уж строгой и непреклонной она была». Не все фрагменты младых лет Кузнецова так симпатичны; но все они для писателя психологически и эстетически значимы. В какой-то момент мы все приходим к потребности оглянуться назад, заново пережить прошлое как самую «тонкую вещь» нашего становления и поделиться её подробностями со слушателями — для литераторов слушателями, как правило, становятся читатели.

Впрочем, с волшебными воспоминаниями детства и юности Кузнецов «расправляется» двумя фразами, замыкающими последнее эссе повести «Город без невесты» — «О любви»: «Может быть, в этом и есть главный смысл изначальной мудрости: всё помнить и не обо всём говорить. А в городе пусть всё будет хорошо, хотя я и никогда туда не вернусь». Детские пейзажи, компашки, ивановские

городские мифы и студенческие хлопоты теперь имеют для писателя только вспомогательное значение. Чего не скажешь о событиях, легших в основу повестей о более старшем возрасте: о браке с Татьяной Морозовой и о писательском бытии Игоря Кузнецова.

По дефиниции «Тонкие вещи» — чистый, классический автофикшн в определении, данном еще основателем жанра Сержем Дубровским в аннотации к его роману «Сын»: «Автобиография — привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами — вымысел абсолютно достоверных событий и фактов; если угодно, автофикшн, доверивший язык авантюры авантюре языка...» Характеристика, которую дает Википедия: «Произведение в жанре автофикшн в большей или меньшей степени соответствует биографии автора, однако, в отличие от автобиографии и мемуаров, перед ним или ней не стоит задачи точно и детально пересказать события своей жизни. В угоду авторскому замыслу и художественной ценности допускается вымысел фактов, а сюжет как таковой может отсутствовать — основной упор делается на чувства и переживания рассказчика...»

О чудесных возможностях автофикшна прямо сказано в эссе «Второй том, или Куда отставший?» повести «Отставший»:

Когда я сочинил трудную повесть про остров прокажённых, где роль одного из персонажей сыграл мой армейский друг Володя, я ему её отправил — почитать.

Володя позвонил через пару дней:

— Здорово ты написал про наш остров! Особенно как мы на медведя ходили.

Я выдержал ошеломлённую паузу.

— Вова, я же всё это придумал!

<...>

Володя строго, но снисходительно хмыкнул.

— Да будешь ты мне говорить!»

Кузнецов отказывается от последовательного и логичного сюжета, обращается к наиболее впечатляющим страницам, насыщает текст чувствами и переживаниями и формирует новую реальность. Особенно это касается повести «Путь»: семейного счастья с лирическими, туристическими и литературными отступлениями, завершающегося невыразимо пронзительной картиной смерти Татьяны Морозовой

в Пасхальную ночь, что без комка в горле читать невозможно:

«Я сходил в ванную и принёс маленькое и круглое Танино зеркало, перед которым она обычно прихорашивалась. Зеркало не запотело.

— Это — всё, — сказал я. И, подержав ладонь на её спокойном прохладном лбу, закрыл Тане глаза.

Наташа заплакала. ...Я остановил часы.

Через час пятнадцать Христос воскрес».

Равно как и другие эпизоды — предвестники исхода: «В этом пустом доме я впервые по-настоящему ПОНЯЛ, что Тани скоро НЕ БУДЕТ. И это было по-настоящему страшно»... «Я держал её руку в своей — осторожно и ласково. Иногда она слабенко сжимала мою руку, и я чувствовал, до спазма в горле, как ей больно».

Есть ли художественный вымысел, приукрашивание жизненной правды или отступление от фактографии, в этих сценах, со стороны сказать нельзя. Но это абсолютно не нужно. В данном случае значение имеет лишь эмоциональный накал, вложенный автором в повествование, и заряд эмпатии, которую он надеется вызвать у читателя. На этот эффект работает и вышеупомянутая «авантюра языка». Кузнецов прибегает то к инверсиям, то к длинным развернутым фразам с множеством причастных и деепричастных оборотов, эпитетов, метафор. То есть выражается так, как в повседневной речи люди не говорят. Этим автофикшн отличается от автобиографии, дневника и протокола.

Но у жанра есть и недостатки — и один из них тот, что только воистину уникальная

судьба порождает уникальный автофикшн, а схожий жизненный опыт диктует «повторяющиеся» тексты. Кузнецов тоже не избежал повторов — не самоповторов, вроде Амстердама, явно намеренно вплетенного в повествование несколько раз, а переклички его историй с другими авторами. Так, в «Тонких вещах» не слишком оригинальны литературские байки, в том числе зарисовки из Литинститута и написание коммерческой прозы в тандеме с женой под насмешливыми псевдонимами Генералов и Безобразов (да и другая «творческая кухня» соавторов). Воспоминания о работе пиарщиками на выборах дышат сатирой, что тоже не ново. И даже рассказы Кузнецова из поездок по свету отличаются от соцсетей трэвел-блогеров разве что лучшим литературным уровнем. Подытожу: книга Кузнецова, как яркий образец автофикшна, высвечивает все его преимущества и слабости.

К слову, вспоминая своего литинститутского наставника Лобанова, автор пишет: «Надо отдать должное Михаилу Петровичу... он, несмотря на своё почвенничество и “канонические” литературные пристрастия, обладал отменным вкусом и немалой широтой восприятия иной, даже чуждой ему литературы. Главное — КАК это написано». То же самое можно сказать и о книге самого Кузнецова. Главное в хрониках его жизни — как это написано. Он заботится о слогe неустанно, но тонко, почти неуловимо, и текст, порой искусственно усложненный, воспринимается легко, естественно и «чувствительно».

Ольга Балла

«В эпицентре мини-экокатастрофы»

Владимир КОРКУНОВ. Тростник на изнанке Земли. — Алматы: Дактиль, 2023.

Книга поэта, переводчика, литературного критика, редактора, журналиста Владимира Коркунова, уже третий для автора поэтический сборник (предыдущие: «Кратковременная потеря речи»¹ и «Последний концерт оркестра-призрака»²), открыла собой в прошлом году книжную серию выходящего в Алматы журнала «Дактиль», который и сам появился только в 2019 году как независимая площадка для казахстанских авторов (а потом усложнился сразу в двух направлениях: с одной стороны, начал публиковать тексты и зарубежных авторов, с другой же — сделался двуязычным и теперь говорит с читателем как по-русски, так и по-казахски). За книгой Коркунова вскоре последовали сборник прозы Валерии Крутовой «Наверность» и две поэтические книги: «33 единицы зелени» Ивана Полторацкого и «На языке шавермы» Павла Банникова. За исключением Коркунова, выросшего в России и теперь живущего на две страны, все авторы серии — русские казахстанцы, люди двух культур с их взаимоналожением и сложным взаимодействием при некотором преобладании русской культуры в местном её варианте. Впрочем, «Дактиль» — ни как журнал, ни как книжная серия — границ не проводит, он их, скорее, пересекает, и открыл серию именно Коркуновым как человеком, живущим, пишущим и чувствующим поверх всяческих барьеров, в этом смысле было очень логично. О проблемах какой бы то ни было степени локальности он не говорит: сразу — об универсальном, касающемся каждого совершенно независимо от культурных, социальных, политических и вообще любых координат.

Поэтические тексты Коркунова соединяют в себе то, что может показаться несовместимым, но на самом деле глубочайше друг с другом связано: внутреннюю конфликтность, напряжённость, сложность — и тончайшую нежность ко всему живому. (В этом смысле линия, связывающая все три его сборника, — непрерывная и восходящая.) Живое автор чувствует прежде всего прочего (чуть ли не единственно!) в аспекте его угрожаемости, хрупкости, обречённости. И это даже не связано впрямую, кажется, с «разрушительными событиями последнего времени»³, как сказала Влада Баронец в рецензии на этот сборник в том же «Дактиле». Событий

¹ М.: Русский Гулливер, 2019.

² Екатеринбург — М.: Кабинетный учёный, 2021. — 60 с. — (InВерсия, вып. 8).

³ <https://daktilmag.kz/47/article/vlada-baronec-telo-prohodyashchee-naskvoz-o-knige-vladimira-korkunova-trostnik-na-drugoy-storone-zemli/776>

(в смысле, больших исторических) в этой книге как будто нет — хотя некоторые места на них вроде бы указывают, но они могут быть прочитаны и помимо «большого исторического» без всякой потери смысла, — как, например: «говорите его звали артемом но как его теперь опознать/ говорите вам сказали гематомы/ говорите вам сказали синяки/ говорите вам сказали кровоподтёки»; или вот ещё, — в приводимой ниже цитате исторического заметно больше, — и это тем более бросается в глаза, что стихотворение как будто лирическое и обращено к волнующей лирического субъекта женщине:

твоими губами засажена вся планета —
и значит ты целуешь всех пчёл лишённых улья
ты видела как горевал пасечник у разорённого города
разломанные многоквартирные соты — пчёлы-беженцы
тщётно ищут новый дом на соседнем поле
и находят приют на твоих чрезвычайно жёлтых губах

Внимание автора целиком сосредоточено на человеческих страданиях, способных случиться — и случающихся — когда угодно; но правда и то, что катастрофические времена делают человека особенно восприимчивым к ним и, вероятно, подталкивают к тому, чтобы усматривать насилие и страдание и за пределами человеческого — в природе как её устойчивый признак.

две вороны —
на карнизе воспалённых глаз
выклёвывают роговицы
вертикальных луж

Едва ли не каждое из вошедших в книгу стихотворений — о травме, смерти, гибели, утрате, беде, обыкновенно непоправимой (хотя бы и невозвратимого прошлого: «каждое утро я захожу в твою комнату/ в последний раз ты была здесь в шестнадцать лет»), боли (хотя бы и причиняемой врачом, то есть во спасение — всё равно больно, и это совершенно вытесняет из внимания спасительность действия: «врач тянет из ноздри невод ткани —/ кровь подростка падает на створки халата/ кашель разбивается брызгами о стёкла очков <...> мальчик не смог удержать сознание —/ он теперь губка| он теперь капля красное тельце боли»), невозможности, которая тоже в каком-то роде разновидность прижизненной смерти — так жизнь в виде звуков не может проникнуть к глухому Кирыше, и он остаётся от неё изолированным, как бы не вполне вместе с живыми. Это последнее — наверняка настоящий случай из опыта автора, уже несколько лет работающего с людьми, лишёнными слуха и/или зрения и речи в рамках Фонда поддержки слепоглухонемых «Со-единение». Тем не менее выбор этого случая представляется совсем не случайным: невозможность у Коркунова как бы встроена в существование вообще — в качестве его неотменимого и неминуемого признака.

Высказывания Коркунова обо всём этом прямые, а иногда совсем прямолинейны: «нет — и вспарывает одежду/ нет — и душит душит душит это клокочущее горло/ нет — и заворачивает тело в ткань...». Не переставая думать и чувствовать о том, насколько уязвимо всё живое, Коркунов тем не менее — именно вследствие этого — бьёт по болевым точкам читателя наотмашь и безошибочно: чтобы не загорались от чужой боли (чужой боли для него, похоже, вовсе нет, вся — своя), не отрачивали себе защитные механизмы.

О типе его мировосприятия хорошо сказала в той же рецензии Баронец: «...Новая книга стихов Владимира Коркунова <...> сосредоточена на телесности

как универсальном мирообразующем принципе»¹. На телесности — и верном её спутнике, боли — поэтическое внимание Коркунова было сосредоточено и раньше; здесь внимание его, скорее, сместилось в направлении боли и того, что её причиняет, — разрушения. В этой книге повествователь постоянно чувствует себя «в эпицентре мини-экокатастрофы».

И земле — уже просто потому, что у неё есть тело, — в стихах Коркунова больно:

камыш — иголка на теле земли — говорила ты
Бог вставляет её туда где болит

(Обратим внимание и на связь — не тождество ли? — маленького, ранимого — и предельно важного: точки, «точечки», в которой в теле земли вставлен камыш-иголка — и самого Бога, который эту иголку туда вставляет, потому что там «болит», и эта «точечка» — в центре. И поэтому тоже единичное человеческое страдание для поэта существенно больше и значительнее любых исторических событий.)

Даже детство у него в родстве куда более со страданием, со смертью («дай свежести смерти принять в себя Дитя»), с насилием («копия с отрезанной спиной говорит: / если взять ребёнка за руку/ её выкрутит механизм чужих слов/ у всех детей вывернуты руки/ не всем удаётся винтить их обратно»), с невозможностью, нежели с чем бы то ни было из того, с чем в нашей культуре привычно его ассоциировать — ну, скажем, с лёгкостью, безмятежностью... У Коркунова детство, куда скорее, печально и трагично.

И тут стоит заметить ещё один устойчивый компонент этого смыслового комплекса — снег: так глухой Кирюша в одном стихотворении «смотрит немое кино/ первого снега», трогает вьюгу, поёт «в ритме наста»; и страшнее: «снег хрустел как яблоко <...> а эта девочка не успела — и её заносит первый снег»). Снег и прочая зимняя феноменология повторяются у него в разных контекстах; главное время этих стихов — зима как наиболее чуждое жизни состояние мира: «снег падает на время», «вьюга заносит деревья за твоим окном», «...священная книга с покрытыми инеем страницами».

Мир, в котором совершаются события его стихотворений (и уж не каждое ли из упоминаемых им детств?), груб, жёсток, жесток и опасен («фонарные часы отбивают руки о клетку кирпичных рёбер»), по определению угрожающий всему маленькому. Я бы сказала, что зрение у него не просто телесное, но *болевое*, имеющее особенную остроту и точность.

Коркунов заметно расширяет диапазон графических средств выражения, а с ними — и интонационные регистры. Систематически пренебрегающий конвенциональной пунктуацией вроде точек и запятых, он применяет зато — регулируя внутренний голос читателя на свой лад — пунктуацию собственную: разбивающую строку изнутри вертикальную линию, — предполагаю, что ей соответствует задержка дыхания, двойную вертикальную линию — ей, допустим, соответствует пауза более продолжительная; скобки угловые (которые, можно предположить, энергичнее и жёстче, чем круглые, отсекают содержащееся внутри них от того, что остаётся за их пределами) и квадратные (явно тоже резко отсекающие своё содержимое от внешнего, но, наверное, на какой-то иной лад); использует шрифты разных размеров: тот, что мельче, по всей вероятности, соответствует *внутреннему шёпоту*; пробелы между словами, соответствующие, вероятно, увеличенным паузам, актам *внутреннего*

¹ <https://daktilmag.kz/47/article/vlada-baronec-/telo-prohodyashchee-naskvoz-o-knige-vladimira-korkunova-trostnik-na-drugoy-storone-zemli/776>

молчания; курсив наряду с прямым шрифтом («волшебная палочка задержи рейс в воздухе...» и т.д.), маркирующий, можно предполагать, речь внутреннюю или особенно интенсивную (в цитируемом случае повествователь просит об избавлении пассажиров самолёта в критической ситуации от смерти), зачёркнутый текст («ты идеально знаешь все буквы которые я хочу у тебя прочитать»), означающий, возможно, сомнение в сказанном и убирание его в подтекст прямо на глазах читателя, точку в угловых скобках, видимо, указывающую на намеренно пропускаемое слово: «снег оставшийся после <.> проникает в чёрно-белые тексты», и даже чёрные полосы (блэкауты), обозначающие, надо думать, то, что высказыванию не поддаётся.

Или это та форма, в которой смерть входит в тексты уже помимо слов?

Почти каждое из стихотворений-событий Коркунова разворачивается на — легко пересекаемой, но очень остро ощутимой — границе между жизнью и смертью. Лирический субъект входит со смертью в непосредственный контакт (не она ли в цикле о реанимации «просит не отправлять» очередное сообщение, вьётся вокруг повествователя, обнимает его, накрывает собой и заводит ему «сердце ещё на один день?»). Любовь и смерть у него совершенно неразделимы (сказала бы что-нибудь вроде того, что составляют один смысловой / мотивный комплекс, но не поворачивается язык произносить учёные слова), и смерть, непреодолимая, потому только так остро чувствуется, что жива и очень сильна любовь.

Коркунов трагичен, тёмн, резок. Но резкость его — прямое следствие жизнелюбия и непрестанного чувства безусловной ценности жизни — тем ещё более драгоценной, что хрупкой и обречённой.

Борис Минаев

САМИ ВИНОВАТЫ

Несколько лет назад мы с друзьями и подругами, путешествуя по нашей необъятной, как поется в песне, родине, заглянули в город Екатеринбург. Именно в этот момент нам пришла в голову идея вместе со знающим человеком (то есть экскурсоводом) посетить место расстрела царской семьи, где мы ни разу не были.

Легко сказать — «посетить место расстрела». С этим местом расстрела, так же, как и с царскими останками, все очень непросто, и непросто до сих пор.

Существует Ганина яма: огромный храмовый и мемориальный комплекс, официально признанный православной церковью, — место, так сказать, народного поклонения. Там очень красиво, колышутся не очень высокие уральские сосны, солнечный свет пробивается сквозь огромные портреты царевен и царевича, выполненные на полотне, от этого возникает мистическое, воздушное ощущение их присутствия, кругом стоят красивые деревянные храмы, и их немало. Ну, вот здесь вроде бы и надо молиться, вспоминать, притихнуть...

И еще существует Поросёнков Лог — такая, как бы сказать, лесная поляна недалеко от железнодорожного разъезда, сразу рядом с шоссе.

Там вообще ничего нет, кроме какого-то одного скромного портрета, припиленного к старой сосне, каких-то скромных цветочков, которые вечно торчат, как нелепые и никем не признанные свидетельства *другой* правды.

И вот эта *другая правда* прошибает вас буквально с первого взгляда. На уровне инстинкта, мурашек по коже, почему-то сразу понятно: *это было здесь*.

Я не буду погружать читателя в эти долгие споры о том, прав ли был колчакковский следователь Соколов (и другие следователи с той, «белой», стороны), который в целом согласился с тем, что тела были уничтожены в Ганиной яме, сожжены в огромном костре, или правы были другие следователи, и справедливы другие, позднейшие версии, которые указывают на то, что все убийство в целом происходило очень сложным, запутанным и жестоким образом, и до сих пор во всей этой цепи событий много неразгаданного. (Ну, соответственно, и спор о принадлежности останков тоже продолжается.)

Об этом существуют тонны публикаций, сотни книг, немало фильмов, документальных и художественных; и, наверное, это одна из самых главных и самых мрачных загадок советской истории — скорее всего, из того рода загадок, которые до конца не будут разгаданы никогда. Экскурсовод К.Брыляков рассказал, что, когда в 1920-е годы в Екатеринбурге выступал Владимир Маяковский, он попросил отвезти его

на место расстрела царской семьи, — и шофер, молча и без всяких комментариев, привез его именно сюда, в Поросёнков Лог.

...В 2019 году известный уральский драматург Олег Богаев (кстати, наш коллега, главный редактор журнала «Урал») написал очень короткую «пьесу для чтения» под названием «Я убил царя». А потом эту пьесу поставил Владимир Мирзоев в московском театре «Пространство внутри».

Казалось бы, ну что еще можно сказать об этой — всемирно-исторической — трагедии?

Что еще можно написать после, скажем, многотомной эпопеи Эдварда Радзинского, после его многосерийных телепередач, которые затаив дыхание смотрела вся страна, а ведь это лишь тот источник, который на поверхности лежит?

О том, как происходили сами трагические события в Ипатьевском доме, как происходил сам расстрел, как вели себя те и другие, жертвы и палачи, каковы были последние месяцы, недели и дни Романовых, мы теперь знаем, казалось бы, все. До мелочей. До деталей.

Но драматургу Богаеву и режиссеру Мирзоеву удалось найти тот угол зрения, который совершенно по-иному освещает всю картинку.

И эта самая «картинка» вдруг становится абсолютно иной.

Когда мы всматриваемся в те ужасные события, мы видим лишь навязанную нам долгой традицией историческую рамку: «рабочие и крестьяне», большевики, «восставший народ» с одной стороны и «белые офицеры», монархисты или кадеты (и иные сторонники парламентской республики) с другой. То есть это всем известная схема *Гражданской войны*. И вся изумительно сильная советская кинематография 1960-х годов — от «Сорок первого» Чухрая до «Бега» Алова и Наумова — воссоздает все ту же самую историческую рамку.

Но что за пределами рамки? Что чувствовали, что переживали «просто люди»? Обыватели? Горожане?

Из всей трагедии авторы спектакля вычленили лишь один слой — вот этих самых обывателей. И вдруг «картинка» перевернулась.

Уборщица, прачка, шофер, плотник — персонажи спектакля; это лишь те, кто имел отношение к самому расстрелу, выполнял, так сказать, «техническую работу». Эта «техническая работа» была ужасна — когда ты таскаешь бидоны с едой, это еще как-то терпимо, а когда ты отмываешь полы от крови, или везешь трупы неизвестно куда глухой ночью, или закрасиваешь белилами окна, или перерезаешь кусачками провода, чтобы «они не могли читать по ночам», это очень похоже на соучастие. Но дело тут в другом: постепенно мы понимаем, что соучастниками оказываются вообще-то все, весь город. Весь Екатеринбург. Все его обыватели. Гимназистки и юнкера, продолжавшие в этот самый момент учиться в офицерском училище, дворники и сторожа, посудомойки и лавочники, интеллигенты и простые трудяги. Все они прекрасно знали, что происходит в Ипатьевском доме, город-то был маленький, все они осознавали, какая судьба ждет тех, кто там оказался.

И все они... Ну как бы это сказать?

Все они оказались в ситуации той самой «выученной беспомощности», о которой сейчас так много говорят. В положении «третьей стороны», которая и не за белых, и не за красных. Не за царя и не против.

В ситуации невольных, безмолвных, нейтральных, пассивных, можно по-разному сказать, свидетелей. В ситуации людей, которые с полным правом могут сказать: «Ну а что мы могли сделать? Чего, собственно, вы от нас хотите?»

Во всех этих монологах, созданных «по мотивам» и «на основе» реальных допросов, меня лично поразила одна, казалось бы, не самая важная тема — тема того, как широко продавались или подделывались для продажи вещи царской семьи. Вещей было «несколько сундуков», была посуда «с царскими вензелями», мелочи, аксессуары типа портсигара, в торговый оборот шло буквально все, даже нижнее и постельное белье, это был целый огромный бизнес, который продолжался несколько месяцев.

Богаев не случайно проводит эту тему купли-продажи сквозь всю пьесу, об этом говорят многие персонажи. Есть высокие понятия, «христианские чувства», а есть — будничная жизнь, «просто жизнь», в которой городские обыватели не гнушаются обмениваться, дарить и перепродавать вещи людям, которые уже убиты или будут убиты. Деталь? Да, но сквозь нее можно понять целое.

Всю эту огромную императорскую Россию, весь этот политический строй с его главным символом — царской семьей — они все уже похоронили, и им хочется оставить для себя и для потомков «хоть что-то», «вещички», на память... Да и сами вещички — очень неплохие. Пригодятся. И что же в этом «такого»?

«Россия слиняла в три дня» — довольно известное выражение, здесь, у этой хрестоматийной формулы Василия Розанова, есть продолжение и развитие. Нет, не «разброд элит», не «шатания в армии», не слабость политики, не «страшное совпадение разных обстоятельств», в основе всего — было именно это. Вот этот «взгляд со стороны», вот эта невозможность выйти за рамки своей частной жизни, невозможность ни во что вмешаться...

Страшная формула любой всемирной трагедии: «А что мы могли сделать?»

Еще вчера эти люди ходили на молебны, с хоругвями и портретами, вешали иконы в красный угол, искренне верили в свои верноподданнические чувства, — а сегодня они уже покупают на рынке простыни, скатерти и чашки с царскими вензелями. Всё случилось, всё уже произошло. Без них. Помимо них.

Это *не их* драма. Они — лишь ее свидетели.

Считается почему-то, что «колчаковский» следователь Николай Соколов был единственным, кто собирал показания, пока не пришли красные, которые, опять-таки, как считается по умолчанию, хотели всё скрыть. Это не так.

После того, что случилось в Екатеринбурге, со свидетелями, с горожанами работала далеко не одна следственная группа.

Следователей, дознавателей было много и с той, и с другой стороны, многим в городе пришлось давать показания, и они были хорошо задокументированы. И поэтому поначалу кажется, что в основе пьесы — именно эти допросы и эти показания. Инженер Ипатьев, который искренне не понимает, почему к следствию привлекают его, задают ненужные вопросы, — что он-то мог сделать? Он даже предъявляет претензии, перечисляет материальный ущерб: диваны, ковры, все новое. Прачка и поломойка, которые описывают тот ужас, ту адскую грязь, которые открылись им после расстрела. Юнкер, будущий офицер (наверняка ушел вместе с Колчаком), который рассказывает, как они с товарищами сдавали масло из своего пайка, чтобы «поддержать» царскую семью, передавали им записки. Но у пьесы Олега Богаева есть подзаголовок — «пост-документальная», и постепенно в ней появляются совсем иные персонажи: те, кто никогда и ни под каким видом не смог бы дать «показаний», но вот здесь, в этом самом «пространстве», пространстве мысли, пространстве диалога с нашей собственной совестью и памятью — это возможно. Появляется, например, царский пудель, чудом спасшийся во время расстрела и живущий теперь у путевого обходчика или сторожа. (Это, кстати говоря, одна

из четырех ролей фантастической Елены Кореновой, занятой здесь... Впрочем, и другие актеры: Ирина Рындина, Юлия Салмина, Мария Карлсон, Олег Дуленин, Александр Доронин и Сергей Беляев — каждую секунду сценического времени сохраняют его высочайший драматический накал.)

Это и Пётр Ермаков, расстрелявший царскую семью и, конечно, никогда не говоривший о том, что это именно он, а не «все эти евреи», привел приговор в исполнение. Это безумная репортерша, которая описывает «чудесное спасение» на воздушных шарах, и безумная гимназистка, которая настаивает на том, что это именно она «привела приговор в исполнение», и другие персонажи, которые расширяют границы смыслов, — до какой-то почти мистической или вселенской полноты.

И все же... Главным для меня остается вот этот настойчивый вопрос, обращенный к каждому из них: «Вам их не жалко?»

И варианты ответов, которые не помещаются в сознании, не хотят в него помещаться, потому что, как выясняется, — нет, не жалко никому.

Потому что «они сами виноваты». Потому что если жалко, — то жить дальше как?

И это довольно точно и довольно страшно.

Elena Ermolovich. Gogoryu-91

This long short story by E. Ermolovich is a kind of half-turn back, into the beginning of the fiery nineties, from many years after – the memoirs of an elderly man. A print of the past is somewhere pale, somewhere desperately glowing. “For someone those times were nevertheless the best in the life, the happiest”. To tell the truth they were different, those times, both horrible and joyful. Blood on the asphalt for one; a crazy night flight in a rickety airplane along the route anyhow marked on the paper map – for another.

Poetry

The Time is a cross-cutting theme of Sukhbat Aflatuny’s philosophic miniatures. “What is it that a human being humanizes and what is it that humanizes a human being?” – this question nearly childish in its form but containing a deep meaning opens the collection of poems by the priest and poet from Donetsk Dmitriy Trebushnoj. His countryman Ivan Volosyuk presents the cycle of his war poems. Nadezhda Besfamilnaya’s lyrics cherish the memory of the Great Patriotic war.

The Wreath of Memory for Bulat

The 9-th of May is the jubilee of Bulat Okudzhava. Our magazine published not only his poems but also his novels which was a brave deed for those times. All this makes “The Golden Pages of DN”. Under the heading “Okudzhava. 100+” we’ll take a walk through his Moscow addresses, reread maybe the most profound lifetime review on his book of poems, from our days will try to untangle the myth of Napoleon in his novel “Rendezvous with Bonaparte” and will remember two of his best short stories – “Music Lessons” and “The Girl of my Dream”.

Yourij Arabov. Memoirs

“In one’s old age one becomes fussy, is afraid to be a bitch or a genius...” – this is from Yourij Arabov’s poems published in DN five years before his death. “In my generation everybody was writing poems”, – is remembering Arabov. These memoirs – about the poetical studio of Kirill Kovaldgi, about the ma?tre and the members of the studio, about the generation of the “Moscow underground”, about the poems and the times from the eighties till now – are presented here to the readers for the first time. “The participants of that studio are still alive and are working somehow. They haven’t become neither executioners nor victims and this is good... Neither past nor present times haven’t become *ours* for us...”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездииковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Министерство культуры Российской Федерации
Министерство образования, науки и высшего образования Российской Федерации



Культурная работа
Дальний Восток и Арктика



Дальний
ВОСТОК
ФО



Инициативная группа
«Фонд развития
социальной культуры»

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

**3 приза
по 500 000 р.**

**в трёх
номинациях**

- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2024 года

18+



премияарсеньева.рф



По страницам «ДН»

«В один из дней моего военного детства согбенный дед Мамзин, старейший нашего рода Кевонгов, обманувшись в ожидании скорого возвращения кормильцев с войны, решил рано приобщить меня к морской охоте. Но в начале я принимал участие только в "кормлении ызнгов" — хозяев мест, где должна пройти охота. Дед держал на ладони щепоть чая, щепоть табака, сушёные клубни сараны, кусочек сахара и, обращаясь к таинственному ызнгу, говорил: "Вот! Мы пришли к тебе. Бедные мы люди, неимущие". Я слушал старика вполуха и не сводил глаз с ладони, глотал слюни — на столе у нас давно не было сахара. Старик, видно, припрятал немного и пускал на самое важное дело — кормление духов перед охотой. /.../

Старики охотники на своих долбленных из тополя лодках уходили во льды. А я на берегу старался изо всех сил вести себя тихо, не бегал, не озорничал, ведь Хозяин моря может подумать, что мои шалости идут от сытой жизни, и не даст охотникам добычи...»

**Владимир Санги.
От исторических преданий
до исторических романов**

1981, №4